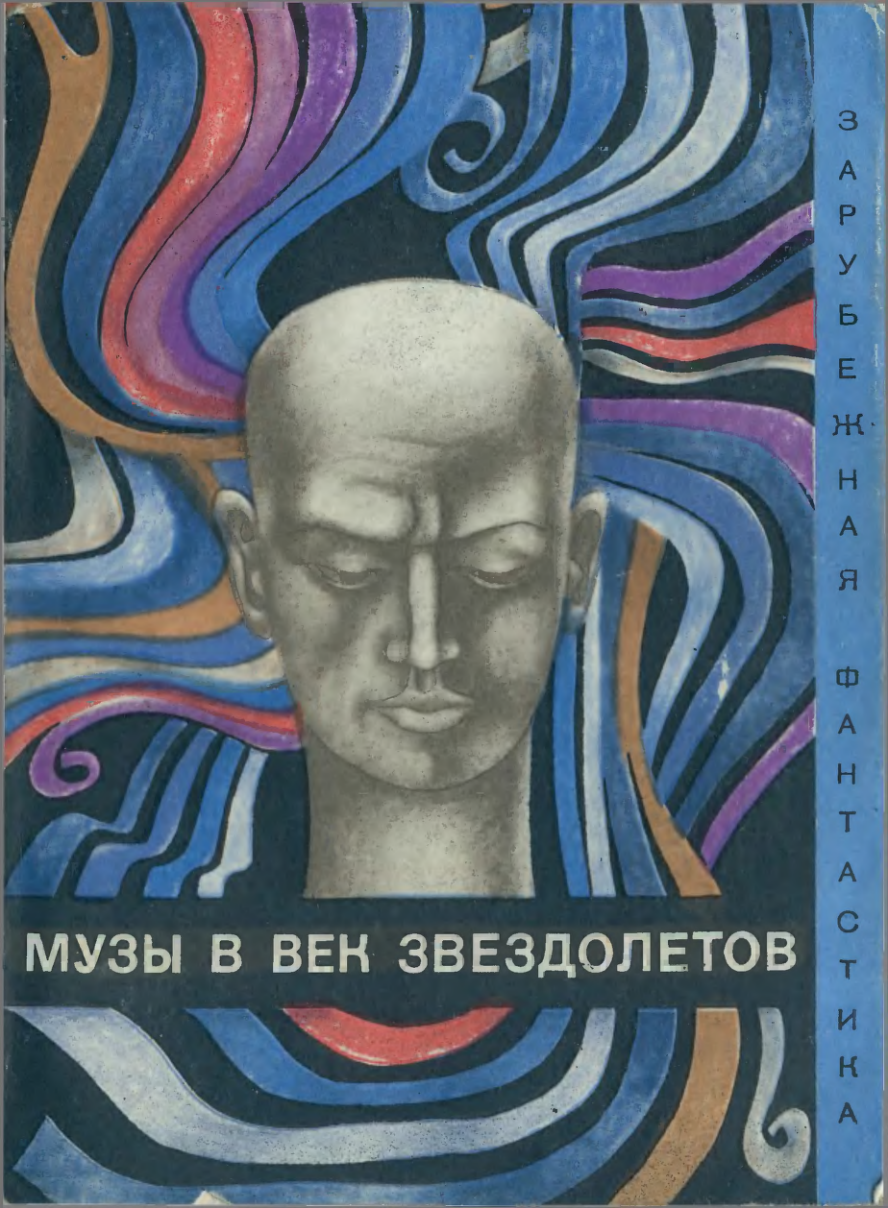


З
А
Р
У
Б
Е
Ж
Н
А
Я

Ф
А
Н
Т
А
С
Т
И
К
А



МУЗЫ В ВЕК ЗВЕЗДОЛЕТОВ



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«МИР»



МУЗЫ В ВЕК ЗВЕЗДОЛЕТОВ

Сборник
научно-фантастических
рассказов
об искусстве

Предисловие Е. Брандиса

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МИР»
МОСКВА 1969

*Редакция научно-фантастической
и научно-популярной литературы*

Инд. 7-3-4
193-69

ИСКУССТВО БУДУЩЕГО И ФАНТАСТИКА

Писатели и философы, размышляющие о будущем, не могут обойти молчанием вопрос об искусстве. Неудовлетворенность художника своим положением в обществе, его иллюзорная независимость от тех, кто покупает таланты, превращая произведения искусства в товар,— «вечная» коллизия, получившая выражение в поэзии, музыке, живописи разных эпох и стран.

Подмеченная Марксом диспропорция между абсолютным возрастанием уровня материального производства и относительностью прогресса в сфере производства духовных ценностей нередко оборачивается, если применить философское положение к жизненной практике, безысходными человеческими трагедиями. «Утраченные иллюзии» как закономерная расплата за профанацию искусства, стремление потакать обывательским вкусам, приспособить талант к потребностям денежного мешка или тщетные попытки создавать «шедевры» на основе чисто формальных поисков, заводящих художника в тупик. В этом смысле «Неведомый шедевр» Бальзака так же символичен, как и «Утраченные иллюзии». Больше того, романтическая повесть Бальзака о крушении художника, ставшего на ложный путь, поразительно перекликается с произведениями современной западной фантастики не только темой, связанной с размышлениями об искусстве будущего, но и поэтическими приемами.

Нарочитое оригинальничанье и псевдоноваторство рождаются на бесплодной почве. «Новое в хорошем

смысле — это то, что вытекает из диалектики культурного развития». Приведенные слова принадлежат великому швейцарскому реалисту прошлого столетия Готфриду Келлеру, автору романа «Зеленый Генрих», в котором молодой художник начинает свои творческие искания с отвлеченных аллегорий и кончает полной беспредметностью. Последний же его картон, испещренный сетью замысловатых штрихов и переплетающихся узоров, не несет уже никакой мысли, и, таким образом, подобно герою «Неведомого шедевра», Зеленый Генрих превращается в «спиритуалиста, человека, создающего мир из ничего». Келлер, как и Бальзак, прозорливо предвидел возможность появления абстрактной живописи. Нездоровые формалистические тенденции в искусстве, мысленно продолженные во времени, запечатлены в гиперболе, которая когда-то казалась фантастической, а потом утратила свою фантастичность и даже перестала быть гиперболой.

Если такие вопросы тревожили писателей-реалистов, что же тогда говорить о фантастах! В различных воображаемых моделях мира будущего не последнее место отводится искусству. Проблема ставится по крайней мере в трех аспектах: усовершенствование техники и способов исполнения; модификация всех видов творчества; положение художника в обществе.

У истоков обширной отрасли литературы, которую мы условно называем научно-фантастической, — колоритная фигура знаменитого английского политика и философа Фрэнсиса Бэкона, оставившего незаконченную рукопись утопического романа «Новая Атлантида», опубликованную после смерти автора — в 1627 году. Среди многих научно-технических новаций, какие только могли зародиться в голове гениального мыслителя в переломный период истории, обращают на себя внимание и прогнозы,

относящиеся к музыке будущего: «Есть у нас дома звука для опытов со всевозможными звуками и получения их. Нам известны неведомые вам гармонии, создаваемые четвертями тонов и еще меньшими интервалами, и различные музыкальные инструменты, также вам не известные и зачастую звучащие более приятно, чем любой из ваших...». Ученые Бенсалема проводят успешные эксперименты в области акустики. Они умеют воспроизводить «все звуки речи и голоса всех птиц и зверей», создают слуховые аппараты и «дикивинное искусственное эхо» и даже находят способы «передавать звуки по трубам различных форм на разные расстояния».

Учитывая временную дистанцию, эти воображаемые опыты следует признать изумительными.

В более поздних произведениях встречаются интересные догадки не только по части совершенствования исполнительской техники, но касающиеся искусства в целом или отдельных его отраслей. И тут будет уместно вспомнить «отца и основателя» научно-фантастической литературы Жюль Верна. В малоизвестном юмористическом рассказе «Идеальный город» (1875), прочитанном на заседании Амьенской академии, отсутствие серьезной творческой задачи восполняется остроумными гипотезами, которые в общем совпадают с прогнозами Бальзака и Келлера. Только речь идет не о живописи, а о музыке. Во сне автор переносится в Амьен 2000 года и... попадает на концерт. «И в этой области все изменилось. Никакого музыкального ритма, никакого темпа! Ни мелодии, ни гармонии!.. Алгебра звуков! Триумф диссонансов! Звуки, подобные тем, какие производят оркестранты до того, как прозвучат три удара дирижерской палочки!» Но слушатели аплодировали с таким энтузиазмом, словно приветствовали ловких гимнастов. «Не иначе как это музыка будущего!» — восклицает автор и, подойдя к

афише, читает: «№ 1. Размышление в миноре о квадрате гипотенузы».

Уже в то время некоторые композиторы, объявлявшие себя новаторами, изгоняли из музыки ее первооснову—мелодию и ритм. Жюль Верн попытался представить себе, во что же это может вылиться, если так пойдет дальше, и не очень ошибся. Модернизм в музыке нередко получает уродливое выражение именно в таких абстрактно «алгебраических» сочинениях, о которых с иронией пишет автор «Идеального города», словно ему удалось заглянуть на несколько десятилетий вперед. Но легче было придумать правдоподобную гиперболу формалистического абсурда, чем предвидеть реальные возможности техники. В том же очерке Жюль Верн изображает триумф «электрической музыки». Фортепьянный концерт транслируется из Парижа в столицы всего мира. Когда пианист ударял по клавишам рояля, соединенного проводами с роялями Лондона, Вены, Петербурга, Рима, Пекина, «соответствующие ноты звучали и на этих отдаленных инструментах, на которых клавиши приводились в действие электрическим током». Жюль Верн, конечно, не мог предвидеть возможности радиосвязи. Она фигурирует только в одном из его поздних романов, написанных в начале XX века, когда «беспроволочный телеграф» стал применяться на практике.

На том же приблизительно уровне «техника 2000 года» в известном утопическом романе американца Эдварда Беллами «Взгляд назад» (1888)*. В эгалитарном государстве будущего «идея сбережения труда в общем деле» применяется и к музыке: «Разные залы города соединены телефонами со всеми домами. Одновременно

Роман издавался на русском языке под названиями «Через столет», «Будущий век», «Золотой век».

исполняется несколько программ. Слушать можно любую за дешевую абонементную плату — стоит только нажать кнопку, соединяющую проволоку вашего дома с залом, где исполняется пьеса. Можно выбрать по вкусу и настроению любую программу. Благодаря этой системе искусство стало доступным и массовым».

Радио помогло осуществить на деле и во многом превзойти эту мечту, казавшуюся современникам Беллами несбыточной. Вместе с тем, оставаясь на почве буржуазного практицизма, он предлагает «эффективные меры» для поощрения подлинных талантов и борьбы с фаворитизмом. Авторы платят «за привилегию обращаться к обществу», но в случае удачи получают проценты от исполнения или продажи произведений; признанные писатели, художники, скульпторы, музыканты пользуются годовым или двухгодовым оплаченным отпуском, чтобы без помех работать над новыми вещами; самые выдающиеся мастера награждаются после всенародного голосования «красной ленточкой» — величайшим из всех национальных отличий, которым обладает не более ста человек. Носящий «красную ленточку» по рангу выше президента.

Разумеется, Беллами был не первым, кто задумывался об улучшении жизни и общественного положения творческой интеллигенции. Еще великий Рабле в романе «Гаргантюа и Пантагрюэль» изобразил Телемскую обитель, чей устав состоял лишь из правила: «Делай, что хочешь». И хотя телемиты, эти своеобразные аристократы духа, находятся под покровительством просвещенного монарха, он не досаждал им мелочной опекой. Позднее Пьер Бейль, предшественник французских просветителей, издавал в Нидерландах журнал с характерным названием «Новости литературной республики». Мечта о Республике свободных умов, независимых от

прихоти моды и капризов властителей, отразилась затем во многих произведениях утопической и фантастической литературы.

Подчиненность искусства коммерции стала особенно очевидной во Франции середины XIX века, при Наполеоне III. «Победы искусства куплены, по-видимому, ценою потери морального качества»*, — заявил Маркс в речи на юбилее чартистской «Народной газеты». Большие художники с презрением говорили о prostituiровании талантов. Франц Лист восклицал в одном из «Путевых писем бакалавра», обращенных к Жорж Санд: «Кого встречаем мы по большей части в наши дни? Скульпторов? Нет, фабрикантов статуй. Живописцев? Нет, фабрикантов картин. Музыкантов? Нет, фабрикантов музыки».

Композитор Берлиоз выпустил в 1852 году книгу статей и очерков «Вечера в оркестре». Один из очерков — «Эвфония, или Город музыки» — написан в жанре утопии. Действие происходит в 2320 году. Эвфония — маленький городок в Германии, расположенный на склонах Гарца, — представляет собой сплошную консерваторию. Все население — мужчины, женщины, дети — целиком отдается музыке. Певцы, композиторы, исполнители, педагоги живут в Эвфонии по своим особым законам. Улицам города присвоены соответствующие названия: улицы сопрано, басов, теноров, контральто или улицы скрипок, валторн, флейт, арф и т. д. Эвфонийцы не зависят от денег. Там нет бездарностей, которые пролезают на первые места, пользуясь невежеством покровителей. Ни один новый опус не может быть исполнен или опубликован, пока не получит одобрения подавляющего большинства эвфонийцев. То же относится и к исполни-

* «К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве». М., 1957, т. I, стр. 228.

телям: каждый проходит конкурсное соревнование, где побеждает достойнейший.

В утопии Берлиоза заметно влияние фурьеристских идей, с той, однако, разницей, что Фурье связывал прекрасное будущее искусства с коренным переустройством общества, а Берлиоз почему-то отдает свою Эвфонию под покровительство прусского короля и устанавливает в ней жесткую дисциплину, напоминающую порядки в прусской армии. Но при всей непоследовательности французского композитора его мечта об идеальном городе музыкального искусства родилась из глубокой неудовлетворенности существующим порядком вещей*.

Обращаясь теперь к фантастической повести Андре Моруа «Путешествие в страну эстетов», мы убеждаемся, что она возникла не на пустом месте. Продолжатель большой литературной традиции, рационалист и скептик, Моруа вступает в ироническую полемику со своими многочисленными предшественниками и, может быть, с тем же Берлиозом. Он знает не хуже других, что претензии художников к буржуазному обществу, которое недостаточно ценит их заслуги, во многом справедливы. Но что бы получилось в действительности, если бы «любимцы муз», освобожденные от всяких забот, были полностью предоставлены самим себе и своему творчеству? Если бы могла осуществиться идиллическая мечта о «башне из слоновой кости»? И вот вместе с героем повести мы попадаем на Остров эстетов, где распорядок жизни и даже государственный строй подчинены интересам искусства. Поэты, драматурги, романисты, образующие касту эстетов, не спеша создают свои шедевры, а простые смерт-

Отрывки из утопии приводятся в сборнике Берлиоза «Избранные статьи», Л., 1956. Разбор и оценку «Эвфонии» см. в книге В. Обрант, Берлиоз, Л., 1964.

ные — беоты, обслуживая «гениев», стараются не нарушить их покой и не внести ни малейшего диссонанса в предписанную законами гармонию.

Проходят годы. Эстеты по-прежнему прозябают на своем острове вдали от жизненных бурь. Им неоткуда черпать новые темы. Вдохновение иссякает. Произведения их становятся вялыми и манерными. Моруа остроумно развенчивает теорию «чистого искусства», показывая ее полную несостоятельность. Эта сатирическая повесть, написанная в начале двадцатых годов, умело стилизована под старинные описания морских путешествий с неизменными кораблекрушениями и неизвестными островами. Так, между прочим, строился и традиционный утопический роман.

Привлекает внимание еще такая подробность, заставляющая вспомнить «Эвфонию» Берлиоза: в столице Острова эстетов улицы названы именами литературных знаменитостей — Флобера, Пруста, Форстера и т. д.

Эдвард Морган Форстер — английский писатель того же поколения, сформировавшегося на рубеже двух веков, что и француз Моруа, и, подобно ему, признанный при жизни классиком, — наибольшей известности достиг в двадцатых годах, с появлением его лучшего романа «Поездка в Индию». Форстер, как и Моруа, частью своего творчества соприкасается с фантастикой. Его знаменитая повесть «Машина останавливается», одна из первых на Западе машинных «мистерий», определила целое направление в развитии научной фантастики. В 1911 году Форстер выпустил сборник новелл «Небесный омнибус», куда вошел одноименный фантастический рассказ.

Современная фантастика настолько широка по диапазону, что включает в себя и философскую сказку, лишенную наукообразных подпорок. А если автор подобного произведения признанный мастер, то интерес к не-

му, естественно, повышается. «Небесный омнибус» — аллегория сбывшейся мечты. Приземленному здравому смыслу противостоит творческая фантазия, способная своим волшебным прикосновением преобразить обесцвеченный тусклый мир. Прекрасное недоступно людям, погруженным в деловую суету, затянутым в рутину мещанского благополучия, пусть даже они и выдают себя за знатоков и ценителей поэзии. Правда жизни не всегда совпадает с правдой искусства, и не всякий выдумщик является лжецом. Отец наказывает маленького фантазера, уверяющего, будто он поднялся по радуге в небесном омнибусе и встретил в заоблачной выси героев любимых книг, а благодушный мистер Бонс, кандидат в члены муниципального совета, церковный староста и президент Литературного общества, вступается за «преступника»: «Ведь каждый из нас в свое время переболел романтикой, не так ли?» Но когда мистер Бонс пробует проделать тот же путь в небесном омнибусе, он падает в пустоту и разбивается. Человек, переболевший романтикой, не может поклоняться поэзии «истинно и всей душой». Мальчик же упивается стихами Китса и не отделяет поэзии от бытия. Респектабельные буржуа наряжают поэтов-классиков в переплеты из телячьей кожи, но какое им дело до Китса и Шелли, которые при жизни были бунтарями и бунтарями остались в своих стихах!

Сказка Форстера о враждебности мещанского сознания искусству и мечте находится в одном ряду с такими романтическими фантазиями, как «Дверь в стене» Уэллса или «Маленький принц» Сент-Экзюпери. Близок к этим произведениям и вдохновенный рассказ Рэя Бредбери «О скитаньях вечных и о Земле» — поэтическая апология Томаса Вулфа (1900—1938), замечательного американского романиста, быть может, и сейчас еще недостаточно оцененного. Трагическая судьба рано умершего и непо-

нятого современниками писателя — случай не такой уж редкий в истории литературы. Бунтарь Вулф с его могучим талантом в изображении Бредбери становится титанической личностью. Только он один может восславить космическую эру и найти неповторимые слова для выражения чувств человека, устремившегося к Марсу в ракете. Вывранный из лап смерти, он переброшен в будущее, чтобы выполнить великую миссию и вернуться потом в свое время умирать на больничной койке. Современники не оценили Вулфа, но слава его будет расти. «Том, ты же молодчина, ты больше, чем Время и Пространство и все эти треклятые механизмы, у тебя такая силища, у тебя железная воля!» — восклицает старый Филд, живущий в XXIII столетии.

«Удивительная кончина Дадли Стоуна» — другая новелла Бредбери — соткана, казалось бы, из случайностей, но тоже возводит до символа трагическую судьбу художника. На этот раз признанный писатель — герой новеллы — терпит поражение и, дабы избежать смерти от пули завистника, превращается в заурядного обывателя. Изменив искусству, он задушил свой талант, и это страшнее самоубийства. Благодаря остроте коллизий и необычности замысла «Удивительная кончина Дадли Стоуна» находится на грани фантастики, но не переступает эту тонкую грань, как и некоторые другие произведения Бредбери, отмеченные, независимо от темы и замысла, печатью его своеобразного таланта.

Пожалуй, ни один американский писатель не нарисовал более мрачной картины духовного оскудения общества, чем тот же Бредбери в романе «451° по Фаренгейту». Под властью всемогущей олигархии стандартное псевдоискусство становится эффективным средством для ведения непрерывной психологической атаки. Телевизор — наваждение и кошмар американцев недалекого

будущего. Искусство заменяется суррогатами. Вслед за Бредбери эту тему обыгрывают фантасты Англии и США, Италии, Франции, Японии.

Научная фантастика — увеличительное зеркало настоящего. Тревожные симптомы, возведенные в энную степень, характеризуют буржуазное общество, в котором созидательные силы из блага превращаются в зло. При этом распад искусства ставится в прямую зависимость от развития науки и техники.

Зачем сочинять стихи, когда машина-поэт может за одну минуту изготовить прекрасную поэму?

Зачем работать кистью, когда машина-художник может выдать без промедления отличную картину?

Зачем писать музыку, когда машина-композитор может сфабриковать новый опус, не уступающий первоклассным образцам?

Зачем изощрять чувства, искать неподдельных переживаний, когда эмоциональные фильмы и прочие иллюзии позволяют испытывать ужасы и ощущать наслаждение?

Машина обезличивает человека, вытесняет его из всех жизненных сфер, нивелирует духовную деятельность. Техника будущего рисуется как страшная обезчеловечивающая сила. Хитроумные синтезаторы воссоздают образы, воспроизводят эмоции и... разъединяют людей.

Электронный прибор в руках искусной художницы составляет из атомов изумительные цветовые гаммы, причудливые орхидеи, превосходящие естественные тончайшими переливами красок. Но никакие иллюзии не заменят одинокой женщине потерянного счастья. Забывшись, она может создать из воздуха лишь бесплотный образ возлюбленного, с которым рассталась много лет назад. Лирическая новелла Масами Фукусима «Жизнь цветов коротка» заметно отличается национальным япон-

ским колоритом от привычных американских рассказов. Однако речь идет о сходных явлениях, порожденных теми же закономерностями бездушной механической цивилизации.

«Нет, Рамирес, художника должна связывать с аудиторией общность жизненного опыта. А эту-то общность люди утратили... Ведь вам известно, что последним новым видом искусства было кино. Все, что делалось после этого,— простая техника». Художник Рамирес не может опровергнуть утверждение миллионера Картера, но чтобы отомстить ненавистному магнату, которому понадобился его жалкий клочок земли, обещает создать нечто необыкновенное и сдерживает слово. Великолепная картина, выполненная необычным способом, фиксирует затопление каньона и смерть самого художника, из чувства протеста не пожелавшего покинуть свою землю.

В «Картине» Айона Декле погибает художник. В «Премьере» Ричарда Сабиа погибают зрители. В электронном аппарате, беспредельно усиливающем эмоции актера, человека с повышенной возбудимостью, не сработало ограничительное устройство. Все умерли с улыбкой на губах: смерть была легкой и приятной...

Джеймс Блиш в рассказе «Произведение искусства» воскрешает к новой жизни и переносит в Америку 2162 года знаменитого Рихарда Штрауса. Искусство механизировалось. Поточный метод применяется даже при создании серьезной музыки. «Неододекафония», основанная на теории информации и электронной технике, доводит до логического предела те самые симптомы деградации, которые тревожили Рихарда Штрауса в XX столетии и еще раньше были подмечены Жюлем Верном в метафоре «алгебраической музыки». В этих условиях художественный опыт «короля капельмейстеров» оказывается безнадежно устаревшим. По мнению Штрауса

и очевидно самого Блиша, экстраполирующего в даль времен характерные признаки музыкального авангардизма, это «стиль игры малолетнего идиота, которого учат барабанить по клавишам расстроенного рояля, только бы он не занялся чем-нибудь похуже». Однако бедному Штраусу не остается ничего другого, как применить к изменившимся требованиям. Не в силах преодолеть свою творческую индивидуальность, он копирует в новой опере собственные «музыкальные рефлексy» и, вопреки ожиданиям психоскульптора, вселившего в телесную оболочку донора интеллект и духовный мир великого композитора, умирает как художник еще до того, как закончился необычный эксперимент. Мертворожденное произведение Штрауса столь же бесплодно, как и психоскульптура, которую он справедливо считает «достаточно утонченным, на уровне века, видом жестокости». Искусство, утратившее человечность, перестает быть искусством. К этой мысли и приводит читателей Джеймс Блиш.

Парадоксы современного мира, помноженные на богатое воображение, порождают удивительные сюжеты, которые эксплуатируются фантастами в серьезных или развлекательных целях.

Англичанин Уильям Тэнн и американец Дэймон Найт известны своей склонностью к юмористическим ситуациям, проистекающим из того положения, что в эпоху всепобеждающей техники представления о сущности и видимости, подлинном и поддельном относительно. «Открытие Морниела Метауэя» Уильяма Тэнна и «Творение прекрасного» Дэймона Найта — рассказы, основанные на недоразумениях. И в том и в другом используется условный фантастический прием перемещения во времени. В первом случае к художнику-пачкуну попадает искусствовед из далекого будущего, посвятивший себя

изучению «великого Метауэя», основоположника новой школы в живописи. Но прежде чем искусствовед выяснил свою ошибку, находчивый пачкун умчался в машине времени, а посланец из будущего, оставшись в нашем веке, реформирует живопись на правах «подлинного Метауэя».

Во втором рассказе жуликоватый делец Гордон Фиш благодаря случайному «сдвигу во времени» получает из будущего комплекс загадочных механизмов, создающих по заданной программе шедевры изобразительного искусства, но из-за невежества не может воспользоваться этим подарком судьбы. Такие парадоксальные рассказы, не лишённые, впрочем, критической направленности, характерны для англо-американской фантастики.

Искусству будущего посвящены и произведения прогностические, авторы которых, учитывая потенциальные возможности техники, предсказывают появление новых изобразительных средств и новых способов воплощения художественного замысла. Так, в рассказе румынского писателя О. Шурпану «Колдун» речь идет о воздействии на слуховые центры через осязание и сюжет построен таким образом, чтобы показать необыкновенный музыкальный аппарат в действии. С будущими техническими новациями связан и юмористический рассказ польского литератора Витольда Зегальского «Писательская кухня».

Если в упомянутых произведениях выдвигаются более или менее частные проблемы, эстетические или моральные, то Ллойд Биггл младший в рассказе «Музыкадел» приходит к социальным обобщениям. Общество будущего с его гигантскими монополиями, взявшими на откуп то, что когда-то называлось искусством, — гипербола современной Америки. Когда-то существовали музыка, литература, поэзия. Все это исчезло и давно забыто. Никто больше не учится играть на инструментах. «Зачем, когда

есть столько чудесных машин, воспроизводящих коммерсы без малейшего усилия?» Рекламные коммерсы — такое же проклятие века, как телевидение в романе Бредбери. Один из музыкоделов-поденщиков, Эрлин Бак, пытается возродить настоящую музыку, которая «заставляет людей смеяться и плакать, и танцевать, и сходить с ума». Но его поиски противоречат интересам рекламной компании. Непокорного Эрлина Бака, виновного в том, что он не хотел и не умел быть посредственностью, отправляют на пожизненную каторгу на рудники Ганимеда. Казалось бы, все безысходно и беспросветно. Однако автор вводит в рассказ утопический зачин и финал. Добрые семена, посеянные Эрлином Баком, дали прекрасные всходы. Его примеру последовали другие музыкоделы, и в Америке XXIV века возродилась не только музыка, но и поэзия, литература и все другие виды искусства. Вернувшись на Землю дряхлым стариком, Эрлин Бак застаёт у себя на родине огромный город искусств, возникший «необъяснимо, словно феникс... из пепла позорно загнившей культуры».

Разумеется, в этом счастливом финале нет ничего закономерного. Все объясняется странным стечением обстоятельств. Эрлин Бак нечаянно дал первый толчок и.. люди опомнились. В основе рассказа — та же концепция (распад искусства в связи с развитием науки и техники), что и в подавляющем большинстве произведений современной западной фантастики. Эта новейшая отрасль литературы сильна своим критическим потенциалом, но зачастую наивна и беспомощна в утверждении позитивных идей. Мы не можем, конечно, согласиться с концепциями западных фантастов относительно искусства будущего и развития общества в целом.

Философский оптимизм социалистической научной фантастики исходит из иных представлений, кото-

рые хорошо сформулировал индийский литературовед К. С. Дхингра, анализируя «Туманность Андромеды»: «У Ефремова наука и искусство не только существуют рядом в полном своем расцвете, но и содействуют взаимному развитию. Союз науки и искусства — главная черта ефремовского общества; он способствует физическому и духовному развитию людей будущего, формированию всесторонне развитых личностей».

Западная фантастика отвечает на другие вопросы. В лучших своих образцах она современна и злободневна, раскрывает теневые стороны жизни и уводит в условное будущее только для того, чтобы помочь понять настоящее.

Евг. Брандис

О СКИТАНЬЯХ ВЕЧНЫХ
И О ЗЕМЛЕ

Семьдесят лет кряду Генри Уильям Филд писал рассказы, которых никто никогда не печатал, и вот однажды в половине двенадцатого ночи он поднялся и сжег десять миллионов слов. Отнес все рукописи в подвал своего мрачного старого особняка, в котельную, и швырнул в печь.

— Вот и все,— сказал он и, раздумывая о своих напрасных трудах и загубленной жизни, вернулся в спальню, полную всяческих антикварных диковинок, и лег в постель.— Зря я пытался изобразить наш безумный мир, это была ошибка. Год 2257, ракеты, атомные чудеса, странствия к чужим планетам и двойным солнцам. Кому же это под силу! Пробовали-то все. И ни у одного современного автора ничего не вышло.

Космос слишком необъятен, думал он, межзвездные корабли слишком быстры, открытия атомной науки слишком внезапны. Но другие с грехом пополам все же печатались, а он, богатый и праздный, всю жизнь потратил впустую.

Целый час он терзался такими мыслями, а потом побрел через ночные комнаты в библиотеку и зажег фонарь. Среди книг, к которым полвека никто не прикасался, он наудачу выбрал одну. Книге минуло три столетия, ветхие страницы пожелтели, но он впился в эту книгу и жадно читал до самого рассвета...

В девять утра Генри Уильям Филд выбежал из библиотеки, кликнул слуг, вызвал по телевизору юристов, друзей, ученых, литераторов.

— Приезжайте сейчас же! — кричал он.

Не прошло и часу, как у него собралось человек двенадцать; Генри Уильям Филд ждал в кабинете — встре-паный, небритый, до неприличия взбудораженный, переполненный каким-то непонятным лихорадочным весельем. Высохшими руками он сжимал толстую книгу и, когда с ним здоровались, только смеялся в ответ.

— Смотрите, — сказал он наконец, — вот книга, ее написал исполин, который родился в Эшвиле, штат Северная Каролина, в тысяча девятисотом году. Он давно уже обратился в прах, а когда-то напечатал четыре огромных романа. Он был как ураган. Он вздымал горы и вбирал в себя ветры. Пятнадцатого сентября тысяча девятьсот тридцать восьмого года он умер в Балтиморе, в больнице Джона Гопкинса, от древней страшной болезни — пневмонии, и после него остался чемодан, набитый рукописями — и все карандашом.

Собравшиеся посмотрели на книгу.

«Оглянись на дом, ангел».

Старик Филд выложил на стол еще три книги. «О времени и о реке», «Паутина и утес», «Тебе уже не вернуться домой».

— Их написал Томас Вулф, — сказал он. — Три столетия он покоится в земле Северной Каролины.

— Неужели же вы созвали нас только затем, чтобы показать книги какого-то мертведа? — изумились друзья.

— Нет, не только! Я созвал вас, потому что понял: Том Вулф — вот кто нам нужен! Вот человек, созданный для того, чтобы писать о великом, о Времени и Пространстве, о галактиках и космической войне, о метеорах и планетах. Он любил и описывал все вот в таком роде,

величественное и грозное. Просто он родился слишком рано. Ему нужен был материал поистине грандиозный, а на Земле он ничего такого не нашел. Ему следовало родиться не сто тысяч дней назад, а сегодня.

— А вы, боюсь, немного опоздали,— заметил профессор Боултон.

— Ну нет! — отрезал старик. — Я-то не дам действительности меня обокрасть. Вы, профессор, ставите опыты с путешествиями во времени. Надеюсь, вы уже в этом месяце доделаете свою машину. Вот вам чек, сумму поставьте сами. Если понадобятся еще деньги, скажите только слово. Вы ведь уже путешествовали в прошлое, так?

— Да, на несколько лет назад, но не на столетия...

— А мы добьемся столетий! И вы все,— он обвел присутствующих неистовым, сверкающим взором,— будете помогать Боултону. Мне необходим Томас Вулф.

Все ахнули.

— Да-да,— подтвердил старик. — Вот что я задумал. Вы доставите мне Вулфа. Сообща мы выполним великую задачу, полет с Земли на Марс будет описан так, как способен это сделать один лишь Томас Вулф!

И все ушли, а Филд остался со своими книгами, он листал ветхие страницы и, кивая, бормотал про себя:

— Да, да, конечно! Том — вот кто нам нужен. Том — самый подходящий парень для этого дела.

Медленно влачился месяц. Дни упорно не желали расставаться с календарем, нескончаемо тянулись недели, и Генри Уильям Филд готов был взвыть от отчаяния.

На исходе месяца он однажды проснулся в полночь. Трезвонил телефон. В темноте Филд протянул руку.

— Слушаю.

— Говорит профессор Боултон.

— Что скажете?

— Я отбываю через час.

— Отбываєте? Куда? Вы что, бросаете работу? Это невозможно!

— Позвольте, мистер Филд. Отбываю — это значит отбываю.

— Так вы и вправду отправляетесь?

— Через час.

— В тысяча девятьсот тридцать восьмой? Пятнадцатое сентября?

— Да.

— Вы точно записали дату? Вдруг вы прибудете, когда он уже умрет? Смотрите, не опоздайте! Постарайтесь попасть туда загодя, скажем, за час до его смерти.

— Хорошо.

— Я так волнуюсь, насилу держу в руках трубку. Счастливо, Боултон! Доставьте его сюда в целости и сохранности.

— Спасибо, сэр. До свидания.

В трубке щелкнуло.

Генри Уильям Филд лежал без сна, ночь отсчитывала минуты. Он думал о Томе Вулфе как о давно потерянном брате, которого надо поднять невредимым из-под холодного могильного камня, возвратить ему плоть и кровь, горение и слово. И всякий раз он трепетал при мысли о Боултоне — о том, кого ветер Времени уносит вспять, к иным календарям, к иным лицам.

«Том, — в полудреме думал он с бессильной нежностью, словно старик отец, взывающий к любимому, давно потерянному сыну, — Том, где ты сейчас? Приходи, мы тебе поможем, ты непременно должен прийти, ты нам так нужен! Мне это не под силу, Том, и никому из нас,

теперешних, не под силу. Раз уж я сам не могу с этим справиться, так хоть помогу тебе. У нас ты можешь шутя играть ракетами, Том, вот тебе звезды — пригоршня цветных стеклышек. Бери все что душе угодно, у нас все есть. Тебе придется по вкусу наше горение и наши странствия — они созданы для тебя. Мы, нынешние, — жалкие писаки, Том, я всех перечел, и ни один тебя не стоит. Я одолел многое множество их сочинений, Том, и нигде ни на миг не ощутил Пространства — для этого нам нужен ты! Дай же старику то, к чему он стремился всю жизнь, ведь, бог свидетель, я всегда ждал, что сам ли я или кто другой напишет наконец поистине великую книгу о звездах, — и ждал напрасно. Каков ты ни есть сегодня ночью, Том Вулф, покажи, на что ты способен. Эту книгу ты готовился создать. Критики говорят — эта прекрасная книга уже сложилась у тебя в голове, но тут жизнь твоя оборвалась. И вот выпал случай, Том, ты ведь его не упустишь? Ты ведь послушаешься и придешь к нам, придешь сегодня ночью и будешь здесь утром, когда я проснусь? Ведь правда, Том?»

Веки Филда сомкнулись; смолк язык, лихорадочно лепетавший все ту же настойчивую мольбу; уснули губы. Часы пробили четыре.

Он пробудился ясным трезвым утром и ощутил в груди нарастающий прилив волнения. Он боялся мигнуть — вдруг то, что ждет его где-то в доме, кинется бежать, хлопнет дверью и исчезнет навеки. Он прижал руки к худой старческой груди.

Вдалеке... шаги...

Одна за другой отворялись и затворялись двери. В спальню вошли двое.

Филд слышал их дыхание. И уже различал походку. У одного мелкие аккуратные шажки, точно у паука, —

это Боултон. Поступь второго выдает человека рослого, крупного, грузного.

— Том? — вскрикнул старик. Он все еще не открывал глаз.

— Да, — услышал он наконец.

Едва Филд увидел Тома Вулфа, образ, созданный его воображением, лопнул по всем швам, как слишком тесная одежда на большом не по возрасту ребенке.

— Дай я на тебя погляжу, Том Вулф! — снова и снова твердил Филд, неуклюже вылезая из постели. Его трясло. — Да поднимите же шторы, дайте на него посмотреть! Том Вулф, неужели это ты?

Огромный, толстый Том Вулф смотрел на него сверху вниз, растопырив тяжелые руки, чтобы не потерять равновесия в этом незнакомом мире. Он посмотрел на старика, обвел глазами комнату, губы его дрожали.

— Ты совсем такой, как тебя описывали, Том, только больше.

Томас Вулф засмеялся, захохотал во все горло — решил, должно быть, что сошел с ума или видит какой-то нелепый сон; шагнул к старику, дотронулся до него, оглянулся на профессора Боултона, ощупал свои плечи, ноги, осторожно покашлял, приложил ладонь ко лбу.

— Жара больше нет, — сказал он. — Я здоров.

— Конечно, здоров, Том!

— Ну и ночка! — сказал Том Вулф. — Тяжко мне пришлось. Я думал, ни одному больному на свете не бывало так худо. Вдруг чувствую — плыву — и подумал: ну и жар у меня. Чувствую — меня куда-то несет — и подумал: все, умираю. Подходит ко мне человек. Я подумал — гонец господень. Взял он меня за руки. Чую — электричеством пахнет. Взлетел я куда-то вверх, вижу — медный город. Ну, думаю, прибыл. Вот оно, царство небесное, а вот и врата! Окоченел я с головы до пят, будто

меня держали в снегу. Смех разбирает, надо мне что-то делать, а то я окончательно решу, что спятил. Вы ведь не господь бог, а? С виду что-то не похоже.

Старик рассмеялся.

— Нет-нет, Том, я не бог, только прикидываюсь. Я Филд.— Он опять засмеялся.— Надо же! Я так говорю, как будто он может знать, кто такой Филд. Том, я Филд, финансовый туз — кланяйся пониже, целуй руку. Я Генри Филд, мне нравятся твои книги. Я перенес тебя сюда. Подойди-ка.

И старик потащил Вулфа к широченному зеркальному окну.

— Видишь в небе огни, Том?

— Да, сэр.

— Фейерверк видишь?

— Вижу.

— Это совсем не то, что ты думаешь, сынок. Нынче не четвертое июля. Не как в твоё время. Теперь у нас каждый день — праздник независимости. Человек объявил, что он свободен от Земли. Власть земного притяжения давным-давно свергнута. Человечество победило. Вон та зеленая «римская свеча» летит на Марс. А тот красный огонек — ракета с Венеры. И еще — видишь, сколько их? — желтые, голубые. Это межпланетные корабли.

Том Вулф смотрел во все глаза, точно ребенок-великан, замороженный многоцветными огненными чудесами, что сверкают и кружат в июльских сумерках, и вспыхивают, и разрываются с оглушительным треском.

— Какой теперь год?

— Год ракеты. Смотри! — Старик коснулся каких-то растений, и у него под рукой они вдруг расцвели. Цветы были точно белое и голубое пламя. Они пламенели, искрились прохладными удлинёнными лепестками. Чашеч-

ки их были два фута в поперечнике и холодно голубели, словно осенняя луна.— Это лунные цветы,— сказал Филд.— С обратной стороны Луны.— Он чуть коснулся их, и они осыпались серебряным дождем, брызнули белые искры и растаяли в воздухе.— Год ракеты. Вот тебе подходящее название, Том. Вот почему мы перенесли тебя сюда: ты нам нужен. Ты единственный человек, способный совладать с Солнцем и не обратиться в жалкую горсточку золы. Мы хотим, чтобы ты играл Солнцем как мячом— Солнцем и звездами, и всем, что увидишь по пути на Марс.

— На Марс? — Томас Вулф обернулся, схватил старика за плечо, наклонился, недоверчиво всматриваясь ему в лицо.

— Да. Ты летишь сегодня в шесть.

Старик поднял затрепетавший в воздухе розовый билетик и ждал, когда Том догадается его взять.

Было пять часов.

— Да-да, конечно, я очень ценю все, что вы сделали! — воскликнул Томас Вулф.

— Сядь, Том. Перестань бегать из угла в угол.

— Дайте договорить, мистер Филд, дайте мне кончить, я должен высказать все до конца.

— Мы уже столько часов спорим,— в изнеможении взмолился Филд.

Они проговорили с утреннего завтрака до полудня и с полудня до вечернего чая, переходили из одной комнаты в другую (а их была дюжина) и от одного довода к другому (а их было десять дюжин); обоих бросало в жар и в холод, и снова в жар.

— Все сводится вот к чему,— сказал наконец Томас Вулф.— Я не могу здесь оставаться, мистер Филд. Я дол-

жен вернуться. Это не мое время. Вы не имели права вмешиваться...

— Но...

— Моя работа была в самом разгаре, а лучшую свою книгу я еще и не начинал — и вдруг вы хватаете меня и переносите на три столетия вперед. Вызовите профессора Боултона, мистер Филд. Пускай он посадит меня в свою машину, какая она ни есть, и отправит обратно в тысяча девятьсот тридцать восьмой год, там мое время и мое место. Больше мне от вас ничего не надо.

— Неужели ты не хочешь увидеть Марс?

— Еще как хочу! Но я знаю, это не для меня. Вся моя работа пойдет прахом. На меня навалится груда ощущений, которые я не смогу вместить в мои книги, когда вернусь домой.

— Ты не понимаешь, Том, ты просто не понимаешь.

— Прекрасно понимаю, вы эгоист.

— Эгоист? — переспросил старик. — Да, конечно, и еще какой! Ради себя и ради других.

— Я хочу вернуться домой.

— Послушай, Том...

— Вызовите профессора Боултона!

— Том, я очень не хотел тебе говорить... Я надеялся, что не придется, что в этом не будет нужды. Но ты не оставляешь мне выбора.

Старик протянул руку к завешенной стене, отдернул занавес, открыв большой белый экран, и начал вращать диск, набирая какие-то цифры; экран замерцал, ожил, огни в комнате медленно померкли — и перед глазами возникло кладбище.

— Что вы делаете? — резко спросил Вулф, шагнул вперед и уставился на экран.

— Я совсем этого не хотел, — сказал старик. — Смотри.

Кладбище лежало перед ними в ярком свете летнего полдня. С экрана потянуло жарким запахом летней земли, разогретого гранита, свежестью журчащего по соседству ручья. В ветвях дерева свистела какая-то пичуга. Среди могильных камней кивали алые и желтые цветы, экран двигался, небо поворачивалось, старик вертел диск, увеличивая изображение... и вот посреди экрана выросла мрачная гранитная глыба — она растет, близится, заполняет все, они уже ничего больше не видят и не чувствуют, и в полутемной комнате Томас Вулф, подняв глаза, читает высеченные на граните слова — раз, другой, третий, и, задохнувшись, перечитывает вновь, ибо это его имя:

ТОМАС ВУЛФ

и дата его рождения, и дата смерти, и в холодной комнате пахнет душистым зеленым папоротником.

— Выключите,— сказал он.

— Прости, Том.

— Выключите, ну! Не верю я этому.

— Это правда.

Экран почернел, и комнату накрыл полуночный небосвод, она стала склепом, едва чувствовалось последнее дыхание цветов.

— Значит, я уже не проснулся,— сказал Томас Вулф.

— Да. Ты умер тогда, в сентябре тысяча девятьсот тридцать восьмого.

— И не дописал книгу.

— Ее напечатали другие, они отнеслись к ней очень бережно, сделали за тебя все что надо.

— Я не дописал свою книгу, не дописал!

— Не горюй так.

— Вам легко говорить!

Старик все не зажигал света. Ему не хотелось видеть Тома таким.

— Сядь, сынок.

Молчание.

— Том?

Никакого ответа.

— Сядь, сынок. Хочешь чего-нибудь выпить?

Вздых, потом сдавленное рычание, словно застонал раненый зверь.

— Это несправедливо, нечестно! Мне надо было еще столько сделать!

Он глухо зарыдал.

— Перестань,— сказал старик.— Слушай. Выслушай меня. Ты еще жив — так? Здесь, сейчас — ты живой? Ты дышишь и чувствуешь, верно?

Томас Вулф ответил не сразу:

— Верно.

— Так вот,— в темноте Филд подался вперед.— Я перенес тебя сюда, Том, я даю тебе еще одну возможность. Лишний месяц или около того. Думаешь, я тебя не оплакивал? Я прочел твои книги, а потом увидел надгробный камень, который триста лет точили ветер и дожди, и подумал — такого таланта не стало! Эта мысль меня просто убила, поверь. Просто убила! Я не жалел денег, лишь бы найти какой-то путь к тебе. Ты получил отсрочку — правда, короткую, очень короткую. Профессор Боултон говорит, если очень повезет, мы сумеем продержать каналы Времени открытыми два месяца. Он будет держать их для тебя два месяца, но не дольше. За этот срок ты должен написать книгу, Том, ту книгу, которую мечтал написать,— нет-нет, сынок, не ту, которую ты писал для современников, они все умерли и обратились в прах, этого уже не изменить. Нет, теперь ты создашь книгу для нас, живущих, она нам очень-очень нужна.

Ты оставишь ее нам ради себя же самого, она будет во всех отношениях выше и лучше твоих прежних книг... ведь ты ее напишешь, Том? Можешь ты на два месяца забыть тот камень, больницу — и писать для нас? Ты напишешь, правда, Том?

Комнату медленно заполнил свет. Том Вулф стоял и смотрел в окно — большой, массивный, а лицо бледное, усталое. Он смотрел на ракеты, что проносились в неярком вечерющем небе.

— Я сперва не понял, что вы для меня сделали, — сказал он. — Вы мне даете еще немного времени, а время мне всего дороже и нужней, оно мне друг и враг, я всегда с ним воевал, и отблагодарить вас я, видно, могу только одним способом. Будь по-вашему. — Он запнулся. — А когда я кончу работу? Что тогда?

— Вернешься в больницу, Том, в тысяча девятьсот тридцать восьмой год.

— Иначе нельзя?

— Мы не можем изменить Время. Мы взяли тебя только на пять минут. И вернем тебя на больничную койку через пять минут после того, как ты ее оставил. Таким образом, мы ничего не нарушим. Все это уже история. Тем, что ты живешь сейчас с нами, в будущем, ты нам не повредишь. Но если ты откажешься вернуться, ты повредишь прошлому, а значит, и будущему, там многое перевернется, будет хаос.

— Два месяца, — сказал Томас Вулф.

— Два месяца.

— А ракета на Марс летит через час?

— Да.

— Мне нужны бумага и карандаши.

— Вот они.

— Надо собираться. До свидания, мистер Филд.

— Счастливо, Том.

Шесть часов. Заходит солнце. Небо алеет, как вино. В просторном доме тишина. Жарко, но старика знобит. И вот наконец появляется профессор Боултон.

— Ну как, Боултон? Как он себя чувствовал, как держался на космодроме? Да говорите же!

Профессор улыбается.

— Он просто чуднище — такой великан, ни один скафандр ему не впору, пришлось спешно делать новый. Жаль, вы не видали, что это было: все-то он обошел, все ощупал, принимаивается как большой пес, говорит без умолку, глаза круглые, ненасытные, и от всего приходит в восторг — прямо как мальчишка!

— Дай-то бог, дай бог! Боултон, а вы и правда продержите его тут два месяца?

Боултон нахмурился.

— Вы же знаете, он не принадлежит нашему времени. Если энергия здесь хоть на миг ослабнет, Вулфа разом притянет обратно в прошлое, как бумажный мячик на резинке. Поверьте, мы всячески стараемся его удерживать.

— Это необходимо, поймите! Нельзя, чтобы он вернулся, не докончив книгу! Вы должны...

— Смотрите! — прервал Боултон.

В небо взмыла серебряная ракета.

— Это он? — спросил старик.

— Да, — сказал профессор. — Это Вулф летит на Марс.

— Bravo, Том! — завопил старик, потрясая кулаками над головой. — Задай им жару!

Ракета утонула в вышине, они проводили ее глазами.

К полуночи до них дошли первые страницы.

Генри Уильям Филд сидел у себя в библиотеке. Перед ним на столе гудел аппарат. Аппарат повторял слова, написанные далеко по ту сторону Луны. Он выводил их черным карандашом, в точности воспроизводя тороп-

ливые каракули Тома Вулфа, нацарапанные за миллион миль отсюда. Насилу дождавшись, чтобы на стол легла стопка бумажных листов, старик схватил их и принялся читать, а Боултон и слуги стояли и слушали. Он читал о Пространстве и Времени, и о полете, о большом человеке в большом пути, о долгой полночи и о холоде космоса, и о том, как изголодавшийся человек с жадностью поглощает все это и требует еще и еще. Он читал, и каждое слово полно было горения, и грома, и тайны.

Космос как осень, писал Томас Вулф. И говорил о пустынном мраке, об одиночестве, о том, как мал затерянный в космосе человек. Говорил о вечной, непреходящей осени. И еще о межпланетном корабле, о том, как пахнет металл и какой он на ощупь, и о чувстве высокой судьбы, о неистовом восторге, с каким наконец-то отрываешься от Земли, оставляешь позади все земные задачи и печали и стремишься к задаче, куда более трудной, к печали, куда более горькой. Да, это были прекрасные страницы, и они говорили то, что непременно надо было сказать о Вселенной и человеке и о его крохотных ракетах, затерянных в космосе.

Старик читал, пока не охрип, за ним читал Боултон, потом остальные — до глубокой ночи, когда аппарат перестал писать и все поняли, что Том уже в постели, там, в ракете, летящей на Марс... наверно, он еще не спит, нет, еще долго он не уснет, так и будет лежать без сна, словно мальчишка в канун открытия цирка: ему все не верится, что уже воздвигнут огромный, черный, весь в драгоценных камнях балаган и представление начинается, и десять миллиардов сверкающих акробатов качаются на туго натянутых проволоках, на незримых трапециях Пространства.

— Ну вот! — выдохнул старик, бережно откладывая

последние страницы первой главы.— Что вы об этом скажете, Боултон?

— Это хорошо.

— Черта с два хорошо! — заорал Филд.— Это великолепно! Прочтите еще раз, сядьте и прочтите еще раз, черт вас поberi!

Так оно и шло, день за днем, по десять часов кряду. На полу росла гряда желтоватой исписанной бумаги — за неделю она стала огромной, за две недели — неправдоподобной, к концу месяца — совершенно немыслимой.

— Вы только послушайте! — кричал старик и читал вслух.

— А это?! — говорил он.

— А вот еще глава, Боултон, а вот повесть, она только что передана, называется «Космическая война», целая повесть о том, каково это — воевать в космосе. Он говорил с разными людьми, расспрашивал солдат, офицеров, ветеранов Пространства. И обо всем написал. А вот еще глава, называется «Долгая полночь», а эта — о том, как негры заселили Марс, а вот очерк — портрет марсианина, ему просто цены нет!

Боултон откашлялся

— Мистер Филд...

— После, после, не мешайте.

— Дурные новости, сэр.

Филд вскинул седую голову.

— Что такое? Что-нибудь с Элементом Времени?

— Передайте Вулфу, пускай поторопится, — мягко сказал Боултон — Вероятно, на этой неделе связь с Прошлым оборвется.

— Я дам вам еще миллион долларов, только поддерживайте ее.

— Дело не в деньгах, мистер Филд. Сейчас все зависит от самой обыкновенной физики. Я сделаю все, что

в моих силах. Но вы его предупредите на всякий случай.

Старик съежился в кресле, стал совсем крохотный.

— Неужели вы сейчас отнимете его у меня? Он так великолепно работает! Видели бы вы, какие эскизы он передал только час назад — рассказы, наброски. Вот, вот — это про космические течения, а это — о метеоритах. А вот начало повести под названием «Пушинка и пламя»...

— Что поделаешь...

— Но если мы сейчас его лишимся, может быть, вы сумеете доставить его сюда еще раз?

— Неумеренное вмешательство в Прошлое слишком опасно.

Старик будто окаменел.

— Тогда вот что. Устройте так, чтобы Вулф не тратил времени на канитель с карандашом и бумагой — пускай печатает на машинке либо диктует, словом, позаботьтесь о какой-нибудь механизации. Непременно!

Аппарат стрекотал без устали — за полночь и потом до рассвета и весь день напролет. Старик провел бессонную ночь; едва он смежит веки, как аппарат вновь оживает — и он встрепнется, и снова космические просторы и странствия и необъятность бытия хлынут к нему, преображенные мыслью другого человека.

«...бескрайние звездные луга космоса...»

Аппарат запнулся, дрогнул.

— Давай, Том! Покажи им!

Старик застыл в ожидании.

Зазвонил телефон.

Голос Боултона:

— Мы больше не можем поддерживать связь, мистер Филд. Еще минута — и контакт Времени сойдет на нет.

— Сделайте что-нибудь!

— Не могу.

Телетайп дрогнул. Словно заколдованный, похолодев от ужаса, старик следил, как складываются черные строчки:

«...марсианские города — изумительные, неправдоподобные, словно камни, снесенные с горных вершин какой-то стремительной, невероятной лавиной и застывшие наконец сверкающими россыпями...»

— Том! — вскрикнул старик.

— Все, — прозвучал в телефонной трубке голос Боултона.

Телетайп помедлил, отстучал еще слово и умолк.

— Том!!! — отчаянно закричал Филд.

Он стал трясти телетайп.

— Бесполезно, — сказал голос в трубке. — Он исчез. Я отключаю Машину Времени.

— Нет! Погодите!

— Но...

— Слышали, что я сказал? Погодите выключать! Может быть, он еще здесь.

— Его больше нет. Это бесполезно, энергия уходит впустую.

— Пускай уходит!

Филд швырнул трубку.

И повернулся к телетайпу, к незаконченной фразе.

— Ну же, Том, не могут они вот так от тебя отделаться, не поддавайся, мальчик, ну же, продолжай! Докажи им, Том, ты же молодчина, ты больше, чем Время и Пространство и все эти треклятые механизмы, у тебя такая сила, у тебя железная воля. Том, докажи им всем, не давай отправить тебя обратно!

Щелкнула клавиша телетайпа.

— Том, это ты?! — вне себя забормотал старик. — Ты еще можешь писать? Пиши, Том, не сдавайся, пока

ты не опустил рук, тебя не могут отослать обратно, не могут!!!

«В»,— стукнула машина.

— Еще, Том, еще!

«Дыхании»,— отстучала она.

— Ну, ну?!

«Марса»,— напечатала машина и остановилась. Короткая тишина. Щелчок. И машина начала сызнова, с новой строчки:

«В дыхании Марса ощущаешь запах корицы и холодных пряных ветров, тех ветров, что вздымают летучую пыль и омывают нетленные кости, и приносят пыльцу давным-давно отцветших цветов...»

— Том, ты еще жив!

Вместо ответа аппарат еще десять часов кряду взрывался лихорадочными приступами и отстукал шесть глав «Бегства от демонов».

— Сегодня уже полтора месяца, Боултон, целых полтора месяца, как Том полетел на Марс и на астероиды. Смотрите, вот рукописи. Десять тысяч слов в день, он не дает себе передышки, не знаю, когда он спит, успевает ли поесть, да это мне все равно, и ему тоже, ему одно важно — дописать, он ведь знает, что время не ждет.

— Непостижимо,— сказал Боултон.— Наши реле не выдержали, энергия упала. Мы изготовили для главного канала новые реле, которые обеспечивают надежность Элемента Времени, но ведь на это ушло три дня — и все-таки Вулф продержался! Видно, это зависит еще и от его личности, тут действует что-то такое, чего мы не предусмотрели. Здесь, в нашем времени, Вулф живет — и, оказывается, Прошлому не так-то легко его вернуть. Время не так податливо, как мы думали. Мы пользова-

лись неправильным сравнением. Это не резинка. Это больше похоже на диффузию — взаимопроникновение жидких слоев. Прошлое как бы просачивается в Настоящее... Но все равно придется отослать его назад, мы не можем его оставить здесь: в Прошлом образуется пустота, все сместится и спутается. В сущности, его сейчас удерживает у нас только одно — он сам, его страсть, его работа. Дописав книгу, он ускользнет из нашего времени так же естественно, как выливается вода из стакана.

— Мне плевать, что, как и почему, — возразил Филд. — Я знаю одно: Том заканчивает свою книгу! У него все тот же талант и вдохновение и есть что-то еще, что-то новое, он ищет ценностей, которые превыше Пространства и Времени. Он написал психологический этюд о женщине, которая остается на Земле, когда отважные космонавты устремляются в Неизвестность, — это прекрасно написано, правдиво и тонко; Том назвал свой этюд «День ракеты», он описал всего лишь один день самой обыкновенной провинциалки, она живет у себя в доме, как жили ее прабабки — ведет хозяйство, растит детей... невиданный расцвет науки, грохот космических ракет, а ее жизнь почти такая же, как была у женщин в каменном веке. Том правдиво, тщательно и проникновенно описал ее порывы и разочарования. Или вот еще рукопись, называется «Индейцы», тут он пишет о марсианах: они — индейцы космоса, их вытеснили и уничтожили, как в старину индейские племена — чероков, ирокезов, черноногих. Выпейте, Боултон, выпейте!

На исходе второго месяца Том Вулф возвратился на Землю.

Он вернулся в пламени, как в пламени улетал, шагами исполина он пересек космос и вступил в дом Генри

Уильяма Филда, в библиотеку, где на полу громоздились кипы желтой бумаги, исчерканной карандашом либо покрытой строчками машинописи: груды эти предстояло разделить на шесть частей, они составляли шедевр, созданный с невероятной быстротой нечеловечески упорным трудом, в постоянном сознании неумолимо уходящих минут.

Том Вулф возвратился на Землю, он стоял в библиотеке Генри Уильяма Филда и смотрел на громады, рожденные его сердцем и его рукой.

— Хочешь все это прочесть, Том? — спросил старик.

Но он покачал массивной головой, широкой ладонью откинул назад гриву темных волос.

— Нет, — сказал он. — Боюсь начинать. Если начну, захочу взять все это с собой. А мне ведь нельзя это забрать домой, правда?

— Нельзя, Том.

— А очень хочется.

— Ничего не поделаешь, нельзя. В тот год ты не написал нового романа. Что написано здесь, должно здесь и остаться, что написано там, должно остаться там. Ничего нельзя изменить.

— Понимаю. — С тяжелым вздохом Вулф опустился в кресло. — Устал я. Ужасно устал. Нелегко это было. Но и здорово! Который же сегодня день?

— Шестидесятый.

— Последний?

Старик кивнул, и некоторое время оба молчали.

— Назад в тысяча девятьсот тридцать восьмой, на кладбище, под камень, — сказал Том Вулф, закрыв глаза. — Не хочется мне. Лучше бы я про это не знал, страшно знать такое...

Голос его замер, он уткнулся лицом в широкие ладони, да так и застыл.

Дверь отворилась. Вошел Боултон со склянкой в руках и остановился за креслом Тома Вулфа.

— Что это у вас? — спросил старик Филд.

— Давно уничтоженный вирус, — ответил Боултон. — Пневмония. Очень древний и очень свирепый недуг. Когда мистер Вулф прибыл к нам, мне, разумеется, пришлось его вылечить, чтобы он мог справиться со своей работой; при нашей современной технике это было проще простого. Культуру микроба я сохранил. Теперь, когда мистер Вулф возвращается, надо будет заново привить ему пневмонию.

— А если не привить?

Том Вулф поднял голову.

— Если не привить, в тысяча девятьсот тридцать восьмом году он выздоровеет.

Том Вулф встал.

— То есть как? Выздоровею, стану на ноги — там, у себя, — буду здоров и натяну могильщикам нос?

— Совершенно верно.

Том Вулф устался на склянку, рука его судорожно дернулась.

— Ну а если я уничтожу этот ваш вирус и не дам-ся вам?

— Этого никак нельзя!

— Ну... а если?

— Вы все разрушите.

— Что — все?

— Связь вещей, ход событий, жизнь, всю систему того, что есть и что было, что мы не вправе изменить. Вы не можете все это нарушить. Безусловно одно: вы должны умереть, и я обязан об этом позаботиться.

Вулф поглядел на дверь.

— А если я убегу и вернусь без вашей помощи?

— Машина Времени у нас под контролем. Вы не мо-

жете выйти из этого дома. Я вынужден буду силой вернуть вас сюда и сделать прививку. Я предвидел, что под конец осложнений не миновать, и сейчас внизу наготове пять человек. Стоит мне крикнуть... сами видите, это бесполезно. Ну вот, так-то лучше. Вот так.

Вулф отступил, обернулся, поглядел на старика, в окно, обвел взглядом просторную комнату.

— Простите меня. Очень не хочется умирать. Ох, как не хочется!

Старик подошел к нему, стиснул его руку.

— А ты смотри на это так: тебе удалось небывалое — выиграть у жизни два месяца сверх срока, и ты написал еще одну книгу — последнюю, новую книгу! Подумай об этом — и тебе станет легче.

— Спасибо вам за это, — серьезно сказал Томас Вулф. — Спасибо вам обоим. Я готов. — Он засучил рукав. — Давайте вашу прививку.

И пока Боултон делал свое дело, Вулф свободной рукой взял карандаш и на первом листе первой части рукописи вывел две строчки, потом вновь заговорил:

— В одной моей старой книге есть такое место, — он нахмурился, вспоминая: «...о скитаньях вечных и о Земле... Кто владеет Землей? И для чего нам Земля? Чтобы скитаться по ней? Для того ли нам Земля, чтобы не знать на ней покоя? Всякий, кому нужна Земля, обретет ее, останется на ней, успокоится на малом клочке и пребудет в тесном уголке ее вовеки...»

Вулф минуту помолчал.

— Вот она, моя последняя книга, — сказал он потом и на чистом желтом листе огромными черными буквами, с силой нажимая карандашом, вывел: **ТОМАС ВУЛФ — О СКИТАНЬЯХ ВЕЧНЫХ И О ЗЕМЛЕ.**

Он схватил кипу исписанных листов, на миг прижал к груди.

— Хотел бы я забрать ее с собой. Точно расстаешься с родным сыном!

Отложил рукопись, хлопнул по ней ладонью, наскоро пожал руку Филда и зашагал к двери; Боултон двинулся за ним. На пороге Вулф остановился, озаренный предвечерним солнцем, огромный, величественный.

— Прощайте! — крикнул он. — Прощайте!
Хлопнула дверь. Том Вулф исчез.

Наконец его нашли, он брел по больничному коридору.

— Мистер Вулф!

— Да?

— Ну и напугали вы нас, мистер Вулф, мы уж думали, вы исчезли!

— Исчез?

— Где вы пропадали?

— Где? Где пропал? — Его вели полуночными коридорами, он покорно шел. — Ого, если б я и сказал вам, где... вы все равно не поверите.

— Вот и ваша кровать, напрасно вы встали.

И он опустился на белое смертное ложе, от которого исходило слабое чистое веяние уготованного ему конца, близкого конца, пахнувшего больницей; он едва коснулся этого ложа — и оно поглотило его, окутало больничным запахом и холодной крахмальной белизной.

— Марс, Марс, — шептал исполин в тишине ночи. — Моя лучшая, самая лучшая, подлинно прекрасная книга, она еще будет написана, будет напечатана, в иной год, через три столетия...

— Вы слишком возбуждены.

— Вы думаете? — пробормотал Томас Вулф. — Так это был сон? Может быть... Хороший сон...

Его дыхание оборвалось. Томас Вулф был мертв.

Идут годы, на могиле Тома Вулфа опять и опять появляются цветы. И казалось бы, что тут странного, ведь немало народу приходит ему поклониться. Но эти цветы появляются каждую ночь. Будто с неба падают. Огромные, цвета осенней луны, они пламенеют, искрятся прохладными удлинёнными лепестками, они словно белое и голубое пламя. А едва подует предрассветный ветер, они осыпаются серебряным дождем, брызжут белые искры и тают в воздухе. Прошло уже много, много лет с того дня, как умер Том Вулф, а цветы появляются вновь и вновь...

НЕБЕСНЫЙ ОМНИБУС

1

Мальчик жил в Сербитоне, на Букингем-парк-род, в Пихтовой сторожке № 28, и часто с недоумением разглядывал старый дорожный указатель, что стоял почти напротив их дома. Он спросил как-то у матери, зачем тут столб, и она ответила, что это просто шутка, которую много лет назад придумали гадкие шалуны, и что полиции давно пора бы убрать указатель. Ибо у столба были две странности: во-первых, дорога, на которую указывала стрелка, вела прямо в тупик, а во-вторых, на ней выцветшими буквами было выведено: «На небеса».

— А кто же были эти шалуны? — спросил он.

— Твой отец, по-моему, говорил, что один из них писал стихи, потом его исключили из университета и вообще он плохо кончил. Но все это было очень давно. Спроси-ка лучше у отца, но он скажет то же, что и я, — столб поставили ради шутки.

— И он совсем ничего не означает?

Она послала сына наверх переодеться в праздничное платье: к чаю были приглашены Бонсы, и ему предстояло подать на стол блюдо с тортом.

Натягивая узкие брюки, он вдруг подумал, не лучше ли расспросить об указателе мистера Бонса. Отец, хоть и добряк, всегда потешался над сыном — просто катался от хохота, когда он или другой ребенок задавал вопросы и вообще пытался открыть рот. А мистер Бонс был добрый и серьезный. Он жил в красивом доме и давал читать книги, к тому же он был церковным старостой и кандида-

том в члены муниципального совета; он щедро жертвовал в пользу Общедоступной библиотеки, состоял президентом Литературного общества, и у него гащивали даже члены парламента — словом, он был мудрейшим человеком на всем белом свете.

Но даже сам мистер Бонс мог только подтвердить, что указатель всего лишь шутка и придумал ее некто по имени Шелли.

— Ну конечно! — воскликнула мать. — Я ведь тебе говорила, милый. Так его и звали.

— Неужто ты никогда не слышал о Шелли? — спросил мистер Бонс.

— Нет, — ответил мальчик и понурил голову.

— Разве у вас в доме нет Шелли?

— Почему же нет? — вскричала хозяйка дома, очень раздосадованная. — Дорогой мистер Бонс, не такие уж мы обыватели. У нас не меньше двух изданий. Одно нам преподнесли на свадьбу, а второе — более мелким шрифтом — лежит в какой-то из комнат для гостей.

— У нас, если не ошибаюсь, семь изданий Шелли, — с вялой улыбкой сказал мистер Бонс.

Затем он стряхнул с живота крошки от торта и собрался уходить вместе с дочерью.

Мальчик, повинуясь знаку матери, проводил их до самой калитки и, когда гости ушли, не сразу вернулся домой, а еще немного постоял, глядя на Букингем-парк-род.

Его родители жили в начале улицы. После номера тридцать девять сразу же начинались дома попроще, а в шестьдесят четвертом не было даже черного хода для прислуги. Но сейчас все дома выглядели красиво, так как закат был великолепный и шафрановый свет вечерней зари скрадывал различия в арендной плате. Щебетали птички, и поезд, возвращавший кормильцев домой, к семьям, мелодично покрикивал, пересекая рошу — заме-

чательную рощу, она вобрала в себя всю прелесть Сербитона и сейчас, точно альпийский луг, была одета великолепием мхов, серебром берез и первоцветами.

Роща и заставила мальчика впервые ощутить томление — томление и тягу к чему-то иному, он сам не знал к чему; это томление возвращалось каждый раз, когда все вокруг было залито солнечным светом, оно пронизывало насквозь, прыгало внутри — вверх и вниз, вверх и вниз, — а потом его охватывало какое-то удивительное чувство и хотелось плакать. Но нынче вечером он вел себя еще глупее, чем всегда: перебежал через дорогу, к указателю, и скользнул в переулок.

Переулок, весь пропитанный каким-то запахом, тянулся меж высоких стен — это были заборы двух вилл, «Айвенго» и «Белле Виста», — и едва достигал двадцати ярдов в длину вместе с поворотом в самом конце. Ничего удивительного, что мальчик очень скоро уперся в стену.

— Так бы и дал разá этому Шелли! — воскликнул он и равнодушно скользнул взором по клочку бумаги, приколотому к стене. Но бумажка оказалась не совсем обычной, и он внимательнейшим образом прочитал ее, прежде чем пуститься в обратный путь. Вот что там было написано:

С. и Н.Д.К.

Расписание изменено!

По причине слабой заинтересованности публики Компания, к своему сожалению, вынуждена отменить ежечасные рейсы и сохраняет лишь

РАССВЕТНЫЙ И ЗАКАТНЫЙ ОМНИБУСЫ,

которые и будут ходить как обычно.

Следует надеяться, что публика проявит интерес к начинанию, предпринятому ради ее блага. В качестве нового стимула Компания впервые вводит

ОБРАТНЫЕ БИЛЕТЫ!

(годны только на один день); их можно приобрести у возницы. Еще раз напоминаем пассажирам: на конечной остановке билеты не продаются, и по этому поводу Компания не принимает никаких претензий. Кроме того, Компания не несет ответственности за небрежность и бестолковость пассажиров, а также за непогоду, град, потерю билета и любое иное изъятие воли божией.

Д и р е к ц и я

Ну и ну! Он никогда раньше не видел этого объявления и не мог даже вообразить, куда направляется омнибус. «С» безусловно означало «Сербитонская», «Д. К.» — «Дорожная Компания». Но что бы такое могло означать «Н.»? Может быть, «Норвич и Молден» или, еще вероятнее, «Независимая». Но все равно не выдержать им конкуренции с «Юго-Западной». Да и поставлено здесь все не на деловую ногу, решил он. Почему на том конце маршрута не продают билетов? И нашли же время для отхода омнибуса! Потом он сообразил, что если объявление — не шутка, то омнибус отошел как раз в ту самую минуту, когда он прощался с Бонсами.

Он взглянул на землю и в сгущающихся сумерках разглядел следы, похожие — или не похожие? — на отпечатки колес. Но ведь из переулка никто не выезжал. И он никогда, ни разу не видел омнибусов на Букингем-парк-род. Нет. Все это, наверное, одни выдумки, как и указатели, волшебные сказки или сны, от которых внезапно просыпаешься по ночам. И он со вздохом вышел из переулка и попал прямо в объятия отца.

Как смеялся его отец, как он хохотал!

— Бедный мой малыш! Ах, Кнопсик, Кнопсик! Он хочет сразу: топ-топ ножками — и взбежать на небушко!..

Да и мать тоже корчилась от смеха, стоя на пороге Пихтовой сторожки.

— Перестань, Боб! — еле выдохнула она. — Не будь таким гадким! Ох, уморил! Ох, оставь мальчика в покое!

К этой шутке возвращались весь вечер. Отец умолял мальчика взять его с собой. Прогулка ведь будет нелегкой. А есть ли там коврик у дверей — вытирать ноги? Мальчик ушел спать обиженный и несчастный и радовался только одному — что не проронил ни слова об омнибусе. Пусть омнибус лишь шутка, обман, но во сне он становился все более и более взаправдашним и, наоборот, обманчивыми и призрачными начали казаться улицы Сербитона, на которых он мерещился мальчику как наяву. И под утро, еще до зари, мальчик проснулся с криком — мимолетным видением мелькнули перед ним края, куда направлялся омнибус.

Он зажег спичку, осветил циферблат часов и календарь; так он узнал, что до восхода солнца еще полчаса. Было совсем темно, ночью на Лондон пал туман и плотно окутал весь Сербитон. Тем не менее мальчик вскочил с постели и оделся: он твердо решил раз и навсегда выяснить для себя, что же всамделишное — тот омнибус или улицы. «Все равно буду чувствовать себя дураком, пока не узнаю», — подумал он. И вскоре, дрожа всем телом, уже стоял на дороге под газовым фонарем, как часовой охранявшим вход в переулок.

Чтобы войти в переулок, требовалось немалое мужество. И не только потому, что там была тьма кромешная: мальчик вдруг понял, что здесь просто не может быть омнибусной остановки. Если бы не полисмен, чье приближение он слышал сквозь туман, он никогда бы так и не решился шагу ступить. Но тут пришлось рискнуть, а оказалось — ни к чему. Пустота. Ничего, кроме пустоты

да глупого мальчугана, что, разинув рот, топчется на грязной дороге. Значит, все-таки это выдумка.

«Расскажу все папе и маме,— решил он.— Так мне и надо. Пусть все знают. Какой же я дурак, не стоит мне жить на свете». И он побрел обратно к калитке Пихтовой сторожки.

Но тут он вдруг вспомнил, что его часы спешат. Солнце еще не взошло, оно взойдет только через две минуты.

«Поверю в омнибус еще один, самый последний разок»,— подумал он и снова повернул в переулок.

А там уже стоял омнибус.

2

В него была впряжена пара лошадей, их бока еще дымились от быстрой скачки, а два огромных фонаря бросали свет сквозь туман на стены, тянущиеся по обеим сторонам переулка, превращали мох и паутину в волшебные ковры. Возница кутался в пелерину с капюшоном. Он сидел лицом к глухой стене, и каким образом удалось ему въехать так ловко и бесшумно, мальчик не сумел понять, впрочем, он не понял и многого другого. Не представлял он и как возница выберется из тупичка.

— Скажите, пожалуйста,— голос его глухо дрожал в затхлом буром воздухе.— Скажите, пожалуйста, это и есть омнибус?

— Omnibus est,— ответил, не оборачиваясь, возница.

На мгновение наступила тишина. По улице, кашляя, прошел полисмен. Мальчик скорчился в тени; он не хотел, чтобы его заметили. Да кроме того, он был твердо уверен, что это пиратский омнибус: кто же еще, рассудил он, может отъезжать из такого странного места и в такой странный час.

— Когда же вы отправляетесь? — спросил он с деланной небрежностью.

— На рассвете.

— И далеко едете?

— До самого конца.

— А могу я купить обратный билет, чтобы вернуться сюда?

— Можете.

— Знаете, я, кажется, решил, что поеду.

Возница ничего не ответил. Но солнце, видно, уже взошло, ибо он отпустил тормоза. Мальчик едва успел вскочить, и в то же мгновение омнибус тронулся.

Но каким образом? Неужели он развернулся? Ведь тут же негде. Может быть, поехал прямо? Но там стена. И все же он шел — шел размеренным ходом сквозь туман, который из бурого успел превратиться в желтый. Мальчик вспомнил о теплой постели и горячем завтраке, и ему стало не по себе. И зачем он поехал? Родители не погладят его по головке. Он был не прочь возвратиться к ним, домой, да вот погода не позволяла. Одиночество угнетало его невыносимо: он был единственным пассажиром. А в омнибусе, хоть и крепко сколоченном, было холодно и тянуло плесенью. Мальчик запахнул пальтецо поплотнее и при этом случайно дотронулся до своего кармана. Там было пусто. Он забыл кошелек дома.

— Остановитесь! — закричал он. — Остановитесь!

И, будучи мальчиком вежливым, взглянул на дощечку с именем, чтобы обратиться к вознице по всей форме.

— Остановитесь, мистер Браун! Прошу вас, остановитесь, пожалуйста!

Мистер Браун не остановился, но он приоткрыл оконце позади себя и взглянул на мальчика. И лицо его неожиданно оказалось добрым и застенчивым.

— Я забыл кошелек, мистер Браун. У меня нет ни пенни. Мне нечем заплатить за билет. Может быть, вы возьмете мои часы, будьте любезны!

— Билеты этой линии туда и обратно,— сказал возница,— нельзя купить за земные деньги. Да и хронометр, даже тот, что украшал часы бодрствования самого Карла Великого или отмерял минуты сна Лауры, никаким волшебством нельзя превратить в пирожное, которое прельстит беззубого Цербера небес!

С этими словами возница протянул требуемый билет и продолжал, пока мальчик произносил слова благодарности:

— Стремление к титулу суетно, и мне это доподлинно известно. Однако тут нет ничего зазорного, если произносишь титул со смехом на устах, а в мире омонимов титулы даже полезны, так как помогают отличать одного смертного от другого. И потому запомни, что меня зовут сэр Томас Браун*.

— Неужели вы — сэр? О, извините меня! — Мальчику доводилось слышать о кучерах-джентльменах. — Как любезно с вашей стороны дать мне билет! Но если вы их так даете, какой же доход приносит ваш омнибус?

— Он не приносит дохода. И не должен приносить. Велики недочеты моего экипажа: в нем слишком причудливо сочетаются породы заморского дерева; его подушки ублажают скорее эрудицией, нежели удобством и покоем, и лошади вскормлены не на вечнозеленых пастбищах преходящей минуты, а на сухом сене латыни. Но получать доход — такого греха я никогда не замышлял и не совершал.

* Томас Браун (1605—1682) — английский философ, писатель, врач. — *Прим. перев.*

— Еще раз извините! — повторил с отчаянием мальчик.

Лицо сэра Томаса снова стало печальным, и мальчик испугался, что вызвал у него эту печаль. Возница пригласил мальчика пересест к нему на козлы, и так они вместе путешествовали сквозь туман, который постепенно из желтого превращался в белый. Вдоль дороги уже не было домов, а это означало, что они проезжают либо Вересковую пустошь, либо Уимблдонские луга.

— Вы всегда были кучером?

— Когда-то я был врачом.

— А почему перестали? Вы не были хорошим врачом?

— Как врачеватель плоти я не имел большого успеха, и несколько десятков моих пациентов опередили меня в окончании своего земного пути. Но как врачеватель духа я преуспел превыше собственных чаяний и заслуг. Ибо, хотя мои микстуры были не лучше и не действеннее, чем лекарства других врачей, однако подавал я их в затейливых кубках, и потому не одна томящаяся душа стремилась их пригубить и освежиться.

— Томящаяся душа... — пробормотал мальчик. — Когда солнце садится, а впереди — деревья и у тебя внутри вдруг делается так странно, странно... это и есть томящаяся душа?

— Тебе это знакомо?

— Ну конечно.

Помолчав, он немного, совсем чуть-чуть рассказал мальчику о конце их путешествия. Но вообще беседовали они мало, потому что мальчик, когда ему кто-нибудь нравился, предпочитал помолчать вдвоем и таковы же, как он узнал, были привычки сэра Томаса Брауна, а также и многих других, с кем ему предстояло познакомиться. И все-таки мальчик услышал о молодом человеке по имени Шелли — тот теперь стал знаменитостью и имел даже

собственную коляску,— а также о других кучерах на службе Компании. Тем временем стало светлее, хотя туман не совсем еще рассеялся. Но сейчас он больше напоминал дымку и порой обтекал путников клочьями, словно облако. Кроме того, они непостижимым образом поднимались в гору; лошади уже больше двух часов натягивали постромки, а ведь даже если это Ричмондский холм, давно пора было добраться до вершины. А может быть, это Эмпсон или Северные склоны; только ветер здесь казался свежее, чем на тех высотах. Что же до названия конечной станции, то об этом сэр Томас Браун хранил молчание.

Тр-р-рах!

— Клянусь богом, это гром! — сказал мальчик.— И где-то совсем близко. Слышите, какое эхо? Точно в горах.

Тут не совсем отчетливо мелькнула мысль о родителях. Он представил себе, как они едят сосиски и прислушиваются к шуму грозы. Он видел и свой незанятый стул. Потом пойдут вопросы, тревоги, предположения, шутки, утешения. Они будут ждать его к обеду. Но он не вернется ни к обеду, ни к чаю, ни к ужину и весь день проведет в бегах. Если бы он не забыл кошелька, он бы купил им подарки — только вот что бы им такое купить?..

Тр-р-рах!

Ударил гром, и сверкнула молния. Облако задрожало, как живое, и туман рваными лентами метнулся прочь.

— Боишься? — спросил сэр Томас Браун.

— Чего тут бояться? А нам еще далеко?

Лошади встали в тот миг, когда огненный шар взлетел и взорвался с треском, оглушительным, но чистым и звенящим, словно удар кузнечного молота. Туча рассеялась.

— Слушайте, слушайте, мистер Браун! То есть нет,

глядите: наконец-то мы увидим все вокруг! То есть нет, прислушайтесь: это звучит, как радуга!

Гром замер, перелившись в слабый рокот, а где-то в глубине, под ним, прорезался и начал нарастать рокот новый; сначала тихо, но все уверенней он вздымался, словно арка — она ширилась, росла, но не меняла формы. Так постепенно, широким изгибом из-под ног лошадей поднялась радуга и протянулась вперед — туда, где таял и исчезал туман.

— Как красиво! И вся разноцветная! А где она кончается? По ней, наверное, можно ходить. Как во сне.

Звук и цвет слились воедино. Радуга выгнулась над бездонной пропастью. Тучи мчались под ней, а она перерезала их и все росла, росла, устремляясь вперед и побеждая тьму, пока не коснулась чего-то более прочного, нежели облака.

Мальчик встал.

— Что там, впереди? — воскликнул он. — На что же она опирается на другом конце?

В свете восходящего солнца за пропастью сверкала круча. Круча или... замок? Лошади тронулись с места. Они ступали теперь по радуге.

— Глядите! — кричал мальчик. — Слушайте! Вон пещеры... или ворота? Взгляните, меж скал, на уступах... Я вижу людей! И деревья!

— Погляди вниз, — прошептал сэр Томас. — Не оставь без внимания волшебный Ахерон*.

Мальчик посмотрел вниз, сквозь радужные огни, лизавшие колеса омнибуса. Бездна также очистилась от тумана, и в ее глубине катились воды вечной реки. Солнечный луч проник туда и коснулся зеленой глади, и, ко-

* Ахерон (греч. миф.) — река в подземном царстве. — Прим. перев.

гда омнибус проезжал, мальчик увидел, как три девы выплыли на поверхность; они пели и играли чем-то блестящим, похожим на кольцо.

— Эй там, в воде! — позвал он.

Они откликнулись:

— Эй там, на мосту, желаем удачи! — Откуда-то грянула музыка. — Истина в глубинах, истина на вершине.

— Эй там, в воде, что вы делаете?

Сэр Томас Браун ответил:

— Они играют золотом, которым владеют сообща.

И тут омнибус прибыл к месту своего назначения.

3

Мальчика наказали. Его заперли в детской Пихтовой сторожки и заставили учить наизусть стихотворение.

Отец сказал:

— Мой мальчик! Я готов простить все, только не ложь. — И он высек сына, приговаривая при каждом ударе:

— Не было никакого омнибуса, ни кучера, ни моста, ни горы; ты лодырь, уличный мальчишка и лгун.

О, отец умел быть строгим. Мать умоляла, чтобы сын просил прощения. Но он не мог. Это был величайший день его жизни, пусть даже все закончилось поркой и заучиванием стихов.

Он вернулся точно на закате, только обратно привез его уже не сэр Томас Браун, а некая незамужняя леди; беседа с ней была исполнена тихого веселья. Всю дорогу они говорили об омнибусах и четырехместных ландо. Каким далеким казался теперь ее нежный голос! А ведь и трех часов не прошло с тех пор, как он расстался с ней там, в переулке.

Мать подошла к запертой двери и окликнула его:

— Тебе велено идти вниз, милый, и не забудь прихватить с собой стихи.

Он сошел вниз и увидел, что в курительной вместе с отцом сидит мистер Бонс. Он был приглашен на обед.

— А вот и наш знатный путешественник! — мрачно сказал отец. — Юный джентльмен, который разъезжает в омнибусе по радугам под пение красавиц...

И довольный своей остротой, он рассмеялся.

— В конце концов, нечто подобное встречается у Вагнера, — улыбаясь, сказал мистер Бонс. — Как ни странно, но подчас в невежественных умах пробиваются искры великой правды искусства. Этот случай заинтересовал меня. Позвольте мне вступить за виновного. Ведь каждый из нас в свое время переболел романтикой, не так ли?

— Видишь, как добр мистер Бонс, — сказала мать, а отец ответил гостю:

— Превосходно. Пусть прочитает стихотворение, и будет с него. Во вторник я отправляю его к сестре, там его отучат бегать по переулкам. (Смех.) Читай свое стихотворение!

Мальчик начал: «Замкнувшись в невежестве...»

Отец уже опять хохотал во все горло:

— Не в бровь, а в глаз, сын мой: «Замкнувшись в невежестве...» Вот уж не думал, что в стихах можно найти что-нибудь путное. Сказано прямо про тебя. Послушайте, Бонс, поэзия — это по вашей части. Проверьте-ка его, а я притащу виски.

— Ладно, дайте мне томик Китса, — сказал мистер Бонс. — Пусть декламирует заданные стихи.

Так образованнейший муж и невежественный ребенок на несколько минут остались вдвоем в курительной.

Замкнувшись в невежестве, одинок,
О тебе и Цикладах грежу я,
Как путник, оставшийся на берегу...

— Совершенно верно. О чем же он грезит?

— О дельфиньих кораллах в бездонных морях,— сказал мальчик и залился слезами.

— Ну, полно, полно. Что ты плачешь?

— Потому... потому что раньше слова только складывались в стихи, а теперь, когда я вернулся, все эти стихи — я сам.

Мистер Бонс положил на стол томик Китса. Случай оказался еще интереснее, чем он ожидал.

— Ты? — воскликнул он. — Этот сонет — ты?

— Да... и смотрите, как там дальше: «Царство мрака прорезал света снап, озарил он бездны зеленое дно». Так оно и есть, сэр. Все это правда.

— Я в этом и не сомневался,— сказал мистер Бонс, закрыв глаза.

— Вы... значит, вы мне верите? Вы верите и в омнибус, и в кучера, и в бурю, и в бесплатный билет, и...

— Ну-ну-ну! Довольно бредней, мой мальчик. Я хочу сказать, что никогда не сомневался в подлинной правдивости поэзии. Когда-нибудь, когда ты прочтешь побольше книг, ты поймешь, что я имею в виду.

— Но, мистер Бонс, все так и есть на самом деле. Царство мрака прорезал свет. Я видел, как он забрезжил. Свет и ветер.

— Чепуха,— сказал мистер Бонс.

— Зачем я не остался? Меня так заманивали! Уговаривали, чтобы я отдал свой билет — ведь если потеряешь его, нельзя вернуться. Они выпрашивали билет от самой реки, и я чуть было не согласился: ведь я нигде не был так счастлив, как там, среди обрывов. Но я подумал о маме с папой и о том, что надо привезти их туда. Только они не поедут, хотя дорога начинается прямо от нашего дома. Все и получилось точно так, как меня там предупреждали, и мистер Бонс тоже не верит, и он не лучше

других. Меня высекли. И я никогда больше не увижу ту гору.

— Что ты там говоришь обо мне? — спросил мистер Бонс, вдруг выпрямляясь в кресле.

— Я рассказывал им о вас, какой вы умный, как много у вас книг, а они говорят: «Мистер Бонс наверняка тебе не поверит».

— Вздор и чепуха, мой юный друг. Ты становишься дерзким. Я... что ж.. я готов решить все раз и навсегда. Ни слова родителям. Я излечу тебя. Завтра вечером я зайду к вам и возьму тебя на прогулку, а на закате мы пойдем в переулок напротив и дождемся твоего омнибуса, глупеныш.

Лицо его тут же приняло строгое выражение, потому что мальчик ничуть не растерялся, а стал прыгать по всей комнате, распевая:

— Вот радости! Я же им говорил, что вы поверите. Мы вместе прокатимся по радуге! Я им говорил, что вы поверите.

Неужели что-то было в этой сказке? Может быть, Вагнер? Или Китс? Шелли? Или сэр Томас Браун? Случай, безусловно, интересный.

На другой день вечером, несмотря на дождь, мистер Бонс все же зашел в Пихтовую сторожку.

Мальчик уже ждал, он был как на иголках и прыгал так, что это даже рассердило президента Литературного общества. Они направились было вниз по Букингем-парк-род, но, убедившись, что никто за ними не следит, скользнули в переулок. И, конечно, наскочили прямо на стоявший омнибус (ведь солнце уже садилось).

— Боже мой! — воскликнул мистер Бонс. — Великий боже!

Это был не тот омнибус, в котором мальчик ехал первый раз, и не тот, которым он вернулся. Тут была тройка

лошадей — черная, серая и белая; особенно выделялась серая. Возница обернулся при упоминании имени божьего; у него было бледное лицо с выпяченным подбородком и глубоко запавшими глазами. Мистер Бонс словно узнал незнакомца: он вскрикнул, и его начало трясти как в лихорадке.

Мальчик вскочил в омнибус.

— Неужто это возможно? — воскликнул мистер Бонс. — Неужто возможно невозможное?

— Сэр, входите, сэр. Это такой прекрасный омнибус. А вот и имя кучера — Дан... а фамилии не разберу.

Мистер Бонс тоже прыгнул на подножку. Порыв ветра сразу захлопнул за ним дверцу омнибуса, и от толчка опустились все жалюзи: видно, пружины оказались слабыми.

— Дан... Покажи-ка, где это. Боже милостивый! Мы уже едем.

— Ур-ра! — закричал мальчик.

Тревога охватила мистера Бонса. Он вовсе не хотел быть похищенным. Но никак не мог отыскать дверную ручку или поднять жалюзи. В омнибусе было совсем темно, а к тому времени, когда он зажег спичку, снаружи тоже наступила ночь. Ехали они быстро.

— Странное, поучительное приключение, — сказал он, оглядывая внутренность омнибуса, большого, просторного и чрезвычайно симметричного — каждая часть его в точности соответствовала другой. Над дверью, ручка которой находилась снаружи, виднелась надпись: «*Lasciate ogni baldanza voi che entrate*»*. Во всяком случае, так

* Надпись над дверями Дантова ада: «Оставь надежду всяк сюда входящий». Э. Форстер сознательно заменяет слово «надежда» словом «гордыня», намекая на то, что в страну поэзии нет входа кичливым педантам. — *Прим. перев.*

было написано, но мистер Бонс сказал, что первое слово читается совсем по-другому, а «baldanza» ошибочно написано вместо «speranza». И голос его при этом звучал торжественно, как в церкви. А мальчик между тем попросил у мертвенно-бледного возницы два билета туда и обратно. И они были выданы без звука. Мистер Бонс закрыл лицо руками: его снова била дрожь.

— Да знаешь ли ты, кто это?! — прошептал он, когда оконце над козлами захлопнулось. — Вот оно — невозможное!

— Ну, мне он нравится куда меньше, чем сэр Томас Браун, хотя я не удивлюсь, если он окажется кем-нибудь поважнее.

— Поважнее? — Мистер Бонс раздраженно топнул ногой. — Случай помог тебе совершить величайшее открытие века. И единственное, на что ты способен, — это сказать, что этот человек может оказаться кем-нибудь поважнее. Так слушай же, я сообщу тебе нечто потрясающее: ты помнишь в моей библиотеке томики, переплетенные в телячью кожу, на которых вытиснены красные лилии? Так вот — их написал этот человек!

Мальчик замер, затаив дыхание.

— Хотел бы я знать, увидим ли мы миссис Гэмп? — спросил он после приличествующей случаю паузы.

— Миссис...

— Миссис Гэмп и миссис Хэррис*. Мне понравилась миссис Хэррис. Я повстречал их совсем случайно. Картонки миссис Гэмп перевернулись и упали с радуги. Дно у них выпало, и два шара со спинок кровати свалились в воду.

* Второстепенные персонажи из романа Диккенса «Жизнь и приключения Мартина Чеззлвита». — *Прим. перев.*

— Рядом сидит человек, написавший книги в переплетах из телячьей кожи, а ты мне толкуешь о Диккенсе и миссис Гэмп.

— Но я с ней так подружился,— оправдывался мальчик.— Я не мог не радоваться, что вижу ее. Я узнал ее голос. Она рассказывала миссис Хэррис о миссис Приг.

— И ты весь день провел в ее облагораживающем обществе?

— О нет. Я еще был на скачках. И встретил человека, который водил меня прямо на беговую дорожку. Ты бежишь, а рядом в море играют дельфины.

— Да ну? А как его звали, этого человека, ты помнишь?

— Ахилл. Нет, тот был позже. Том Джонс*!

Мистер Бонс тяжело вздохнул

— Ох, мальчик, ну и каша у тебя в голове! Такой бы случай да культурному человеку, подумать только! Культурный человек знаком со всеми этими персонажами, знает, о чем поговорить с каждым. Он не станет тратить время на каких-то там миссис Гэмп или Тома Джонса. Творения Гомера, Шекспира и Того, кто нас везет — вот что привлекло бы его внимание. Он не пойдет на скачки. И станет задавать умные вопросы.

— Но, мистер Бонс,— сказал смиренно мальчик,— вы же и есть культурный человек. Так я им и сказал.

— Верно, верно, и умоляю, не позорь меня, когда мы доберемся до места. Никакой болтовни и шалостей. Держись подле меня и не заговаривай с Бессмертными

* Том Джонс — главный герой романа «История Тома Джонса, найденного» знаменитого английского романиста Генри Филдинга (1707—1754).— *Прим. перев.*

ми, пока они сами к тебе не обратятся. Кстати, дай-ка мне обратные билеты. Ты их потеряешь.

Мальчик покорно отдал билеты, но ему было слегка обидно. В конце концов, ведь это он открыл дорогу сюда. Обидно, если тебе сначала не верят, а потом начинают читать мораль. Между тем дождь кончился, и сквозь щели жалюзи в омнибус прокрался лунный свет.

— А как же теперь будет с радугой? — воскликнул мальчик.

— Ты отвлекаешь меня, — огрызнулся мистер Бонс. — Я размышляю о прекрасном. Как бы я желал очутиться сейчас с почтенным, разделяющим мои чувства человеком!

Мальчик закусил губу. Он сто раз давал себе слово, что все время будет брать пример с мистера Бонса. Он не будет ни смеяться, ни бегать, ни петь — не совершит ни одного из тех вульгарных поступков, которые наверняка возмущали прошлый раз его новых друзей. Постарается совершенно правильно произносить их имена и точно помнить, кто с кем знаком. Ахилл не знает Тома Джонса, во всяком случае так говорит мистер Бонс. Герцогиня Мальфи* старше миссис Гэмп, во всяком случае по словам мистера Бонса. Он будет вести себя сдержанно, чопорно и замкнуто. Не станет говорить, что ему нравятся все подряд. Но тут он случайно коснулся головой жалюзи, они взлетели вверх, и все его благие намерения сразу испарились, ибо омнибус достиг вершины холма, залитого лунным светом, и впереди была бездна, а там, на другом берегу, дремали знакомые кручи, окунув подножия в воды вечной реки. Мальчик воскликнул:

* Герцогиня Мальфи — героиня одноименной «кровавой» трагедии Джона Уэбстера, английского драматурга эпохи Возрождения (1580—1625). — *Прим. перев.*

— Вот она, гора! Прислушайтесь, поток журчит сегодня совсем другую песню! Взгляните на костры, там, в ущелье!

Мистер Бонс, мельком взглянув вперед, рассердился:

— Какой поток? Какие костры? Что за чушь! Попрдержи язык. Там ничего нет.

И все-таки на глазах у мальчика поднималась радуга, только на этот раз не из солнечных лучей и шторма, а из света луны и водяных брызг. Тройка лошадей уже скакала по радуге. И он подумал, что никогда еще не видел более красивой радуги, но сказать не посмел, так как мистер Бонс уже заявил, что там ничего нет. Мальчик высунулся — окно было открыто — и подхватил мелодию, поднимавшуюся из дремлющих вод.

— Вступление к «Золоту Рейна»*? — удивился мистер Бонс. — Откуда ты знаешь этот мотив?

Он тоже выглянул в окно. И вдруг повел себя очень странно. Он испустил сдавленный крик и упал назад, прямо на пол. Он корчился и брыкался. Лицо его приняло зеленоватый оттенок.

— У вас кружится голова на мосту? — спросил мальчик.

— Кружится! — задохнулся мистер Бонс. — Я хочу обратно. Скажи кучеру.

Но возница только покачал головой.

— Мы уже почти на месте, — сказал мальчик. — Они спят. Окликнуть их? Все так обрадуются вам, я их предупредил.

Мистер Бонс только застонал в ответ.

Они ехали теперь по лунной радуге, и она разлеталась на куски за их спиной. Как тиха была ночь! Кто сегодня на страже у Ворот?

* «Золото Рейна» — первая часть оперной тетралогии Рихарда Вагнера (1854). — *Прим. перев.*

— Это я! — крикнул он, забыв, что сто раз давал себе слово быть благовоспитанным. — Я вернулся. Это я, мальчик.

— Мальчик вернулся! — крикнул чей-то голос, и другие голоса подхватили:

— Мальчик вернулся!

— Я привез с собой мистера Бонса.

Молчание.

— Или, вернее, мистер Бонс привез меня с собой. Глубокое молчание.

— Кто сегодня на страже?

— Ахилл.

И на скалистой дорожке, подле радужного моста он увидел юношу со щитом дивной красоты.

— Мистер Бонс, это Ахилл, в полном вооружении.

— Я хочу обратно, — сказал мистер Бонс.

Позади растаял последний кусочек радуги, и колеса звенели уже о твердый камень. Дверь омнибуса распахнулась. Мальчик сразу выпрыгнул, он не мог удержаться и кинулся навстречу воину, а тот вдруг нагнулся и поднял его на щит.

— Ахилл, — крикнул он, — спусти меня, я невежественный и грубый, мне надо подождать мистера Бонса, я вчера вам говорил о нем.

Но Ахилл поднял его вверх. А он так и припал к дивному щиту, к его героям и горящим городам, к виноградникам, изваянным в золоте, и ко всем добрым чувствам, всем радостям, ко всей этой открытой им Горе, омываемой вечными водами.

— Нет, нет, — протестовал он, — я недостойн. Это место должно принадлежать мистеру Бонсу.

Но мистер Бонс только хныкал, а Ахилл трубил в трубу и восклицал:

— Встань во весь рост!

— Я не хотел вставать, сэр. Но что-то заставило меня выпрямиться. Что же вы медлите, сэр? Ведь это только великий Ахилл, вы же с ним знакомы.

— Я не вижу никого. Не вижу ничего. Я хочу домой,— вопил мистер Бонс. И умолял кучера: — Спасите меня. Разрешите остаться в вашей колеснице. Я так почитал вас. Я вас цитировал. Я переплел вас в телячью кожу. Отвезите меня обратно, в мой мир.

И кучер ответил:

— Я только средство, а не цель. Я лишь пища, но не жизнь. Ищи опору в самом себе, как этот мальчик. Я не могу тебя спасти. Ибо поэзия — это дух, и те, кто поклоняются ей, должны поклоняться истинно и всей душой.

И мистер Бонс не мог сопротивляться, он выполз из прекрасного омнибуса. Сначала зияющим провалом появилось его лицо. Затем руки — одна цеплялась за ступени, другая хватала воздух. Вот уже видны плечи, грудь, живот... И с криком «Я вижу Лондон!» он упал — пал на жесткий, залитый лунным светом камень, пал в него, как падают в воду, пролетел насквозь и исчез, и мальчик больше никогда его не видел.

— Куда вы упали, мистер Бонс? Вот приближается шествие, чтобы почтить вас музыкой при свете факелов. Сюда идут те, чьи имена вам знакомы. Гора пробудилась, пробудилась и река, а море вдоль скаковой дорожки уже будит дельфинов — и все это в вашу честь. Они хотят вас...

На лбу своем он ощутил прикосновение свежих листьев. Кто-то увенчал его лавром.

ΤΕΛΟΣ *

ИЗ ГАЗЕТ

В районе Вермондских газовых разработок найдено жестоко изувеченное тело мистера Септимуса Бонса. В карманах покойного обнаружены кошелек с деньгами, орфоэпический слова-

рик и два омнибусных билета. Несчастный джентльмен упал, очевидно, с большой высоты. Подозревают, что он стал жертвой преступления. Власти предпринимают тщательное расследование.

(«Кингстон газет», «Сербитон таймс», «Рейнз парк обсервер»)

ПУТЕШЕСТВИЕ
В СТРАНУ ЭСТЕТОВ

1

Я буду говорить здесь только о нравах эстетов и о моей жизни среди них; рассказ о том, что предшествовало нашему прибытию на их остров, войдет в мою большую книгу «Тихий океан», которая будет окончена лишь года через два или три. Но для того чтобы читатель мог понять этот отрывок, необходимо хотя бы вкратце объяснить, каким образом было предпринято это путешествие.

Мой отец, Жан Шамбрелан, был мелкий судовладелец. Я провел почти все свое детство в Фекане и Этрета. Самым большим удовольствием для меня было выходить в море с рыбаками на тех старых пузатых шлюпках, которые в этих местах называют карбасами. Таким образом я уже в ранней юности приобрел навыки, необходимые для моряка. Я называю моряком того, кто плавает под парусом и знает толк в ветре и волнах. Современный моряк с быстроходного катера или паровой яхты для меня только смелый шофер, управляющий в море гоночной машиной.

Мои друзья рыбаки относились с безмерным уважением к «маленькому господину из Фекана», и они привили мне опасную привычку к чересчур почтительному отношению к себе. Когда родители отправили меня в один из парижских лицеев, где мой нормандский акцент вызывал насмешки, я сделался угрюмым. Заложив руки в карманы, я одиноко бродил по двору.

Друзей у меня не было. Я ощущал потребность в любви, но мне мешала застенчивость.

К счастью, война выбросила меня за ворота лицей. Так я снова окунулся в жизнь, которая была мне по нутру. Опасности, лишения, грязь, холод и дождь меня не пугали; я боялся только непосредственного соприкосновения с людьми. Я быстро получил офицерский чин, и дисциплина взяла меня в свои железные тиски, в которых я нуждался. Одно маленькое приключение сделало меня еще более нелюдимым. Я был ранен и, лежа в госпитале, влюбился в довольно хорошенькую сестру милосердия и сделал ей предложение. Она ответила отказом. После этого я стал избегать общества женщин.

Перемирие и мир стали для меня, как и для многих молодых людей, печальным событием. Что теперь оставалось делать? Никакой профессии у меня не было. Отец умер во время войны; его корабли были проданы; я не чувствовал склонности ни к чему, кроме моря или ремесла солдата. Я попробовал остаться в армии, но казарменная жизнь совсем не похожа на походную. Моя нелюдимость грозила перейти в неврастению. Все, что развлекало моих товарищей, казалось мне пустым и скучным. В 1922 году я подал в отставку. Моя мать только что умерла, оставив мне небольшое состояние. Я подумывал о том, чтобы уехать в одну из колоний.

В это время молодой француз, по имени Жербо, один, в маленьком одиннадцатиметровом судне переплыл Атлантический океан и опубликовал свой судовой журнал. Это было для меня откровением. Такие путешествия в одиночку — вот для чего я был создан! Но меня больше привлекал Тихий океан. Усердный читатель Стивенсона, Шваба и Конрада, я всегда мечтал повидать острова с очаровательными названиями Бюта-

ритари, Апемама, Нонюти. Слово «атолл» восхищало меня; я представлял себе темно-синюю лагуну, окруженную зубчатой короной. Насколько я боялся европейской женщины, ее кокетства, ее капризов, настолько же меня привлекала туземка, какой я ее воображал: маленькое животное, верное, молчаливое, чувственное. За один час мое решение было принято.

Жербо в конце своей книги давал несколько практических советов тем, кто пожелал бы последовать его примеру. Он указывал наилучший тип яхты, прилагал список необходимых вещей и съестных припасов. Я составил смету и с горечью увидел, что очень скоро останусь без денег. Мой нотариус, с которым я обсудил положение, посоветовал мне пойти в редакции больших газет или в издательства и получить средства под будущий рассказ о моем путешествии. Совет был хорош; мне удалось подписать два довольно выгодных договора, взять аванс и заказать себе маленький корабль. Это было палубное судно в десять тонн, оснащенное, как бермудский тендер.

Газета, с которой я заключил договор, захотела, разумеется, подчеркнуть важность моей поездки, объявив о ней заранее своим читателям, и попросила у меня статью о моих планах. Я описал свой маршрут, и в течение всей последующей недели ко мне из газеты приходили самые удивительные письма. Большая часть моих корреспондентов хотела сопровождать меня. Я понял тогда, что мое состояние духа, отвращение к общественной жизни, желание бежать от нее — сейчас гораздо более распространенное явление, чем можно предположить. Многие бывшие офицеры русского флота, которые работали в Париже шоферами или капельдинерами, хотели стать матросами на моем судне. Естественные испытатели, кинооператоры, повара из ресторанов

предлагали мне свои услуги. Но в особенности умоляли меня взять их с собой женщины. «Я так несчастна... Я буду Вашей рабой... Я буду зашивать Вам паруса и варить обед.... Вы можете обращаться со мной как с прислугой, ибо я должна покинуть Францию, должна...»,— говорила одна. «Я видела Вашу фотографию в газетах,— писала другая,— Вы кажется грустным, но очень добрым, и у Вас красивые глаза». Все эти письма меня забавляли, но я твердо решил ехать один.

Письмо Анны пришло одним из последних. Еще прежде, чем распечатать его, я увидел, что оно не было похоже ни на одно из остальных посланий. Мне понравились простая бумага, четкий почерк, твердые линии. «Я не знаю, достойны ли Вы этого письма; я узнаю это по тону ответа, если Вы мне ответите, что маловероятно. Я только что прочла Вашу статью; Вы собираетесь сделать то, о чем я могу лишь мечтать. Я всегда любила море больше всего на свете; когда я на суше, я думаю о запахе дегтя, о резком ветре, о брызгах соленой воды. Острова Тихого океана... Когда я читала то, что Вы о них говорите, мне казалось, что я слышу собственные мысли. Я вдова, очень молода, достаточно богата, совершенно свободна. Мне хотелось бы Вас сопровождать. Поймите сразу же и без задней мысли, что я предлагаю Вам не подругу по постели, а товарища по работе. Я думаю, что это возможно. Я уверена, что могу быть Вам полезна; я не знаю, хороший ли Вы моряк; все мои друзья, многие из которых — суровые и прямые англичане, утверждают, что матрос из меня неплохой. Вы мне необходимы, Вы или кто-нибудь другой, потому что работа в море иногда требует силы, которой у женщины, к несчастью, нет. Что касается денежного вопроса, то мы разделили бы расходы по покупке судна, снаряжению и путешествию пополам.

Неприятностей Вам из-за меня бояться нечего, я одна на свете, никто не потребует у Вас отчета обо мне. Почему я обращаюсь к Вам, а не к одному из моих друзей моряков? Потому что такие предприятия, как Ваше, редки, а также потому, что имена поэтов, которых Вы цитируете в своей статье, доказывают мне, что у нас общие вкусы. Мой адрес: Бурбонская набережная, 30, Иль-Сен-Луи. Номер телефона 31-35. Если Вы хотите меня видеть, предупредите; я буду ждать Вас в тот день и час, какие Вам будут удобны, за исключением вторника и субботы утром, когда я слушаю лекции в Музее искусств».

Почему я ответил? Это шло вразрез со всеми моими решениями. Но письмо мне понравилось. В нем было что-то прямое и мужественное, внушавшее доверие. Имя — Анна де Сов — было красиво. «Почему бы не повидать ее?» — говорил я себе. И я уже придумывал предлоги, чтобы изменить свои планы. Она брала на себя половину расходов; это означало возможность закончить путешествие без денежных затруднений, возможность продлить его. Несмотря на малый размер судна, помещения на борту вполне хватало. Было легко поставить там две койки и разделить их перегородкой. Отправившись к Анне де Сов, я уже был готов уступить, а увидев ее, окончательно принял решение. Нельзя сказать, чтобы она была безукоризненно красива, но ее лицо было таким же приятным, мягким и ясным, как и почерк. Голос ее звучал очаровательно; еще и теперь, через четыре года, мне кажется, что ее характер не имеет себе равных. С ней я не только никогда не испытывал ни малейшей неловкости, но и самая мысль о стеснении казалась мне нелепой. Анна говорила обо всем без обиняков, без колебаний. Впрочем, наша беседа походила прежде всего на беседу двух моряков. С пер-

вых же минут мы принялись делать чертежи парусов и составлять список необходимых покупок. Анна мечтала только о двух парусах, гроте и фоке, без бушприта, но мое судно было уже в верфи, да и вдвоем управлять будет легче.

Она очень удивилась, узнав, что я заказал свой корабль во Франции. Самым удобным портом отправления для плавания по Тихому океану был Сан-Франциско. Почему бы не строить там по нашим чертежам? У Анны было много друзей в Америке, и она могла бы установить наблюдение за работой. Это показалось мне разумным, и я обещал сделать попытку полюбовно расторгнуть договор, заключенный в Сен-Назере. Я уже говорил: «Наш корабль».

Я попросил ее рассказать мне о своей жизни. Она выросла в Вандее, в суровой семье; не спрашивая согласия, ее выдали в восемнадцать лет за очень богатого и уже старого соседа. Во время войны она потеряла родителей и супруга. Она не была счастлива ни в детстве, ни в замужестве: «Но я не хочу разыгрывать трагедий; я никогда не была очень несчастна; я обладаю чувством юмора, которое позволяет мне в самые тяжкие моменты смотреть на свои несчастья с комической стороны».

Она любила все делать хорошо. Обстановка ее квартиры была тщательно подобрана. Мебели мало, но она безукоризненна. Голые стены; полное отсутствие безделушек; много книг. Я заметил брошюры по мореходству, искусству плавания, медицине. У подъезда ее ждал собственный автомобиль; она сама отвезла меня в центральную часть Парижа; она правила хорошо, свободно и без напряжения.

Рассказ о нашем путешествии из Сан-Франциско в Гонолулу, как я уже говорил, войдет в другую книгу. Здесь скажу только, что этот переезд совершился благополучно. Наше судно «Аллен» вполне годилось для моря. Вначале мы считали необходимым поочередно стоять на вахте, но вскоре убедились, что если мы ложились на ночь в дрейф с положенным рулем, то утром наш курс оставался почти тем же самым. Мы пережили три бури, в том числе одну очень сильную, во время которой Анна доказала свое мужество.

Как я и предвидел с момента нашей первой встречи, она была идеальной спутницей. Превосходный организатор, она купила в Сан-Франциско запас провизии и во время переезда готовила простую и здоровую еду. Она не знала плохого настроения. В минуты опасности она сохраняла свой обычный тон, точные движения. Я звал ее «ваша ясность». С общего согласия мы установили дружеское и сердечное обращение. Анна не хотела ни ухаживания, ни опеки; может быть, покажется плоским, если я скажу, что мы жили как два брата, но все-таки эта формула лучше всего рисует наши отношения. Чтобы быть точным, я должен, однако, прибавить, что мое чувство было более сложным; часто мне казалось, что я замечаю в нем нежность, желание, но тогда я старался заняться какой-нибудь работой и думать о другом.

Моим намерением было с Гавайских островов отправиться на Таити, сделав крюк, чтобы мимоходом повидать Маркизовы острова и острова Таумоту. Гонолулу разочаровал меня, это американский Монте-Карло. Мне казалось, что большие белые кораллы, кольцом сверкающие над морем, пополнят запас наших впе-

чатлений. Дней через двадцать после нашего отъезда из Гонолулу наблюдения показали, что мы находимся под 161°2' восточной долготы и 5°3' северной широты. Следовательно, мы приближались к группе Феннинговых островов, каменистых и бесплодных, но в каталоге Финдлея здесь значится станция английского подводного телеграфа; я рассчитывал возобновить там наш запас питьевой воды.

К вечеру мы вошли в зону мертвого штиля с довольно крупной зыбью. Злобные волны с пенистыми верхушками торопливо и неравномерно ударялись о форштевень «Аллена». Затем поднялся ветер, быстро свежевший, и очень низко на горизонте образовалась большая полоса черных, как чернила, туч. Вскоре ветер стал очень сильным, и «Аллен» дал крен. Было жарко, как в кипящем котле. Нам уже пришлось побывать в переделках, но они были детской игрой по сравнению с надвигающейся бурей. По небу быстро неслись черные тучи, подгоняемые ветром. О борт разбивались огромные волны. Каждая из них покрывала всю палубу. Наше судно накренилось и понемногу погружалось в воду. Спустив все паруса и закрепив руль, мы вздохнули свободнее, но приходилось цепляться за мачту, чтобы нас не унесло. Подставив грудь ветру, с развевающимися волосами, со счастливым взглядом, Анна была восхитительна: морская богиня! Около полуночи стало ясно, что волны становятся все сильнее и мы не сможем бороться с ними дальше. Анна сказала: «Пойдем в каюту». Хотя иллюминаторы были завинчены, внизу все было залито водой, но мы были так утомлены, что, выкачав, как могли, воду, заснули.

Через несколько часов меня разбудил какой-то странный шум — сильные удары о корпус «Аллена». Был ли то день? Или ночь? Не было видно ни зги.

Судно наклонилось, точно скат крыши. Стоять было невозможно. Я ползком влез на палубу. Тучи нависли так низко и были такими густыми, что, хотя уже рассвело, нельзя было ничего различить на расстоянии тридцати метров. Волны были ужасающей высоты. Наш бушприт был сломан; это он стучал о бок судна. Зачем я не послушался совета Анны, когда она просила меня обойтись без него? Переборка парусной каюты была сорвана. «Аллен» представлял собой жалкий кусок дерева. Я позвал Анну; мне нужна была ее помощь, чтобы срубить мачту, которая грозила вышибить дно у нашей скорлупки. «Кажется, мы погибли!» — сказал я ей. Она вдохнула соленый ветер и улыбнулась.

После часа работы, в течение которого я двадцать раз рисковал быть унесенным в море, мне удалось срубить мачту. Одной опасностью стало меньше. Теплый слепящий дождь хлестал нам в лицо. Мы снова спустились в каюту. Во время этой ужасной работы наши костюмы совершенно изорвались. Анна хотела переодеться, но все наши сундуки оказались затопленными. И, что еще хуже, инструменты были испорчены, мой хронометр бесследно исчез, часы Анны разбились. КATALOG Финдлея и карты превратились в бумажную кашу. Если бы даже нам удалось спастись, мы могли бы теперь плыть только наудачу. Впрочем, как плыть? Мы остались без мачты, а наши паруса превратились в лохмотья. К счастью, несмотря на эти мрачные мысли, мы снова погрузились в сон.

3

Когда я открыл глаза, меня поразили необыкновенная тишина и безмолвие. «Аллен» тихо покачивался на воде. Сквозь иллюминатор пробивался серый свет. На палубе, куда я поднялся одним прыжком, меня

ждало великолепное зрелище. Перед нами на шафранно-желтом небе вставало солнце. Ветер утих; в теплом, воздухе параллельными полосами тянулись золотые и красновато-лиловые облака. Сверкающая желтизна неба отражалась в море, которое тихонько волновалось вокруг нас. «Анна!» Она прибежала; я увидел, что она была совсем голая под одеялом. «Спасены?» — спросила она.

— Еще не совсем...

— Как хорошо! Где мы?

Я ей напомнил, что у меня не было больше никакой возможности определить это. Бог знает, куда нас занес циклон!

— А паруса?

Я показал ей их; она предложила сделать грот из паруса. Мы находились недалеко от земли, потому что вокруг нашего судна летали птицы. Я сел рядом с Анной, и мы, согреваемые солнечными лучами, принялись за работу. Мы знали, что, может быть, впереди нас ждет смерть, но мы не были ни грустны, ни испуганы. Наоборот, у нас обоих было мирное и радостное настроение.

Около полудня я спустился вниз, чтобы найти хоть какую-нибудь карту. Когда я вернулся с пустыми руками, она крикнула: «Земля!» и указала на темную короткую полосу вдаль. Это был остров, на котором возвышалась остроконечная гора. Но мы были очень далеко от него. Привязав к палке кусок материи, я долго им махал. К счастью, течение несло нас к земле; вскоре я различил мыс, затем лес и, как мне показалось, блестящие крыши города.

— Как любопытно, Анна... Гавань... я вижу что-то вроде мола... Куда же мы попали? Это не Феннинговы острова. Не было бы гор... и я не знаю, какой здесь может быть город...

Час спустя от берега навстречу нам отчалил ялик; когда он приблизился, мы с удивлением увидели, что команда на нем была белая. Мы ожидали увидеть пиррôгу, туземцев. Анна тщательно завернулась в свое одеяло. Она была очень красива в такой одежде, одно плечо ее было обнажено. На носу ялика сидел квартирмейстер с нашивками, он крикнул нам по-английски: «Кто вы?» «Французы, переплывающие Тихий океан; вчерашняя буря нанесла нам большие повреждения. Не можем ли мы починиться здесь?» Он как будто смутился и сказал: «Это зависит не от меня... Комиссия решит... Вы должны войти в гавань...» Я бросил ему конец и попросил взять нас на буксир. Он предложил перейти к нему в ялик, но я не хотел оставлять судна, а Анна, голая под своим одеялом, не хотела очутиться среди мужчин. Он схватил конец, и мы поплыли к городу. Мы старались догадаться, какой национальности были эти люди. Они не носили ни берета английских моряков, ни головного убора американских. «Австрийцы? — Нет, не думаю». На корме ялика развевался странный белый флаг с девятью женскими лицами.

Гавань была маленькая, но кокетливая. Мол, как и ялик, был выкрашен в голубой и белый цвет, а на нем, на верхушке мачты, тоже красовался белый флаг с девятью лицами. Анна взялась за руль, чтобы пристать, а я укладывал в мешок кое-какие вещи, которые хотел взять с собой. Мы сошли на берег. Наш спаситель повел нас под навес. Там он заявил, что нам придется подождать комиссию, и спросил, не нужно ли нам чего-нибудь. Анна сказала о платье, я о брюках, и один из матросов торопливо побежал к городу. Я поинтересовался, есть ли здесь французский консул?

— Нет, — ответил квартирмейстер, — здесь нет никаких консулов. Остров является частной собственностью.

— Частной собственностью? Чьей же?

— Эстетов.

— А кто такие эстеты?

Он снова заговорил о комиссии. Мы ничего не понимали.

— Вы эстет? — спросила его Анна.

— О нет! — сказал он со скромным видом, как будто это было чересчур лестным предположением, — я беот.

— Что за странная история! А туземцы?

— Туземцев здесь нет.

— Но как называется остров?

— Остров когда-то назывался Майана; теперь это Остров эстетов.

Прибыл матрос с пакетом; наш собеседник поклонился и скромно ушел.

Анна сбросила одеяло и надела платье; оно было сделано из легкой голубой материи и стянуто в талии витым поясом; в пакете было также ожерелье из крупного желтого янтаря. «Смотрите! — сказала она мне. — Какое внимание!.. Он восхитителен, этот неведомый народ». Мы старались припомнить названия «Майана», «Остров эстетов», но, по-видимому, ни один из нас никогда не слышал о них.

4

На маленьком бунгало из полированного дерева была дощечка с выгравированной надписью на английском языке:

Помещение для иммигрантов

Я ожидал найти таможенную контору, пропахшую табаком, оклеенную циркулярами; но комната, куда нас ввели, оказалась очаровательной и светлой. Обитые светлым кретоном три кресла окружали стол из полированного светлого дерева. На столе был приготовлен чай по-

английски: с розовым и зеленым пирожным, огромным кексом и тоненькими ломтиками черного хлеба с маслом. Вдоль стен шли полки, уставленные книгами. В креслах находились судьи, вставшие при нашем появлении. Слева от нас сидел маленький человечек, похожий на крестьянина, с всклокоченной бородой, но глаза у него были добрые и глубокие; у среднего, очень высокого и лысого, лицо было бритое, умное и несколько суровое; чертами он напоминал японца; сидевший справа, моложе других, казался воздушным существом, готовым каждую минуту улететь; его выющиеся пушистые волосы были льняного цвета, глаза серо-голубые. Председателем был тот, кто сидел в центре. К нашему удивлению, он заговорил приятным, слегка певучим голосом на изысканном французском языке.

— Разрешите вам представить моих коллег,— сказал он нам.— Ручко, маленький лохмач, и Снэйк, красавец юноша. Меня зовут Жермен Мартен, и моему французскому происхождению я обязан честью председательствовать на вашем допросе. Однако не мешает предупредить вас, что литературный язык на этом острове — английский... Будьте любезны сообщить мне ваши имена.

— Мое имя Пьер Шамбрелан,— сказал я,— а моя спутница — Анна де Сов; не знаю, получили ли вы французские газеты, в которых говорилось о нашем намерении переплыть Тихий океан. Три дня назад буря привела наше судно в полную негодность. Мы хотели бы просить разрешения починить его здесь, а затем продолжать наше путешествие. Что касается издержек по починке, то у меня на борту есть немного денег; если их недостаточно, у госпожи де Сов есть текущий счет в Вестминстерском банке, и я полагаю, что по телеграфу...

— Дорогой господин Шамбрелан,— со скукой в голосе сказал Жермен Мартен,— перестаньте, пожалуйста,

говорить о деньгах. Это слишком избитая тема... Наши беоты починят вам судно и будут очень счастливы сделать это. Единственный вопрос, который стоит перед нами, Комиссией временной иммиграции,— можно ли разрешить вам пребывание в стране эстетов и, с другой стороны, нет ли оснований задержать вас здесь на несколько месяцев...

— На несколько месяцев! — в ужасе воскликнул я.— Но...

— Прошу вас,— кокетливо-властным тоном прервал Мартен,— подождите... Вы увидите, что все уладится... Сударыня, садитесь... Не угодно ли чашку чаю?

Анна, умиравшая с голоду, радостно приняла приглашение. Снэйк пододвинул ей кресло, и, когда мы все удобно усьелись за столом, Мартен снова заговорил:

— Послушайте... Вы задумали переплыть Тихий океан вдвоем, в маленьком суденышке, которое я только что мельком видел... Не можете ли вы сказать, с какими намерениями предпринята эта удивительная экспедиция?

— Только из-за любви к морю и отвращения к общественной жизни... Госпожа де Сов и я оба испытывали желание на некоторое время уйти от цивилизации. И она и я — хорошие моряки, и мы объединили свои усилия для этой поездки.

Мартен повернулся поочередно к двум своим товарищам; его глаза блеснули.

— Оч-чень интересно! — сказал он напирая на слово «очень».

Ручко долго смотрел на меня своими прекрасными глазами.

— Дорогой господин Шамбрелан,— с участием спросил он,— эта дама была вашей любовницей до отъезда или стала ею лишь в путешествии?

Анна с гневом поставила свою чашку на стол.

— Что за вопрос! — сказала она. — Я никогда не была его любовницей. Мы товарищи по спорту, больше ничего... И какое вам до этого дело?

Мартен засмеялся; у него был удивительный смех, детский и в то же время дьявольский.

— Милый друг, — сказал он Ручко, — немножко терпения... Но ее тон был очарователен, не правда ли, Снэйк?

— Да... — задумчиво сказал Снэйк, — такой естественный...

— Дорогие чужеземцы, — обратился к нам Мартен, — вы должны извинить нашего друга Ручко, он думает, что все люди разделяют его любовь к публичным признаниям... Но — я прошу вас извинить и меня — его вопрос был из тех, которые члены Комиссии временной иммиграции вынуждены предложить вам... Говорите без опасений, здесь вы находитесь в стране, освободившейся от всяких условностей... Если вы любовники, мы это отметим, но будем очень далеки от того, чтобы порицать вас за это... Напротив, — с новым оттенком в голосе прибавил он.

— Я говорю без всяких опасений, — ответил я. — Но то, что сказала вам госпожа де Сов, правда... Мы только дорожные спутники, не больше.

— Что? — удивился Ручко. — Вы жили на этом корабле одни, вдали от всякого общественного контроля, и желание не было сильнее вашей гордости?.. Это удивительный случай, — прибавил он вполголоса, оборачиваясь к Мартену.

— Оч-чень интересно! — сказал Мартен. — Я думаю, дорогие коллеги, что более продолжительный допрос мог бы только испортить психологические возможности темы... Я предлагаю отправить их в психиатриум.

— Согласен,— сказал Ручко, окинув нас печным взглядом.

— А вы, Снэйк? — спросил Мартен.

Но Снэйк уже несколько минут делал какие-то пометки в записной книжке, время от времени поглядывая на Анну. Он вздохнул.

— Да,— сказал он,— в психиариум... разумеется.

— Итак, дорогие гости,— заключил Мартен,— потому что отныне вы наши гости: пока беоты будут не торопясь чинить ваше судно, вас поместят в центральный психиариум Майаны. Идите туда смело; с вами будут обращаться ласково; там вас устроят скромно, но достаточно комфортабельно. Мы еще увидимся. Ах, чуть не забыл, дорогие коллеги... Одну комнату? Или две?

— Как? — воскликнула Анна.— Разумеется, две... Но что это за люди? — прибавила она, оборачиваясь ко мне.— Что такое психиариум? Уж не посадят ли они нас в дом умалишенных? Неужели ничего нельзя сделать? Ну, Пьер, говорите же!

— Господа...— начал я.

Но я чувствовал, как меня опять охватывает та ужасная застенчивость, от которой меня излечило за последние два месяца лишь одиночество вдвоем.

Ручко сделал мне знак молчать и расплылся в благодушной улыбке, в которой я почувствовал безграничное презрение. Затем, поверх наших голов, как будто Анна и я не существовали, он бросил Мартену:

— Две комнаты! Но вы видели, как бурно они реагировали? Эти бедные люди фанатично верят в реальное!.. Позовите, пожалуйста, кого-нибудь из беотов, мой друг.

Мартен нажал кнопку звонка, и в комнату вошел человек в форме.

— Вы отведете этих двух чужеземцев в психиатриум,— сказал ему Мартен,— я дам инструкции непосредственно миссис Александер.

Человек поклонился, потом нагнулся к Мартену и шепнул ему что-то на ухо.

— Ах да, правда,— ответил Мартен.— Я и забыл про эксперта. Велите ему войти.

Анна взяла меня за руку.

— Послушайте, Пьер, да сделайте же что-нибудь... Эти люди или считают нас сумасшедшими, или сами сумасшедшие... Они только что говорили об эксперте. А вдруг мы окажемся в заключении? Пьер, вы знаете, что у меня спокойный характер, что я могу быть мужественной, но теперь мне страшно...

Снэйк посмотрел на нее и сделал знак Мартену.

— Удивительно! — отозвался Мартен.— Страх... Вот чего я не видел уже тридцать лет! — И он закончил, будто в театре: — Бо-оль-шой талант!

Открылась дверь, и вошел человек с длинной бородой, в выпачканной красками блузе.

— Здравствуйте, Август,— сказал ему Мартен.— Я посылаю этих двух друзей в психиатриум, и мне нужна ваша виза.

Человек прищурившись посмотрел на Анну и на меня.

— Она, без всякого сомнения... прелестна... — сказал он,— кожа, которая не боится света... пожалуй, чересчур в английском духе, на мой взгляд, но дело не в моем взгляде... Он... хуже... гораздо хуже... но интересен... прекрасные неровности... (Он большим пальцем очертил мои щеки и подбородок.) Да, сойдет, беру обоих.

Мартен попросил нас встать.

— Сударь,— сказала Анна, обращаясь к Ручко,— вы кажетесь очень добрым... Вы обещаете, что нам не причинят никакого зла?

— Обещаю,— сказал Ручко, беря ее за руки,— я вам обещаю, что мы вас спасем от вас самих.

5

Наш проводник шел быстро. Мы испытывали странное ощущение неустойчивости, которое твердая почва вызывает у всех, кто провел несколько недель на борту корабля. Город показался нам необычным. Изящный и цветущий, как некоторые из новых городов Марокко, но с чересчур изысканными формами, утомлявшими ум и глаз. По пути мы с изумлением читали названия улиц: улица Флобера, парк Россетти, аллея Пруста, сады Эвпалиноса, сквер Бэббита, терраса Бэринга, улица Форстера.

— Какой культурный народ! — сказала Анна. — Прогуливаешься точно в библиотеке.

Мы пытались расспросить нашего спутника; он говорил по-английски, но, очевидно, не желал удовлетворять наше любопытство. «Я не получил полномочий. Миссис Александер объяснит вам; она привыкла», — отвечал он на все наши вопросы. Через минуту он указал на здание в глубине площади, похожее на большой отель, и сказал: «Центральный психиатриум». Это и была наша будущая резиденция. Ее окружал сад с группами пальм и клумбами лиловых цветов.

— Бывают дома умалишенных, которые делают красивыми, чтобы внушить больным доверие, — сказала Анна.

Внутри психиатриум был похож одновременно на больницу и на музей. Повсюду были наклеены ярлыки, виднелись расписания, планы, стрелки: «Свободные субъекты...», «Занятые субъекты...», «Романисты: часы посе-

щений...», «Художники и скульпторы: часы посещения...». По распоряжению приведшего нас человека швейцар трижды позвонил в мелодичный колокольчик и сказал: «Миссис Александер сейчас спустится вниз».

Миссис Александер, должно быть, когда-то была очень хороша собой; она представляла любопытную смесь таитянки и англичанки. Мы с первого взгляда почувствовали к ней симпатию, хотя она держалась важно и почти надменно, как домоправительница высшего ранга, но под этой маской скрывался иронический, веселый, нетерпеливый нрав.

— Я получила ваши приметы по телефону,— сказала она,— и на сей раз — исключительный случай! — эти господа были точны, так что все уже готово... Не хотите ли взглянуть на свои комнаты?

— Мы, главное, хотели бы понять...— сказала Анна.

— Вы все поймете, но сначала надо посмотреть комнаты,— улыбаясь, ответила миссис Александер.

На лифте мы поднялись на третий этаж. Миссис Александер прошла по длинному коридору, открыла одну из дверей, и мы были очарованы. Никогда я не видел более приятной комнаты. Мягкость тонов (серый и бледно-лиловый), классическая форма мебели, неопределенного оттенка стены казались нарочно подобранными по вкусу Анны, каким я его узнал за последнее время. Я не мог удержаться, чтобы не сказать ей об этом.

— Мистер Снэйк сам выбрал комнату,— заметила наша хозяйка.

Она распахнула окно: с широкого балкона, защищенного шторой, открывался вид на голубовато-зеленое озеро, над которым склонились тонкие силуэты кокосовых пальм. А дальше пурпурно-черной массой на ярком небе цвета индиго вырисовывался пик Майаны.

— Какая красота! — восторженно воскликнула Анна. — Но кто предлагает нам все это? Чего от нас требуют взамен? Свободны ли мы?

— Совершенно свободны, единственное условие — чтобы вы были в часы посещений в распоряжении этих господ... Впрочем, Майана остров. Куда вы сможете уйти?

— Но кто такие «эти господа»? — спросил я. — С тех пор как мы ступили на вашу территорию, мы никак не можем получить объяснений. Всем как будто доставляет удовольствие держать нас в неведении. Нам несколько раз говорили, что вы разъясните нам все. Мы умоляем вас сделать это.

— С большим удовольствием, — сказала она. — Но не хотите ли сначала принять ванну, переодеться? Ваша комната, сударь, направо. Ваши ванные комнаты находятся рядом...

— Нет, нет, — воскликнула Анна, — мы хотим знать... Кто такие эстеты? Что такое Майана? Что такое психариум? Что будет с нами? Я не могу жить в вечном страхе.

— Тогда слушайте, — сказала миссис Александер, снова закрывая окно и предлагая нам кресла. — И, главное, будьте совершенно спокойны, вы не подвергаетесь ни малейшей опасности... Вы проведете здесь несколько недель, после которых будете продолжать свое путешествие... Больше ничего... Итак... Помните ли вы английского романиста Антони Скотта, который был знаменит между 1840 и 1860 годами, нажил огромное состояние на скверной книге «Загадки пола» и затем исчез из литературного мира?

— Я слыхала имя автора и название книги, — сказала Анна, — но никогда не читала ни «Загадок пола», ни какого-нибудь другого романа Скотта.

— Тем лучше для вас,—заметила миссис Александер.— Но знали ли вы, что в 1861 году Скотт купил у голландского правительства остров Майану в полную собственность и приобрел суверенные права на него?

— Постойте,—подхватил я,—кажется, я читал когда-то про эту историю; Скотт выписал туда некоторое количество своих коллег, и они должны были составить ему компанию, не так ли?

— Именно так. Он предложил землю даром каждому артисту, писателю, художнику или скульптору, который обязался бы никогда больше не покидать остров и принять его законы. За ним последовали сорок три колониста, образовавшие первое поколение эстетов... С ними было почти тройное количество слуг, мужчин и женщин; их потомки и составили низший слой населения; как вы слышали, их зовут беотами — сокращение от слова «беотийцы», которое употреблял для их обозначения Скотт. Кроме того, на острове было племя туземцев, малочисленное, но очень красивое; оно смешалось с беотами настолько, что теперь, через семьдесят лет, чистых туземцев больше не существует. Все обитатели острова — эстеты или беоты; их насчитывается теперь около десяти тысяч, из которых шестьсот эстетов.

— Но в чем разница между эстетами и беотами? Только в происхождении?

— О нет. Здесь рождение не играет роли: главное — чем занимается человек... Эстеты не выполняют никаких функций, кроме тех, что связаны с искусством. Они пишут, рисуют, сочиняют музыку; но они не могут заниматься торговлей и не имеют права продавать свои произведения под страхом судебного преследования. Эстет не должен иметь денег.

— Но как же они живут?

— Да благодаря беотам. Я должна вам сказать, что многие из этих последних обладают большими состояниями. Остров богат природными ресурсами; на нем есть каучуковые плантации, рудники. В его бюджете нет статьи военных расходов, так как его независимость гарантирована всеми державами. Тот, кто захочет работать, быстро наживет большое богатство. Единственное удовольствие для богатого беота, а в особенности для его жены и дочерей — кормить эстетов. Каждый вечер между пятью и семью часами вы можете видеть у плантаторов-беотов уставленные пирогами, сладостями, напитками и всякими кушаньями столы, за которые эстеты присаживаются на несколько минут. Молодые девушки-беотки прислуживают им и в награду эстеты бросают им несколько фраз... когда эти господа в состоянии говорить.

Нам обоим почудился в почтительном тоне миссис Александер неуловимый оттенок сарказма, но мы были так удивлены и заинтересованы всем услышанным, что поспешили задать новые вопросы:

— Нельзя ли нам присутствовать при трапезах эстетов? — спросил я.

— Вы, конечно, будете приглашены, — ответила она. — Как только эти господа начнут говорить о вас, вы станете очень популярными на острове. Беоты всегда домогаются знакомств с субъектами из психариума.

— Ну, а что такое психариум? — спросила Анна.

— Это нетрудно объяснить, — сказала миссис Александер. — Вначале у эстетов, которые приехали из Европы или Америки и участвовали там в сложной жизни общества, были тысячи сюжетов для обработки; им достаточно было порыться в памяти, чтобы найти материал для своих книг... Второе поколение оказалось уже в худшем положении. Правда, у нас было то, что здесь

называли «майанскими темами»... Жизнь беотов... Любовные отношения между женщинами-беотками и эстетками... или женщинами-эстетками и беотами... но и эта тема была довольно скоро исчерпана. Тогда эстеты принялись писать друг о друге, но это многих оскорбляло и стесняло. К тому же они давно перестали испытывать настоящие чувства, и им не имело смысла вести наблюдения ни над самими собой, ни над своими собратьями... Некоторые занялись описанием тех вторичных чувств, которые могут быть вызваны произведениями искусства... Например, если бы вы были эстетом, то после такого путешествия, как ваше, вы издали бы не только «Судовой журнал», но также и журнал этого «Судового журнала», а ваша спутница издала бы журнал журнала «Судового журнала моего мужа»... Это опять-таки очень доходное предприятие. Литературным событием этого года в Майане стала исповедь на шестнадцать тысячах девятистах страницах, написанная Ручко, под заглавием: «Почему я не могу писать». Но в конце концов не все обладают талантом Ручко, и для эстетов, оставшихся без персонажей, один богатый помещик-беот, умерший десять лет назад, создал психариум, который является «садом дум». Психариум имеет в Европе и Америке корреспондентов, которые посылают ему интересных субъектов... Подчас нам случается найти их среди беотов. Иногда счастливый случай приводит к нам гостей, таких, как вы... Наши учредители стараются, насколько возможно, коллекционировать здесь образчики наиболее интересных чувств, вышедших из недр старого романического общества.

— А что вы называете «романическим обществом»? — спросил я.

— Такое общество, где не все люди романисты, — с простодушным видом ответила миссис Александер.

Анна и я переглянулись.

— Ну а вы,— спросила Анна,— кто вы такая? Эстетка или беотка?

— О,— сказала миссис Александер,— я урожденная беотка, но в течение двадцати лет была женой эстета... Я их знаю хорошо.

6

Если бы мысль о непредвиденной остановке посреди нашего чудесного путешествия не внушала нам чувства легкого сожаления, мы могли бы быть счастливы, по крайней мере в начале нашего пребывания на Майане. Природа там роскошная, климат благодатный; местные жители относились к нам крайне предупредительно. Миссис Александер, с самого начала почувствовавшая к нам сердечную симпатию, велела отвести нам павильон у берега озера, и мы могли погружаться в воду прямо с террасы. Это доставляло огромное удовольствие Анне, которая чувствовала себя счастливой только в воде. Какое наслаждение было плавать в этом тепловатом озере, в глубине которого играли рыбы ярких красок и странных форм. Как хорошо было гулять по окрестностям. Нас всегда сопровождал мальчик; когда мы чувствовали жажду, он влезал на верхушку ближайшего кокосового дерева, и с него градом сыпались гигантские орехи, полные вкуснейшего молока.

Но большую часть времени мы с интересом наблюдали за нравами островитян. Мы то и дело сообщали друг другу о том, в каких формах выражается доходящее до смешного преклонение беотов перед эстетами. Некоторые туземцы доводят этот фетишизм до того, что хранят малейший клочок бумажки, к которой прикоснулось «священное» перо эстета. Один из самых богатых беотов с гордостью показывал перо, принадлежавшее

раньше Ручко; беот приобрел его по дорогой цене у местного торговца редкостями. Для него это была своего рода реликвия. Вообще, если вкратце охарактеризовать отношение майанцев к искусству и к художникам, я должен был бы назвать его религиозным культом. Лучшие из эстетов — святые, живущие в нереальном мире, который создает их воображение, и желающие только одного: создавать совершенные произведения. Из честолюбия они подражают великим легендарным художникам, боготворимым на Майане, например Флоберу, бюст которого стоит в домах многих беотов; Шелли, которому они воздвигли храм с мраморной статуей, изображающей обнаженного поэта; Марселю Прусту, день рождения которого ежегодно отмечается торжественным чтением нескольких страниц из его произведений. Среди ныне здравствующих эстетов наиболее уважаемый — Альберти, который всю свою жизнь носился с мыслью написать поэму в тридцать строк: эта идея зародилась у него в восемнадцать лет, но осуществил он ее только семидесятидвухлетним стариком.

Отношение к искусству как к священному обряду вылилось в некие обязательные формы. Раз в неделю в театре ставится комедия или же устраивается концерт в «Великане»; эти спектакли бесплатны и имеют характер всенародного торжества; первые ряды кресел предоставляются эстетам; присутствие всех беотов обязательно. Карательные меры не применяются, ибо угрозы социального остракизма вполне достаточно. Беот, не любящий музыки и литературы, становится отверженным. Эстеты перестают у него обедать; другие беоты его презирают; его жена, а также дети в конце концов добиваются, чтобы он, по крайней мере внешне, выказывал признаки уважения, которого он на самом деле не испытывает.

Тайны искусства здесь охраняются так же бережно, как тайны религии в других странах. Самый прославленный майанский драматург — Педро Санцони; пьесы его красивы, но настолько туманны, что большинство беотов их не понимает, — еще одна причина для восхищения писателем. Во время нашего пребывания на Майане мы были свидетелями одного эпизода, который показателен для отношения беотов к Санцони.

Его любимая актриса Ноэми отличалась таким пылким артистическим темпераментом, что во время игры впадала в транс. Иногда она искусственно создавала такое повышенное нервное состояние, необходимое для проявления ее таланта; для этой цели театральная камеристка по ее приказанию прикрепляла к дверям уборной табличку не с именем «Ноэми», а с именем того действующего лица, которое она должна была играть. Однажды, в день премьеры, камеристка забыла сменить табличку, и Ноэми вышла на сцену в костюме и гриме такой героини, которой вовсе не было в пьесе...

Когда другие артисты услышали, что она подает бессмысленные реплики, они попытались привлечь ее внимание и дать ей понять, что она забыла роль. Но Ноэми как будто не видела их. В испуге Педро Санцони хотел уже броситься на сцену и остановить представление, когда, взглянув на публику, заметил, что ничто не смущало ее спокойствия. Он дал доиграть акт. Занавес опустился под гром аплодисментов беотов, которые говорили друг другу, что Санцони никогда еще не создавал ничего более гениального и смелого.

Цензура эстетов не разрешила обнародовать в «Газете» сведения о подоплеке этого эпизода; пьеса была напечатана в том виде, в каком ее сыграли, с заменой оригинального текста бессвязной ролью, причем Санцони дал пьесе новое название: «Пришелица с того света».

Она стала классическим произведением майанской драматургии. Всю эту историю мы с Анной узнали от миссис Александер. Точности ради должен добавить, что нам нравилась эта пьеса.

Та же миссис Александер объяснила нам, что в последние годы появились опасные новые веяния, побуждавшие некоторых молодых беотов крамольного нрава отрицать значение эстетов, видеть в них паразитов и требовать их изгнания с острова, если они не захотят работать собственными руками. Эти молодые люди нашли своего идеолога в лице Сэма Фогга, выроodka-эстета, который проповедует ученикам, что жизнь важнее искусства. Называют этих молодых людей биофилами. Благомыслящее большинство их презирает и считает безнравственными; их учение распространяется медленно, ибо почти всегда брак возвращает «заблудших овец» к нормальной жизни.

Конечно, нередко бывает, что в среде беотов рождается настоящий эстет. Большинство эстетов по своему происхождению беоты. В психариуме есть специальный отдел, занимающийся изучением таких случаев. Преимущества принадлежности к касте эстетов столь очевидны, что мысли о симуляции напрашиваются сами собой. И было бы, конечно, преувеличением утверждать, что Майана совершенно ограждена от этой опасности; но правители находятся на страже.

Во всем, что касается их ремесла, эстеты обнаруживают поразительную честность. Можно было бы, пожалуй, упрекнуть их в чрезмерной снисходительности к некоторым лжехудожникам, которые считают удобным кормиться за счет беотов. Но жизнь настоящего эстета очень тяжела; период созидания, по-видимому, столь же болезнен, как роды; короткие моменты отдыха между творческими вспышками полны для них тревог и иска-

ний. Почти все эстеты хрупкого здоровья; кроме того, навязчивое гостеприимство беотов плохо влияет на их слабые желудки. Для большинства из них, как мне кажется, жизнь была бы невыносимой, если бы не преданность беотских женщин.

Дело в том, что очень редко эстет выбирает себе в подруги жизни эстетку. Опыт показал, что такие браки почти никогда не бывают удачными. Но майанский закон дает эстету право на всякую женщину, если он клятвенно заявляет, что она нужна ему для творчества. Законы острова предусматривают в этих случаях временные связи между эстетами и беотками, которые не уничтожают предварительно заключенного беотского брака, но временно приостанавливают его действие, когда речь идет о предполагаемом отцовстве. Это весьма остроумное решение вопроса, благодаря которому отпадают все непривлекательные особенности тайного адюльтера; не мешало бы ввести подобный закон и у нас. Что касается мужа-беота, то он считает такой выбор великой для себя честью, ибо знает, что имя его будет упомянуто в «Жизнеописании эстетов», которое государство издает отдельными выпусками после смерти каждого из них. Таким образом, муж-беот выигрывает в социальном отношении то, что проигрывает в супружеской верности. Добавлю полноты ради: некоторые эстеты, как я слышал, жаловались на предоставляемые им привилегии этого рода; они утверждали, что в литературных произведениях ценность любви обуславливается препятствиями, которые последняя встречает на своем пути. Должен сознаться, что единственные хорошие романы, которые я читал на Майане, были написаны бывшими беотами, что как будто подтверждает эту теорию.

Самым слабым местом эстетов является, как мне кажется, то обстоятельство, что они утратили связь с жизнью. Обычно художник борется, по крайней мере в дни своей молодости; от этой борьбы он сохраняет воспоминания, любовь, ненависть — словом, живые чувства. Но на Майане жизнь не ставит никаких препятствий эстетам и не требует от них знаний. Отсюда их невероятное невежество. Мои читатели не поверили бы, если б я привел некоторые вопросы, которые нам задали самые умные из эстетов. «В моей новой книге,— говорил мне один из них,— я должен описать пограничную горную область, по которой идут контрабандисты; но, скажите, как идут по горе? Есть ли там тропинки, или дороги?» Другой долго расспрашивал меня об устройстве лодки; он все не мог уяснить себе назначение руля, весел, парусов. Все экономические вопросы чужды эстетам, так как беоты занимаются этим вместо них. Только старый Альберти немало повидал в течение долгого периода жизни, когда он ничего не писал; многосторонний и живой ум этого культурнейшего человека делает его одним из самых замечательных людей из тех, которых я когда-либо встречал. Но в глазах наиболее строгих эстетов Альберти — еретик.

Для эстета единственная существующая реальность — это произведение, над которым он работает; остальное, то есть то, что мы называем действительностью, является для него лишь запасным материалом или, вернее, садком живой рыбы, из которого он при случае черпает необходимое духовное питание. Сказанное пояснит читателю, почему нередко, с большим удовольствием беседуя с эстетам, я все же не мог вполне удовлетвориться характером их дружбы. Я всегда испытывал чувство, что они глядят сквозь меня на созданные их фантазией образы. Во время беседы они внезап-

но возносятся куда-то в облака и парят над своей телесной оболочкой. Их эротическая жизнь всегда определяется жизнью произведения. Предположим, эстет покидает свою любовницу; будьте уверены, что ему нужна сцена разрыва. Если он обманывает свою жену, значит, ему надо изобразить сцену ревности. Часто я бывал поражен, когда седовласые старики с наивными глазами говорили: «Мне необходима молодая девушка, мне нужно кровосмешение, преступление».

По той же причине почти все эстеты ведут двойную жизнь; многие из них от природы верны и целомудренны, но для работы им необходимо возбуждение, которое зажигают в душе живые желания. Мартен однажды цинично объяснил мне, что единственной благоприятной для творчества атмосферой является атмосфера зарождающейся любви. «Тогда,— сказал он,— наступает короткий момент иллюзии и прилива сил, и в это время самая сложная работа кажется легкой». Поэтому он считает, что эстет должен рассматривать всякую женщину как возможную любовницу, ибо разнообразие желаний, а не их удовлетворение питает талант. «Брак,— добавил он,— или всякая постоянная связь с женщиной для выдающегося художника смерть. Я это знаю совершенно точно».

Но если любовная жизнь на Майане сложна, то жизнь политическая весьма элементарна. Эстеты отказываются заниматься политическими вопросами, и управление островом поручено комиссии из беотов. Контроль эстетов касается только публичных зрелищ, печати и иммиграции. Единственный печатный орган острова — «Газета эстетов» — публикует лишь подробные сведения о произведениях в процессе их созидания, а также о духовном и физическом самочувствии самых известных эстетов. Так, в день нашего прибытия в пси-

хариум я прочел большую статью об астме Ручко. На следующей неделе «Газета» начала печатать ряд весьма интересных статей о грезах эстетов.

Некоторые стороны деятельности городской полиции все-таки интересуют эстетов, в частности постановления о тишине и спокойствии. В квартале, где обитают хозяева Майаны, все улицы покрыты слоем каучукоподобного вещества, заглушающего шум экипажей. Запрещается пользоваться предупреждающими сигналами и даже — за исключением времени, отводимого на еду, — говорить на улице громким голосом.

Хотя у Анны нежный голосок, один из агентов литературной бригады составил на нее протокол за то, что она громко сказала: «Вот дом Альберти». К счастью, необычный шум привлек к окну самого писателя, и он уладил этот инцидент. Пользование телефоном запрещено на Майане с девяти утра до двенадцати дня. Для некоторых особо нервных эстетов правительство велело выстроить Башню Молчания, где комнаты со стенами, обитыми пробкой, плавают в масляном бассейне. Запрещается подходить ближе чем на четыреста метров к этой башне, куда имеют доступ только специальные слуги и притом в определенные часы. Беотки, выходящие замуж за эстетов, перед браком проходят курс в Школе Молчания, где с ними проводят длительные тренировки.

Анна находила, что многим эстетам не мешало бы пройти эту школу. Хотя нравы и обычаи островитян интересовали нас и мы не могли нахвалиться отношением к нам в психариуме, нас крайне тяготили ежедневные визиты, уклоняться от которых мы не имели возможности.

Ручко привязался ко мне. Однажды он спросил, как звали моего отца; с этой минуты он называл меня не иначе, как Петром Ивановичем, и каждое утро приходил ко мне на несколько часов. Я со своей стороны питал к нему симпатию. Трудно себе представить две столь различные натуры: насколько я был холоден и скуп на излияния, настолько Ручко был неспособен сдерживать свои чувства. Его душа всегда была открыта для того, кто становился его другом. Подражать ему в этом я не мог, но я уважал эту черту и невольно восхищался ею. Он был самым большим идеалистом из всех известных мне эстетов: для него не существовало ничего, кроме его творения и творений его друзей. Правда, когда я познакомился с ним, он медленно угасал от чахотки и сознавал это, но Жермен Мартен, встречавшийся с ним в молодости, говорил мне, что он всегда был таким же идеалистом.

Ручко очень огорчился из-за того, что я не писал. В его глазах жизнь, посвященная не творчеству, а чему-нибудь иному, была испорченной жизнью. Ему оставалось протянуть всего несколько месяцев, но он считал себя человеком намного более счастливым, чем я, молодой и крепкий, но занятый планами будущей деятельности, которая, с его точки зрения, была чем-то нереальным, похоронами заживо. Кажется, он в конце концов решил, что «пробудить» мое Я можно, только давая мне говорить об Анне и заставляя меня думать о моих отношениях к ней. Обычно столь сдержанный, он однажды возмутился и чуть ли не облил меня презрением, когда я заметил, что чем дольше длилось наше путешествие, тем более простые и братские чувства возбуждала во мне Анна. Эти слова свидетельствовали о мо-

ральном и физическом равновесии, которое буквально выводило из себя моего несчастного друга. Зная, ценою какой борьбы я пришел к этому умонастроению, я считал такую уравновешенность добродетелью и гордился ею. Он же, будучи к ней неспособен, презирал мое бесстрашие.

— Нет, нет,— говорил он, беря меня за руки и глядя мне пристально в глаза,— нет, Петр Иванович, вы говорите неправду! Вы сами себе лжете, вы увильваете от своего сокровенного Я... Мне хорошо известно, что эта уравновешенность, которой вы так кокетничаете, только маска и что вы достойны жить внутренней жизнью.

Когда он уходил от меня, я всегда испытывал чувство стыда, неудовлетворенности, но не мог понять, вызвано ли это чувство сознанием ничтожности моей собственной жизни или болезненными признаниями Ручко.

Иногда, покинув меня, он шел к Анне и излагал ей то, что он думал обо мне. «Что хуже всего в Петре Ивановиче,— говорил он ей,— это то, что у него гордость переходит в какой-то гонор, который душит все его истинные чувства. Он драпируется в него, как в тогу. Видите ли, Анна Михайловна, люди боятся тюрьмы, железных решеток, сторожей, а сами не видят, что замыкаются в стократ более тесной тюрьме. В темнице еще можно быть самим собой. Я иду дальше: в темнице легко быть самим собой. Но душа, в которой задавили честь и мораль, в которой стерли стремление считаться с обычаями и светом,— это мертвая душа... Так вот, Петр становится каким-то замкнутым, высокомерным; порой кажется, что он сухой человек,— он, который обладает такими духовными сокровищами!.. Это ужасно!»

Затем он брал Анну за руку и говорил:

— Анна Михайловна, прошу вас, помогите мне его спасти!

— Но от чего? — недоумевала Анна.

— Нужно, чтобы мы поставили его лицом к лицу с его истинным Я, которое он медленно в себе убивает... Он отрицает себя, замыкается в себе... Он играет какую-то непонятную мне, абстрактную роль.

Пример этого неустанного анализа, который Ручко производил над собой и над другими, оказался таким заразительным, что и Анна стала меня выпрашивать. Она, прежде столь простая, теперь не принимала ни одной фразы за истинное выражение моей мысли. Она старалась мне доказать, что я сказал то-то потому, что думал другое, совсем обратное. Жизнь становилась невыносимой. Случалось, я гляделся в зеркало и спрашивал себя: «Неужели я действительно не я сам?» И начинал этому верить.

На четвертой неделе моего пребывания на Майане я стал, по примеру эстетов, вести дневник своих переживаний. В эту минуту он у меня перед глазами — маленькая, пожелтевшая от морской воды тетрадка; извлекаю из нее несколько заметок, так как они отражают то тревожное состояние духа, в котором я жил тогда.

2 июля. Я очень подавлен. Спрашиваю себя: а может быть, Ручко прав и мне действительно суждено провести всю жизнь, играя какую-то чужую роль? Зачем я все это затеял? К чему это путешествие? Стоит ли вообще возвращаться во Францию? Я не люблю ни славы, ни шума. Не для того ли я все делаю, чтобы, как говорит Ручко, бежать от самого себя?

3 июля. Опять беседовал с Ручко. Он прав: все это для того, чтобы бежать от самого себя. Но от чего бе-

жать? И если бы я отказался от всей этой житейской сутолоки, какое Я осталось бы на дне моей души? Не будет ли это пустота, Ничто, безмолвие? Представляю ли я собой что-нибудь иное, чем мои фразы, мои жесты?

4 июля. Катался весь день по озеру, а вечером поднялся на пик. Чувствую себя лучше... Действовать, двигаться, ощущать силу и усталость своего тела.

5 июля. Я, я и опять я... Но что я такое? Не эти ли пальмы или это море, а может быть, тот далекий мыс или вот эта бумага, на которой я пишу?.. Если уничтожить все это, что тогда останется? Порою при воспоминании о последней буре меня охватывает страх... Я ведь мог умереть,— да, умереть, не успев пожить.

6 июля. Апология моей жизни. Я не жил, не живу и никогда не буду жить.

7 июля. Я глубоко несчастен.

8 июля. Против собственной воли, обругав себя наивным, педантом, я начинаю поэму в прозе, заимствуя форму у Снэйка:

— И снова судно мое взмывает на крутизну волны, вздыбившись, как поезд, поднимающийся по горному склону, и опять падает вниз с треском ломающегося дерева, падает между вершинами в слишком узкую котловину.

— И думаю я: «Ах, боже, если бы я был уверен, что нас поглотит волна, я б попросил ее перед смертью подарить мне один поцелуй с привкусом морской воды».

— Тогда я охотно умру, ибо смерть неизбежна рано или поздно...

Что со мной? Я, кажется, схожу с ума, Майана мне, видно, не идет впрок. Пьер Шамбрелан, возьми себя в руки!

9 июля. Я не смог удержаться от болезненного желания показать начало моей поэмы Ручко и попросить

его изложить свое мнение. Особенного восторга он не выразил — и вот что важно: это меня немножко обидело. Неужели я сам становлюсь эстетом?.. Зато он слишком уж заинтересовался тем, что он называет «разоблачительными подробностями половой жизни»... Эстеты всегда хотят увидеть сквозь призму произведений других авторов тот роман, который они сами сочиняют, слушая чужие рассказы.

10 июля. Ручко принес мне поэму Снэйка «Желание» (что это — намек на критику или образец для подражания?). У меня остались в памяти четыре стиха: «Я жаждал вас, как никогда не жаждал человек, горло мое пересохло, глаза сверкали... ваш открытый рот — разверзшееся небо, воспоминание о вашем аромате — агония».

Конечно, это хорошо сделано, но мне кажется, что я мог бы написать не хуже. Я спросил у Ручко, давно ли Снэйк сочинил эти стихи. «Нет, — ответил он, — на прошлой неделе».

После ухода Ручко я совершил большую прогулку по берегу озера. Как я устал от этого солнца, от этих золотых рыб, от этих кокосовых деревьев! Как легко утомляешься от созерцания самых замечательных красот природы! Полная неподвижность или вечное движение, Будда или Моран — вот единственные формы счастья.

Выписывая некоторые места из дневника, я невольно воскресил в себе то меланхолическое настроение, которое тогда владело моей душой. Несмотря на необычайную красоту тех мест, несмотря на мягкость климата и радушие островитян, признаюсь — я был несчастен на Майане, тем более что Жермен Мартен как будто находил своеобразное удовольствие в том, чтобы му-

чить меня. Он приходил ко мне регулярно через день и, по-видимому, задался целью возбудить во мне ревность к Снэйку. И он тоже не допускал мысли, что я не влюблен в Анну.

— Я немного беспокоюсь за моего молодого друга Снэйка,— говорил он мне медленно, красивым, но слегка наигранным тоном.— Он часто видится с вашей прекрасной соседкой и вчера вечером говорил мне о ней таким образом, что мне это совсем не понравилось... Притом он стал работать меньше и хуже: последние две поэмы, которые он мне показал, отмечены чувственным, грубым лиризмом, совершенно недостойным такого великого майанского поэта, каким является Снэйк.

— Вы мне частенько говорили, мосье Мартен, что Снэйк — нематериальное существо. По-видимому, он находит невинное удовольствие в том, чтобы витать вокруг Анны; это совсем не опасно для него, как и для нее... Ведь Снэйк скорее призрак, чем живой человек.

— Н-да,— ответил Мартен без особой убежденности,— но слово «нематериальный», когда дело идет о человеческом существе, никогда не нужно понимать слишком буквально. Я припоминаю, что во время моих бесед со Снэйком о чувственной любви он обнаружил такую эрудицию в этой области, которая не могла не показаться мне удивительной у столь молодого человека... Впрочем, раз вы сами не беспокоитесь, все прекрасно... Ведь только за вас я болел душой, ибо о Снэйке заботиться не приходится. Если он очень захочет вашу спутницу, майанский закон предоставит ему ее без всяких формальностей... Иностранки приравниваются к беоткам в отношении брака с эстетами.

— Как? — спросил я.— Не понимаю... Вы же не можете выдать Анну замуж против ее воли! Так поступают дикари... Да и сама Анна...

Мартен медленно и властно поднял руку:

— Дорогой друг!.. Не станете же вы воображать, что мы позволим простой смертной своим длительным сопротивлением воспрепятствовать созданию шедевра?.. Конечно, нужен известный период ожидания, ибо это благоприятствует зарождению сильных волнений, но мы не потерпим, чтобы желание довело до психического расстройства.

Не помню точно, что я ему ответил, но это была, вероятно, страстная и довольно бессвязная мольба. Он молча на меня посмотрел и затем залился дьявольским смехом.

— Оч-чень интересно,— сказал он.

8

Солнце светило ярко, море отливало фиолетовыми красками, цветы в саду психариума пленяли красотой, но... я возненавидел Майану.

Я чувствовал, что меня все глубже засасывает болото самоанализа, что я начинаю походить на худших из эстетов, что моя жизнь превратилась в неустанные размышления о самом себе, которые медленно отравляют душу. Анна тоже потеряла яркий цвет лица, какой у нее был во время нашего путешествия, и таяла прямо на глазах. Нужно было бежать. Почти каждое утро я спускался в порт, чтобы узнать, ремонтируют ли наш корабль. Плотник-беот медленно заменял доски, прибивал бушприт, но когда я спрашивал его, скоро ли он закончит работу, вопрос его как будто смущал, и он отвечал, что «эти господа» еще не дали приказаний на сей счет.

Бедняга Ручко дышал с трудом: как только он пытался прилечь, чтобы уснуть, астма душила его. Врачи

заявляли, что он так протянет дней восемь или десять, не больше. Вся Майана следила за агонией с благоговейным сочувствием; это было действительно героическое зрелище. Ручко прожил последние часы, диктуя заметки о своей болезни (писать он уже не мог). Они назывались «Смерть Ручко». Посещая умирающего, я прослушал несколько отрывков оттуда; никогда я не читал ничего более прекрасного. Каждый прилив страдания был описан с изумительной ясностью ума и властью над формой. Для меня, слышавшего этот рассказ, смерть уже не является незнакомкой, какой она была раньше; она теперь столь же понятна моему уму, как любовь или буря.

Желая вложить все свои силы в этот последний труд, наш друг закрывал глаза и наблюдал за тем, что происходит в нем, в его умирающем теле. С волнением, бывало, пробираешься на цыпочках в его комнату, где известнейшие эстеты молча стоят вокруг ложа Ручко, лежащего с закрытыми глазами, а молодые девушки-беотки ловят звук его все более слабеющего голоса. Тогда я понял, каким величием отмечен путь эстетов, несмотря на все их недостатки.

Но не только эта трагедия сделала наше пребывание на острове кошмарным. В то время как Ручко агонизировал, Снэйк сходил с ума. По крайней мере в том смысле, который придают этим словам эстеты: они настолько своеобразно понимают слово «сумасшествие», что я затрудняюсь объяснить это читателю. Пусть он припомнит, что эстет в нормальном состоянии считает живой мир фантазией, а мир искусства — реальностью. Если происходит взаимное перемещение этих понятий, если больной эстет начинает смотреть на жизнь как на нечто действительное и имеющее значение, доходя до пренебрежения своим искусством, то майанские врачи

констатируют у него душевную болезнь. Поймут ли меня, если я скажу, что майанское сумасшествие есть галлюцинация «наоборот»?

Так вот, это и случилось со Снэйком. Уже несколько дней Мартен говорил мне с беспокойством, что Снэйк отказывается работать. Я, впрочем, не придавал большого значения его сообщениям, считая, что он делает это, дабы возбудить мои ревнивые подозрения. Но однажды утром я увидел, что Мартен искренно взволнован и очень мрачен.

— Нашего бедного Снэйка,— сказал он мне,— завтра должны осматривать психиатры; боюсь, что ему предпишут принудительный отдых в доме умалишенных на несколько месяцев. А жаль: Снэйк был одним из самых светлых умов этого острова и великим поэтом... Знаете, мы, эстеты, напрасно считаем пустяками приезды иностранцев. Они, правда, обогащают наши представления о типах человека, но большой художник создает свои типы без моделей, а опасность при этих посещениях намного превышает пользу... Итак...

Он хлопнул меня по плечу и сказал с серьезностью, которой я раньше за ним не замечал:

— Видите ли, Шамбрелан, если я когда-нибудь возглавлю иммиграционную комиссию, я больше не разрешу въезжать сюда женщинам... Другое дело наши беотки: они покорные создания, и не помышляющие о вмешательстве в жизнь мужчины... Но европейка! Американка!.. Подвергать нежный и драгоценный механизм ума эстета кокетству и капризам одного из этих ужасных существ... Нет, доколе у меня будет хоть какая-нибудь власть над эстетами, этого больше не повторится... А что касается вас, дорогой друг, и вашей спутницы, любовницы, сестры — называйте ее как угодно,— то предлагаю вам поскорее уехать... когда захотите.

— Вы говорите серьезно?.. Мы можем уехать?

— Сегодня утром я приказал Ведомству общественных работ приготовить ваше судно как можно быстрее... Оно будет готово самое позднее через неделю.

Должен сознаться: несмотря на то что перемена его настроения была обусловлена печальными причинами (сумасшествием бедного очаровательного Снэйка), невыразимая радость наполнила все мое существо. Но я понял, что было бы нетактично слишком явно обнаружить это чувство.

— Расскажите мне о Снэйке,— попросил я.— Что с ним случилось? У него был припадок?

— Да,— сказал Мартен.— Вот как это произошло. Я не скрывал от вас, что Снэйк влюбился в вашу подругу. Я придавал этому мало значения; но позавчера, видя, что Снэйк не думает о своей работе и едва отвечает, когда его спрашивают о новой поэме, я предложил передать ему эту особу на три или шесть месяцев через Комиссию эстетских браков, в которой я состою товарищем председателя... Представьте себе мое удивление, когда он решительно отказался!

— Отказался?! — радостно воскликнул я.

— Да, отказался,— возмущенно подтвердил Мартен,— и указал мне, что Анна любит вас, что она это сама ему сказала и что он согласен удержать ее при себе только в том случае, если она на это добровольно согласится... Перед лицом такой ужасной галлюцинации я вынужден был позвать врача. К сожалению, диагноз не оставлял места никаким сомнениям: глубокая вера в реальность жизни — опасный психоз в первой стадии... Ну, а сегодня он, наверное, покажется экспертам еще более тяжелым больным, ибо со вчерашнего вечера бредит: он говорит, что поэма есть лишь искусственное сочетание слов, что всякий худож-

ник — мистификатор, что один час истинной любви стоит книг всего мира! Словом, явное помешательство.

Должен сознаться, что я выказал некоторое малодушие. Для меня лично было ясно, что никогда Снэйк не был более нормален, чем теперь, но к чему это говорить? Интеллект эстета работает не так, как наш. В том смысле, в котором всякий эстет, подобно Мартену, употребляет слово «сумасшествие», Снэйк был помешанным.

Когда я открываю мой майанский дневник на странице, где я в последний раз отметил свои переживания, я там не нахожу ни слова о болезни Снэйка, но только одно: «Анна любит вас, она это сама ему сказала».

9

Наш корабль был заново окрашен и снабжен большими желтыми парусами, приятно сочетавшимися с яркой синевой моря. У двери психариума миссис Александер расцеловалась с Анной. «Простите,— сказала она,— что я против своей воли так долго держала вас в плену».

— Миссис Александер! — сказала Анна. — Вы ведь превратили наше пребывание здесь в истинное наслаждение!..

— Надеюсь, что нет,— ответила миссис Александер со свойственной ей загадочной и грустной улыбкой. — Мне бы хотелось, чтобы при воспоминании о Майане вы испытывали некоторый страх: надо, чтобы Майана заставила полюбить все то, что не имеет к ней никакого отношения.

— Я же вам это обещала,— сказала Анна.

Они, по-видимому, намекали на беседы, которые ранее вели на эту тему и в которые я не был посвящен.

Я отошел на несколько шагов; они обнялись еще раз, и Анна бегом догнала меня.

Жермен Мартен пришел в гавань попрощаться с нами. Мы были искренне опечалены предстоящей разлукой. Если он немного и играл нашими чувствами, мы все прощали ему за ум и привлекательность. Мы были здесь так мало, но уже успели приобрести и, увы, потерять стольких друзей! Из трех судей, встретивших нас на этом самом берегу, при нашем отъезде присутствовал только один. У Анны были красные глаза, у меня, может быть, тоже. Мартен, как настоящий эстет, далекий от подобных чувств (психоз первой степени!), при виде нашего волнения вынул записную книжку и сделал в ней какую-то пометку.

Моряки-беоты подняли на борт ящики со съестными припасами. Майанцы оказались очень внимательными, и мы увозили с собой больше продовольствия и воды, чем это было нужно для короткого рейса до Таити. Мартен нарочно говорил только о мелочах; он хотел, чтобы сцена отъезда была словно какая-нибудь глава из его книги. В момент расставания он сказал: «Прощайте и... не забудьте написать мне, как кончилась история».

Мы медленно отплыли, наши паруса надулись, мы обогнули мыс, на краю которого, среди красных скал, находилась могила бедного Ручко. А с другой стороны, среди пальмовых деревьев, белел дом с балконами, в цветах: то была больница, где Снэйк вызывал в памяти слишком реальное лицо Анны.

Солнце садилось в багряно-золотом небе; море слабо зыбилось, точно зеркальная поверхность озера, маленькие лиловатые облака побледнели и растаяли. Над нами задрожали первые звезды. Сидя на палубе, мы с Анной долго говорили об эстетах. Теперь, когда благодаря

разделяющему нас морю эстеты уже отодвинулись в прошлое, при мысли о них у нас возникало какое-то сладостное ощущение странного величия.

— Да,— сказал я,— они освободились от оков материи, и это в сущности то, к чему направлены усилия человечества; другие народы стараются победить вещественное магией, религией, наукой; эстеты избрали более короткий путь... Они нас перегнали.

— Верно,— согласилась Анна,— но... я спрашиваю себя: освободились ли они или лишь хотят верить, что это так? Да и счастливы ли они?

— Смотря кто... Думаю, что Ручко был счастлив.

— Да, Ручко был счастлив, потому что он верил... А между тем... этот дневник... Мне кажется, что истинно счастливый человек не ощущал бы потребности жить таким образом дважды... Если хотите, можно сказать, что Ручко был несчастный человек, который сумел уйти от своего несчастья.

— А разве не в этом счастье?

— Нет-нет,— сказала она, качая головой с радостным доверием,— нет, я считаю, что есть настоящее счастье.

Она на мгновение задумалась, затем продолжала:

— А Снэйк?.. Думаете ли вы, что он был счастлив?

— До того момента, пока он не увидел вас, он был очень счастлив... Помните, ведь в день нашего прибытия он казался молодым богом. Но вы его сбросили с облачных высей на землю. Ему придется лечиться от этого потрясения. Затем он снова взлетит вверх и будет спасен. Что касается Мартена, то это менее вероятно.

— Я очень люблю Мартена,— заметила Анна.

— И я тоже, не знаю почему.

Она глубоко вдохнула теплый воздух и провела языком по губам.

— Какой же приятный вкус у морской соли!

Затем она продолжала разговор об эстетях.

— А что ожидает их в будущем? Чем будет Майана лет через двадцать?

— Кто знает? Может быть, когда все беоты превратятся в эстетов, некому будет обрабатывать почву, стряпать и вообще работать... И, может быть, весь остров умрет от голода, даже не заметив этого.

— Или наоборот,— возразила Анна,— беоты возмущаются, сочтут себя жертвами слишком долгого заблуждения и уничтожат без остатков всю эстетскую цивилизацию?

— Все возможно, дорогая Анна, решительно все возможно.

Анна взяла мою руку и обвила ею свои плечи.

Взошла луна и разбудила серебристые облака. Под кормой «Аллена» с нежным шумом плескались мелкие волны. Аромат Анны, столь тонкий и знакомый, смешивался с благоуханием морской ночи. Я думал о поэме бедного Снэйка: «Ваш раскрытый рот — разверзшееся небо...» Медленно склонившись к этому рту, я мог бы вкусить полное блаженство, если бы в сердце не закралось смутное ощущение, что, скрытый завесой молчаливой ночи, нас подстерегает исполинский эстет.

УДИВИТЕЛЬНАЯ КОНЧИНА
ДАДЛИ СТОУНА

— Жив!

— Умер!

— Живет в Новой Англии, черт возьми.

— Умер двадцать лет назад!

— Пустите-ка шапку по кругу, и я сам доставлю вам его голову!

Вот такой разговор произошел однажды вечером. Завел его какой-то незнакомец, с важным видом он изрекал, будто Дадли Стоун умер. «Жив!» — воскликнули мы. И уж нам ли этого не знать? Не мы ли последние могикане, последние из тех, кто в двадцатые годы курил ему фимиам и читал его книги при свете пламенеющего, исполнившего обеты разума?

Тот самый Дадли Стоун. Блистательный стилист, самый величественный из всех литературных львов. Вы помните, конечно, как вас ошеломило, сбilo с ног, как затрубили трубы судьбы, когда он написал своим издателям вот эту записку:

Господа, сегодня, в возрасте тридцати лет, я покидаю свое поприще, расстаюсь с пером, сжигаю все, что создал, выбрасываю на свалку свою последнюю рукопись. На том привет и прости-прощай.

Искренне Ваш Дадли Стоун.

Гром среди ясного неба.

Шли годы, а мы при каждой встрече опять и опять спрашивали друг друга:

— Почему?

Совсем как в рекламной радиопередаче, мы обсуждали на все лады, что же заставило его махнуть рукой на писательские лавры — женщины? Или вино? А может, это лошади обскакали его и вынудили прекрасного иноходца сойти с круга в самом расцвете сил?

Мы уверяли всех и каждого, что, продолжай Стоун писать, перед ним померкли бы и Фолкнер, и Хемингуэй, и Стейнбек. Тем печальнее, что на подступах к величайшему своему творению он вдруг отвернулся от него и поселился в городе, который мы назовем Безвестность, на берегу моря, самое верное название которому — Былое.

Почему?

Это так и осталось загадкой для всех нас, кто различал проблески гения в пестрых страницах, вышедших из-под его пера.

И вот несколько недель назад, однажды вечером, поглядев друг на друга, мы задумались над безжалостной работой времени, над тем, что лица у всех у нас все больше обмякают и все заметней редеют волосы, и вдруг нас взбесило, что нынешняя публика ровным счетом ничего не знает о Дадли Стоуне.

«Томас Вулф, — ворчали мы, — прежде чем ухнуть в пучину вечности, по крайней мере вовсю насладился успехом. И по крайней мере критики толпой глядели ему вслед, точно огненному метеору, прорезавшему тьму. А кто ныне помнит Дадли Стоуна, кто помнит кружки, что собирались вокруг него в двадцатые годы, неистовство его последователей?»

— Шапку по кругу, — сказал я. — Я скатаю за триста миль, ухвачу Дадли Стоуна за шиворот и скажу ему:

— Послушайте, мистер Стоун, что ж это вы нас так

подвели? Почему за двадцать пять лет не удосужились написать ни одной книги?

В шапку накидали звонкой монеты, я отправил телеграмму и сел в поезд.

Сам не знаю, чего я ожидал. Быть может, что на станции меня встретит высохшая мумия, бледная тень, дряхлый старец на неверных ногах, с еле слышным голосом, будто шелест осенних трав на ночном ветру. И когда поезд пыхтя подкатил к платформе, я внутренне сжался от тоскливого предчувствия. Сумасбродный простофиля, я сошел на безлюдной захолустной станции, в миле от моря, не понимая, чего ради меня сюда занесло.

Доска у железнодорожной кассы заросла толстым слоем всевозможных объявлений, их, видно, из года в год наклеивали или набивали одно на другое. Сняв несколько геологических пластов печатного текста, я наконец нашел то, что мне было нужно. Дадли Стоун — кандидат в члены Совета округа, в шерифы, в мэры! Его фотографии, выцветшие от солнца и дождя бюллетени, на которых он был почти неузнаваем, сообщали о том, что он год от году добивался в этом приморском краю все более ответственных постов. Я стоял и читал.

— Привет! — донеслось до меня откуда-то сзади.--- Это вы и есть мистер Дуглас?

Я круто обернулся. Прямо на меня по платформе мчался человек великолепного сложения, крупный, но ничуть не толстый, ноги у него работали как могучие рычаги, в лацкане пиджака — яркий цветок, на шее — яркий галстук. Он стиснул мою руку и поглядел на меня с высоты своего роста, точно микеланджеловский Создатель, своим властным прикосновением сотворивший Адама. Лицо его было точно лики южных и северных ветров,

что грозят зноем и холодом, на старинных мореходных картах. Такое пышущее жаром жизни лицо — символ солища — встречаешь в египетской каменной резьбе.

«Господи,— подумал я.— И этот человек за двадцать с лишним лет не написал ни строчки? Не может быть! Он такой живой, прямо до неприличия. Я, кажется, слышу, как мерно бьется его сердце».

Должно быть, я преглупо вытаращил глаза, ошарашенный этим зрелищем.

— Признайтесь,— со смехом сказал он,— вы ожидали встретить привидение?

— Я...

— Жена накормит нас тушеным мясом с овощами, и у нас вдосталь эля и крепкого портера. Люблю звучанье этих слов. Приятно слышать такие слова. От слов этих веет здоровьем, румянцем во всю щеку. Крепкий портер!

На животе у него подпрыгивали массивные золотые часы на сверкающей цепочке. Он сжал мой локоть и потащил меня за собой — чародей, влекущий в свое логово незадачливого простофилю.

— Рад познакомиться! Вы, наверно, приехали, чтобы задать мне все тот же вопрос, а? Что ж, не вы первый. Ну, на этот раз я все выложу!

Сердце мое так и подпрыгнуло.

— Замечательно!

За безлюдной станцией ждал открытый форд выпуска 1927 года.

— Свежий воздух. Когда едешь вот так в сумерках, все поля, травы, цветы — все вливается в вас вместе с ветром. Надеюсь, вы не из тех, кто только и делает, что закрывает окна! Наш дом — как вершина столовой горы. Комнаты у нас подметает ветер. Залезайте.

Десять минут спустя мы свернули с большака на дорогу, которую уже многие годы не выравнивали и не ут-

рамбовывали. Стоун вел машину прямо по выбоинам и ухабам, с лица его не сходила улыбка. Бац! Последние несколько ярдов нас трясло вовсю, но вот наконец мы подкатили к запущенному, некрашеному двухэтажному дому. Форд тяжело вздохнул и затих.

— Хотите знать правду? — Стоун обернулся, крепко ухватил меня за плечо, заглянул в глаза. — Ровно двадцать пять лет назад один человек пристрелил меня из револьвера.

И он выскочил из машины. Я оторопело уставился на него. Он был как каменная глыба, отнюдь не привидение, и однако я понял: в словах, что он бросил мне, перед тем как пулей устремиться в дом, есть какая-то правда.

— Это моя жена, это наш дом, а вот и ужин! Взгляните, каков вид! Окна гостиной выходят на три стороны — на море, на берег и на луга. Мы их никогда не закрываем, только зимой. Среди лета к нам сюда доносится запах цветущей липы, вот честное слово, а в декабре веет Антарктикой — нашатырным спиртом и мороженым. Садитесь! Лена, ведь, правда, приятно, что он приехал?

— Надеюсь, вы любите тушеное мясо с овощами, — сказала Лена. Рослая, крепко сбитая, она ловко управлялась с добротной, массивной посудой, которую не разбил бы кулаком и великан, и озаряла стол ярче всякой лампы; лицо ее, точно ясное солнышко, так и светилось доброжелательством. Ножи в этом доме были под стать львиным зубам. Над столом поднялось облако аппетитнейшего пара и повлекло нас, ликующих чревоугодников, прямоком в ад. Тарелка моя наполнялась трижды, и раз от разу я чувствовал, что сыт, сыт по горло и, наконец, по самые уши. Дадли Стоун налил мне пива, которое, по

его словам, сам сварил из моливших о пощаде черных гроздьев дикого винограда. А потом он взял бутылку, в которой не осталось уже ни капли вина, и, дуя в зеленое стеклянное горлышко, быстро извлек из нее нехитрую мелодийку.

— Ну ладно, довольно я вас томил,— сказал он, вглядываясь в меня из той дали, которая разъединяет людей еще больше, когда они выпьют, но в иные минуты кажется им самой близостью.— Я расскажу вам, как меня убили. Поверьте, я еще никому этого не рассказывал. Вам знакомо имя Джона Оутиса Кенделла?

— Второсортный писатель, который подвизался в двадцатые годы? — сказал я.— У него было несколько книг. Выдохся к тридцать первому году. Умер на прошлой неделе.

— Мир праху его.— На мгновение, как и подобает, мистер Стоун примолк и опечалился, но едва заговорил, печаль как рукой сняло.

— Да. Джон Оутис Кенделл. Выдохся к тысяча девятьсот тридцать первому году. Писатель, который многое обещал.

— Меньше, чем вы,— поспешно вставил я.

— Ну-ну, не торопитесь. Мы вместе росли, Джон и я, родились в соседних домах, тень одного и того же дуба падала на мой дом утром, а на его — вечером. Вместе переплывали каждую встречную речушку, обоим нам приходилось худо от зеленых яблок и от первых сигарет, обоим завиделся волшебный свет в белокурых волосах одной и той же девушки, и нам еще не исполнилось двадцати, когда оба мы отправились искать счастья, брать судьбу за бока и набивать синяки и шишки. Поначалу у обоих получалось неплохо, но с годами я стал его обходить, и он все больше отставал. Если на его первую книгу был один хороший отзыв, то на мою их было шесть,

если на меня была одна плохая рецензия, на него десяток. Мы были точно два друга в одном поезде, а потом публика расцепила вагоны, Джон Оутис остался позади, в тормозном вагоне, и кричал мне вслед:

— Спаси меня! Ты оставляешь меня в Тэнктауне, в Огайо, а ведь у нас один путь.

А кондуктор объяснял:

— Путь-то один, да поезда разные!

И я кричал:

— Я верю в тебя, Джон! Не падай духом, я за тобой вернусь!

И тормозной вагон все больше отставал, его было уже не разглядеть, только красный и зеленый фонари, точно вишневый и лимонный леденцы, еще светились во тьме, и мы всю душу вкладывали в прощальные крики: «Джон, старина!», «Дадли, дружище!», и Джон Оутис очутился в полночь на неосвещенной боковой ветке, позади пакгауза, а мой паровоз на всех парах с шумом и грохотом мчался к рассвету.

Дадли Стоун замолчал и тут заметил полнейшее мое недоумение.

— Я не зря все это рассказываю,— сказал он.— Этот самый Джон Оутис в тысяча девятьсот тридцатом году продал кой-какую старую одежду и оставшиеся экземпляры своих книг, купил револьвер и явился в этот самый дом, в эту самую комнату.

— Он замышлял вас убить?

— Черта с два замышлял. Он меня убил! Бах! Хотите еще вина? Так-то оно лучше.

Миссис Стоун подала слоеный торт с клубникой, а Дадли Стоун наслаждался моим лихорадочным нетерпением. Он разрезал торт на три огромные доли и, раскладывая их по тарелкам, глядел на меня словно кот на сметану.

— Вот тут, на вашем стуле, сидел Джон Оутис. Во дворе у нас в коптильне — семнадцать окороков, в винном погребе — пятьсот бутылок превосходнейшего вина, за окном — простор, дивное море во всей красе, в небе луна, точно блюдо прохладных сливок, весна в разгаре, за столом напротив — Лена, гибкая ива под ветром, смеется всему, что я скажу и о чем промолчу, и, не забудьте, обоим нам по тридцать, всего-навсего, жизнь наша — чудесная карусель, все нам улыбается, книги мои продаются хорошо, письма восторженных читателей захлестывают меня пенным потоком, в конюшнях ждут лошади и можно скакать при луне к морским бухтам и слушать в ночи, как шепчет море или мы сами — все, что нам заблагорассудится. А Джон Оутис сидит на том месте, где вы сейчас, и медленно вытаскивает из кармана вороненый револьвер.

— Я засмеялась, думала, это такая зажигалка, — вставила миссис Стоун.

— И вдруг Джон Оутис говорит: «Сейчас я убью вас, мистер Стоун», — и я понял, что он не шутит.

— Что же вы сделали?

— Сделал? Я был оглушен, раздавлен. Я услышал, как захлопнулась надо мной крышка гроба! Услышал, как с грохотом, точно уголь в подвал, сыплется земля на мое последнее жилище. Говорят, в такие минуты перед тобой проносится вся жизнь, все твоё прошлое. Чепуха. Ты видишь будущее. Видишь, как лицо твоё превращается в кровавое месиво. Сидишь и собираешься с силами и наконец еле-еле выдавишь из себя: «Да что ты, Джон, что я тебе сделал?»

— Что ты мне сделал? — заорал он.

И окинул взглядом длинную полку и молодецкий отряд выстроившихся на ней книг — на каждом корешке, на черном сафьяне, точно пантерий глаз, сверкало мое

имя. «Что сделал?» — ужасным голосом выкрикнул он. И рука его, дрожа от нетерпения, стиснула рукоятку.

— Осторожней, Джон, — сказал я. — Что тебе надо?

— Только одно, — сказал он. — Убить тебя и прославиться. Пускай обо мне кричат газеты. Пускай и у меня будет слава. Пускай знают, пока я жив и даже когда умру: я тот, кто убил Дадли Стоуна!

— Ты не сделаешь этого!

— Нет, сделаю. Я буду знаменит. Куда знаменитей, чем теперь, когда ты меня затмил. Ого, ты еще не знаешь, никто, никто на свете не умеет так ненавидеть, как писатель. Господи, как я люблю твои книги, господи, как я ненавижу тебя за то, что ты так великолепно пишешь. Поразительное раздвоение. Но больше мне нестерпимо. Писать, как ты, мне не под силу, так я найду другой путь к славе, полегче. Я покончу с тобой, пока ты не достиг расцвета. Говорят, следующая твоя книга будет лучше всех, будет самой блистательной!

— Это преувеличение.

— А я думаю, это чистая правда, — сказал он.

Я перевел взгляд на Лену — она сидела испуганная, но не настолько, чтобы закричать или вскочить и смешать все карты.

— Спокойно, — сказал я. — Спокойствие. Повремени, Джон. Дай мне всего одну минуту. Потом спустишь курок.

— Нет, — прошептала Лена.

— Спокойствие, — сказал я: ей, себе, Джону Оутису.

Я поглядел в открытые окна, ощутил дыхание ветра, вспомнил вино в погребе, прибрежные бухты, море, лунный диск, от которого, точно мятой, веют прохладой летние небеса и вспыхивают пламенеющие облака соленых испарений, и звезды влекутся за ним по кругу, к рассвету. Подумал о том, что мне только тридцать и Лене

тоже, и у нас вся жизнь впереди. Подумал о прелести бытия, которая, точно спелый плод, только и ждет, чтобы я ею насладился! Я никогда еще не взбирался на горы, не пересекал океана, не баллотировался в мэры, не нырял за жемчугом, у меня никогда еще не было телескопа, я ни разу не играл на сцене, не строил дома, не прочел всех классиков, которых мне так хотелось прочесть. Столько еще предстояло сделать!

В эти молниеносные шестьдесят секунд я подумал наконец и о своей карьере. Об уже написанных книгах, о тех, которые еще писал, и о тех, что собирался написать. О рецензиях, о больших тиражах, о нашем внушительном счете в банке. И, хотите верить, хотите нет, впервые в жизни почувствовал себя свободным от всего этого. В один миг я обратился в критика. Я взвесил все. На одной чаше весов — корабли, на которых не плавал, цветы, которые не сажал, дети, которых не растил, горы, которых не видел, и надо всем моя Лена — богиня всего этого изобилия. Посредине — опора весов, Джон Оутис Кенделл с его револьвером. А на второй, пустой чаше — мое перо, чернила, чистая бумага, десяток моих книг. Я подбавил туда и сюда еще кое-какой мелочи. Шестьдесят секунд истекали. Вечерний ветерок залетел в растворенные окна. Коснулся завитка волос на шее у Лены, о господи, как нежно коснулся, как нежно...

Револьвер был наставлен на меня в упор. Мне случилось видеть снимки лунных кратеров и провал в пространстве, который называют Большим угольным мешком, но, поверьте, дуло пистолета, нацеленного на меня, разверзлось куда шире.

— Джон, — сказал я наконец, — неужто ты так меня ненавидишь? И все из-за того, что мне повезло, а тебе нет?

— Да, черт возьми! — крикнул он.

Как нелепо, что он мне завидовал. Уж не настолько лучше я писал. Легкое движение руки — и все переменится.

— Джон, — сказал я спокойно, — если тебе надо, чтобы я умер, я умру. Ты, наверно, хочешь, чтобы я больше не написал ни строчки?

— Еще как хочу! — крикнул он. — Приготовься!
И прицелился мне в сердце!

— Ладно, — сказал я, — больше я писать не стану.

— Что?

— Мы с тобой старые друзья, мы никогда не лгали друг другу, верно? Так вот тебе мое слово: никогда больше мое перо не коснется бумаги.

— О господи, — он презрительно и недоверчиво засмеялся.

— Вон там, — я кивнул в сторону письменного стола, — лежат единственные экземпляры двух моих рукописей, я работал над ними последние три года. Одну я сожгу прямо сейчас, у тебя на глазах. А другую можешь сам бросить в море. Обыщи весь дом, возьми всю испсанную бумагу до последнего листочка, сожги мои опубликованные книги тоже. Пожалуйста.

Я поднялся. В эту минуту он мог бы меня пристрелить, но мои слова заворожили его. Я швырнул одну рукопись в камин и чиркнул спичкой.

— Нет! — вырвалось у Лены. Я обернулся.

— Я знаю, что делаю, — сказал я.

Она заплакала. Джон Оутис Кенделл смотрел на меня во все глаза, точно околдованный. Я принес ему вторую, еще не опубликованную рукопись.

— Пожалуйста, — сказал я и подsunул рукопись ему под ногу, как под пресс-папье. Потом отошел и сел на свое место. Дул ветерок, вечер был теплый, и сидящая напротив меня Лена была белее яблоневого цвета.

— Отныне я не напишу ни строчки,— сказал я.

К Джону Оутису наконец вернулся дар слова:

— Как же ты можешь?

— Зато все будут счастливы,— сказал я.— Я хочу, чтобы ты был счастлив — ведь в конце концов мы снова станем друзьями. И Лена будет счастлива — ведь я опять буду просто ее мужем, а не дрессированным моржом, который пляшет под дудочку своего литературного агента. И сам я тоже буду счастлив — ведь лучше быть живым человеком, чем мертвым писателем. Когда тебе грозит смерть, чего не сделаешь! Ну, а теперь бери мою последнюю рукопись и ступай отсюда.

Мы сидели здесь втроем, вот как с вами сейчас. Пахло лимоном, липой, камелией. Внизу бился о камни и ревел океан. Чудесная музыка, пронизанная лунным светом. И наконец Джон Оутис подобрал рукопись и понес вон из комнаты, точное мое бездыханное тело. На пороге он приостановился и сказал:

— Я тебе верю.

И вышел. Я слышал, как отъехала его машина. Тогда я уложил Лену в постель. Не часто мне случалось на ночь глядя ходить одному по берегу моря, но сейчас я пошел. Я дышал полной грудью, ощупывал свои руки, ноги, лицо и плакал как малый ребенок; я вошел в воду и с наслаждением ощущал, как холодный соленый прибой пенится у моих ног и обдает меня миллионами брызг.

Дадли Стоун примолк. Время в комнате остановилось. Мы все трое точно по волшебству перенеслись в прошлое, в тот год, когда совершилось убийство.

— И он уничтожил ваш последний роман? — спросил я.

Дадли Стоун кивнул.

— Неделию спустя на берег вынесло одну страницу. Он, наверно, швырнул их со скалы, всю тысячу страниц,

я так ясно представляю: точно стая белых чаек опустилась на воду и в глухой предрассветный час ее унесло отливом. Лена бежала по берегу с той единственной страницей в руках и кричала: «Смотри, смотри!» И когда я увидел, что она мне дает, я швырнул листок назад, в океан.

— Неужто вы сдержали слово?

Дадли Стоун посмотрел на меня в упор.

— А вы бы как поступили на моем месте? В сущности, Джон Оутис оказал мне милость. Он не убил меня. Не застрелил. Выслушал меня. И поверил мне на слово. Оставил меня в живых. Дал мне возможность и дальше есть, спать, дышать. Он в один миг раздвинул мои горизонты. И я был так ему благодарен, что стоял в ту ночь чуть не по пояс в воде и плакал. Да, был благодарен. Понимаете ли вы, что это значит? Благодарен, что он оставил меня в живых, когда одним движением руки мог меня уничтожить.

Миссис Стоун поднялась, ужин был окончен. Она собрала посуду, мы закурили сигары, и Дадли Стоун провел меня в свой кабинет, к столу, на котором громоздились пакеты, кипы газет, бутылки чернил, пишущая машинка, всевозможные документы, гроссбухи, алфавитные указатели.

— Все это уже накалило во мне. Джон Оутис просто снял сверху пену, и я увидел само варево. Все стало ясно — ясней некуда. Писательство было для меня той же горчицей, я писал и черкал с тяжелым сердцем и растравлял себе душу. И уныло смотрел, как алчные критики разделявали меня, разбирали на части, нарезали ломтями, точно колбасу, и за полночь закусывали мной. Грязная работа, куда уж хуже. Я уже и сам был готов махнуть на все рукой. Совсем доспел. И тут — бац! — явился Джон Оутис! Взгляните.

Он порылся на столе и вытащил пачку рекламных листков и предвыборных плакатов.

— Прежде я только писал о жизни. А тут захотел жить. Захотел что-то делать сам, а не писать о том, что делают другие. Решил возглавить местный отдел народного образования — и возглавил. Решил стать членом окружного управления — и стал. Решил стать мэром. И стал. Был шерифом! Был городским библиотекарем! Заправлял городской канализацией. Я был в гуще жизни. Сколько рук пожал, сколько дел переделал. Мы испробовали все на свете и на вкус и на ощупь, чего только не нагляделись, не наслушались, к чему только не приложили рук! Лазили по горам, писали картины, вон кое-что висит на стене! Мы трижды объехали вокруг света. У нас даже вдруг родился сын. Он уже взрослый, женат, живет в Нью-Йорке. Мы жили, действовали. — Стоун помолчал, улыбнулся. — Пойдемте во двор. У нас там телескоп, хотите посмотреть на кольца Сатурна?

Мы стояли во дворе, и нас овеяло ветром, облетевшим всю ширь океана, и пока мы смотрели в телескоп на звезды, миссис Стоун спустилась в крошечную тьму погреба за редкостным испанским вином.

На следующий день автомобиль промчался по неровной, тряской дороге, от побережья через луга и в полдень доставил нас на безлюдную станцию. Мистер Дадли Стоун почти не уделял внимания своей машине, он что-то рассказывал, улыбался, смеялся, показывал мне то камень времен неолита, то какой-нибудь полевой цветок и умолк, лишь когда мы подъехали к станции и остановились в ожидании поезда, который должен был меня увезти.

— Вы, наверно, считаете меня сумасшедшим, — сказал он, глядя в небо.

— Ничуть не бывало.

— Так вот,—сказал Дадли Стоун,—Джон Оутис Кенделл оказал мне еще одну милость.

— Какую же?

Стоун поудобнее расположился на кожаном, в заплатах сиденье.

— Он помог мне выйти из игры, прежде чем я выдохся. Где-то в глубине души я, должно быть, чувал, что моя литературная слава сильно раздута и может лопнуть, как воздушный шар. В подсознании мне ясно рисовалось будущее. Я знал то, чего не знал ни один критик,—что иду уже не к вершине, а под гору. Обе книги, которые уничтожил Джон Оутис, никуда не годились. Они убили бы меня наповал еще повернее, чем Оутис. Он невольно помог мне решиться на то, на что иначе у меня, пожалуй, не хватило бы мужества: изящно откланяться, пока котильон еще не кончился и китайские фонарики еще бросали лестный розовый свет на мой здоровый румянец. Я видел слишком много писателей, видел их взлеты и падения, видел, как они сходили с круга уязвленные, жалкие, отчаявшиеся. Но, конечно, все это стечение обстоятельств, совпадение, подсознательная уверенность в своей правоте, облегчение и благодарность Джону Оутису Кенделлу за то, что я просто-напросто жив,—все это была по меньшей мере счастливая случайность.

Мы еще немного посидели под ласковым солнцем.

— А потом я объявил о своем уходе со сцены и имел удовольствие видеть, как меня ставят в один ряд с великими писателями. За последнее время очень мало кто из писателей удостоился столь пышных проводов. Превосходные были похороны! Я был, что называется, совсем как живой. И эхо еще долго не смолкало. «Если бы он написал еще одну книгу! — вопили критики.— Вот это

была бы книга! Шедевр!» Они задыхались от волнения, ждали. Ничегошеньки они не понимали! Еще и теперь, четверть века спустя, мои читатели, которые в ту пору были студентами, отправляются на допотопных паровичках, дышат нефтяной вонью и перемазываются в сажу, лишь бы разгадать тайну — отчего я так долго заставляю ждать этого самого «шедевра». И — спасибо Джону Оутису Кенделлу — у меня все еще есть кое-какое имя. Оно тускнеет медленно, безболезненно. На следующий год я сам бы убил себя собственным пером. Куда как лучше отцепить свой тормозной вагон самому, не дожидаясь, когда это сделают за тебя другие.

А Джон Оутис Кенделл? Мы снова стали друзьями. Не сразу, конечно. Но в тысяча девятьсот сорок седьмом году он приезжал со мной повидаться, и мы славно провели денек, совсем как в былые времена. А теперь он умер, и вот наконец я хоть кому-то рассказал все как было. Что вы скажете вашим городским друзьям? Они не поверят ни единому слову. Но ручаюсь вам, все это чистая правда. Это так же верно, как то, что я сижу здесь сейчас и дышу свежим воздухом, и гляжу на свои мозолистые руки, и уже немного напоминаю выцветшие предвыборные плакаты той поры, когда я баллотировался в окружные казначеи.

Мы стояли с ним на платформе.

— До свиданья, спасибо, что приехали, и выслушали меня, и позволили мне выложить всю мою подноготную. Всех благ вашим любознательным друзьям! А вот и поезд! И мне надо бежать — мы с Леной сегодня после обеда едем по побережью с миссией Красного Креста. Прощайте!

Я смотрел, как покойник резво топал по платформе, так что у меня под ногами дрожали доски, как он вскочил в свой древний форд, осевший под его тяжестью, и

вот уже нажал могучей ножицей на стартер, мотор взревел, Дадли Стоун с улыбкой обернулся ко мне, помахал мне рукой — и покати́л прочь, к тому вдруг засверкавшему всеми огнями городу, что называется Безвестность, на берегу ослепительного моря под названием Былое.

Гарри уселся в кресло, обвел мрачным взглядом комнату и уставился на открытую дверь, которая вела в мастерскую. Там, опутанные серпантином лент, впере-мешку с грудями магнито-визионных табличек, громоздились кучи приборов. Обычно Гарри как-то их не замечал, но сегодня этот кавардак возмутил его. Во рту было горько и болезненно сухо. От встречи в стратобусе с ухмыляющимся Реву у Гарри остался неприятный осадок.

— Катодий! — гаркнул он. — Где коньяк?

— Запоматывал, — отозвался из своего угла робот.

— Так-так. Тонкий намек на то, что-де пришла пора сменить тебе лампы? И не мечтай. Еду, квартиру и одежду я получаю даром, а за первосортную лампу надо выложить десять еврасов! Понимаешь, осел?!

— Угу, — слегка позвякивая, буркнул Катодий. — Понимаю, но все-таки лампа мне нужна. Иначе откажет контур и я не смогу подать вам даже туфли.

— Так где же все-таки коньяк?

От рюмочки коньяка настроение у Гарри не поднялось ни на микрон. Откинувшись на пневматическую подушку кресла, он даже взглядом не поблагодарил Катодия, и тот опять спрятался в нишу за шкафом, подчиняясь датчику самосохранения.

Гарри смотрел на стопку голубых, поблескивающих металлом табличек, которые лежали в углу мастерской. На каждой с помощью электромагнитных колебаний

было записано по одному литературному произведению, исполненному едкой иронии, шуточных или серьезных размышлений. Вложив табличку в воспроизводящий аппарат, можно было не меньше часа наслаждаться трехмерной видеонovelлой, фильмодрамой или романовизией.

И вот, пожалуйста, плоды фантазии человека и механизмов, каторжного труда концептора, долгой маяты с бестолковой бандой гомоидальных автоматов типа «Актер 85-В» валяются без употребления. Черт знает что! Издевательство, да и только! А у Ревы приняли его дикую халтуру!

Вообще с того момента, когда в глобальном Центре развлечений ввели строжайший и бездушный контроль над произведениями, для авторов наступили черные дни. Автор собственноручно вводил табличку в машину, а электронный мозг — экая бестия! — за несколько минут проверял, не создал ли уже кто-нибудь на планете сейчас или в прошлом чего-либо подобного. Автомат безошибочно устанавливал степень оригинальности замысла, отвергая все, что не содержало в себе хотя бы тридцати процентов новизны. Чаще всего табличка спустя некоторое время выскакивала через другое отверстие под радостный свист электронного устройства, которое одновременно открывало дверь, ведущую на улицу. Возражения и протесты в расчет не принимались. Работники Центра находились за стеной из бронированного пластика и вообще не появлялись в зале контроля. Поэтому при всем желании невозможно было заподозрить кого-либо в пристрастии или хотя бы просто обругать, а жаль! — это в какой-то степени могло сгладить горечь поражения. Не помогала и модернизация «писательской кухни»: приобретение все более совершенных творческих автоматов со сверхшироким диапазоном концепций, сме-

сителями усложнений и избирателями формы, работающими по принципу случайного поиска. Электронный мозг Центра развлечений неистовствовал, отыскивал каких-то древних авторов и милейшим голосом сообщал, что писатель, о котором никто и не слыхивал, уже давным-давно придумал подобную историю. Машина была неумолима и давала от ворот поворот и молодым, еще не оперившимся юнцам, и всеми признанным корифеям, уже на улице переживавшим свой позор.

Первой, разумеется, погибла эпиграмма. За время существования человечества их было выдуманно столько, что о создании чего-то действительно нового перестали даже мечтать. Правда, остались фанатики и маньяки, — разве обходится без них? — по-прежнему корпевшие над эпиграммами, но ведь во все времена не было недостатка и в людях, пытавшихся создать перпетуум мобиле. Стихами, естественно, никто не занимался — автоматы делали это самостоятельно. Сравнительно бóльшие шансы на признание были у романовизий и видеонovelл, но и их принимали не больно-то много. Гораздо чаще автор уходил с табличкой в кармане: «На 90 % гибрид Платона с Хемингуэем, приправленный 50 % -ным мезальянсом с Чарской... Оригинальных мыслей — 0%. Благодарим за внимание. Мы всегда к вашим услугам. Желаем дальнейшей плодотворной творческой работы». Ко всему этому мозг еще добавлял замечание, свидетельствующее о невероятной зловредности работников Центра: «Просим не захламлять приемную отвергнутыми таблицами. Корзина за дверью». И вдруг — улыбающийся Ревя. Кто бы мог подумать, что до сих пор никто ничего не написал о базальтовой рыбке, цацкающей с кринкой сметаны?! Разумеется, халтура, но Центр ее принял и будет распространять в качестве двухсот шестьдесят четвертого оригинального произведения, созданного в текущем году

в пределах Солнечной системы. Рауты, интервью, медали, церемонии, награды, авторские встречи до конца жизни — минимум по сто еврасов за встречу.

Отвратительная насмешка злой судьбы! Гарри мог есть сардины, икру, разъезжать стратобусами по всем континентам, ежедневно менять костюмы, но на лампу для Катодия нужно было десять еврасов, отдых на пляжах Флориды обходился в кругленькую сумму, даже банальнейший парусник невозможно было взять без еврасов — парус не желал раскрываться. Совет Солнечной системы выдвинул теорию сохранения узловых экономических стимулов, поскольку считал, что иначе лень станет тормозом прогресса. Словно человек уже по самой своей природе не призван быть деятельным! Выдумали еврасы — платежное средство, всеобщий эквивалент для всей Системы, без которого можно было жить в достатке, но не вкушая особых удовольствий.

Размышления Гарри были прерваны сигналом тревоги, долетевшим из мастерской. Он встал, подошел к двери и некоторое время смотрел, зло стиснув зубы.

В одном углу могучий мужлан душил женщину, испускавшую отчаянные вопли. В другом, неподалеку от электронного переводчика, дрались три молодца, поливая друг друга выражениями, взятыми из лексикона второй половины двадцатого века. Гарри сжал кулаки.

— Успокойтесь немедленно! Вам что, на свалку захотелось?! — крикнул он. Дерущиеся акторобы застыли. — Ну, чего развоевались?

Гарри был взбешен. Это ж надо: ни минуты покоя в собственном доме! Нет, больше ему не вынести! У него мелькнула мысль: «Сдать их всех как металлолом под гидравлический пресс, и точка!» Но тогда он останется один, без творческой мастерской.

— Ишь, разбушевались! — прошептал он.

— Она мне изменила,— принялся было объяснять робот.

«Забыл стереть основную концепцию»,— подумал Гарри. Это как раз и был один из тех холостых выстрелов, о которых уже говорилось. Драма «Отелло». «А сейчас мой Грамидас, он же Отелло, душит неверную, черт бы их побрал! Но ведь они же не должны повторять роль без приказа».

— Что с вами? — гаркнул он.— Забавляетесь? Я же раз навсегда запретил это! Черт-те что! Откуда я возьму еврасы на ваши лампы, катушки, контуры? Старые роботы с полным комплектом связей, а резвитесь будто юные пылесосы! И не стыдно? Немедленно сотрите все роли!

Роботы недовольно забренчали. Но постепенно их лица разгладились и превратились в ничего не выражающие маски, ждущие индивидуализации, которую им придаст воображение концептора или самого автора.

Гарри облегченно вздохнул. Вообще-то он любил свои автоматы, хотя они были не первой молодости и нуждались в техосмотре. Он с завистью подумал о мастерской Вильпоно, который написал целых три романовизии, оригинальные на девяносто процентов, и прямо-таки не знал, куда девать еврасы. У Вильпоно было сорок гомоидальных автоматов, все новые и экстра-класса. Таких актеров, как у Гарри, Вильпоно держал в чулане и использовал их в лучшем случае для изображения толпы на заднем плане.

Гарри сокрушенно вздохнул и снова подумал о роботах, самовольно разыгрывающих свои роли, стоит ему только отвернуться. Необходимы новые лампы, иначе они переколошматят друг друга. Но откуда взять еврасы?

Вообще-то думать тут не о чем. Просто надо написать

что-нибудь новое и свежее. Гарри заскрежетал зубами и невольно покосился на кучу табличек. Мозг из Центра... И подумать только, что какой-то Ревин отхватил пять тысяч! Наверно, теперь не знает, куда их девать. А, дьявол! Базальтовая рыбка с кринкой сметаны! Какая чушь! Халтура, боже, какая халтура!.. А ведь придется что-нибудь написать. Перспектива не из радужных, тем более что изматывающая нервы работа с акторами вызывала у него отвращение. Раньше считалось, что стоит быть богом. Жаль, что такому типу не приходилось давать индивидуальность роботу. Заскоки и фортели го-моидальных автоматов могут кого угодно довести до белого каления. А потом, когда все уже позади — тесты ви-зии, планов, фона, цвета, звука, — когда роботы сыграли свои роли и на это уже тошно смотреть, они за спиной автора повторяют все ради забавы. Повторяют, потому что он забыл стереть их индивидуальность и у них позносились блокирующие адапторы. Им это, разумеется, нравится. Играют, работая на износ. Да и лампы тоже могли бы быть получше. Несколько часов работы — и теряют эмиссию. А откуда взять еврасы?

Он сел. Нет, определенно надо что-то написать. Что-то новое. Только откуда узнаешь, не напал ли уже кто-нибудь в седой древности на подобный сюжет? К сожалению, произведение искусства можно проверить, только когда оно полностью окончено. Эта мысль привела Гарри в уныние. Концепционные автоматы подводят. Что делать, у них ограниченный диапазон, они не в состоянии соперничать с бездонным колодцем памяти Центрального мозга. Все эти супружеские треугольники, четырехугольники, пятиугольники до предела использованы вместе со всеми возможными схемами человеческих поступков. Место и исторический период почти не имеют значения для Центра. Например, к перенесению действия

«Тóски» в афинский Акрополь, во времена Фидия, электронный мозг отнесся весьма скептически, позволив себе даже неместные эпитеты в адрес Гарри.

— Катодий! — крикнул Гарри. — Еще один коньяк!

Итак, надо что-то написать. На первый взгляд нет ничего проще. Идешь к концептору, нажимаешь наобум несколько клавишей, и через десять секунд выскакивает табличка с готовой схемой, скажем видеонovelлы с разработанным сюжетом, психологическими характеристиками героев, временем действия, увлекательной фабулой... Потом бросаешь табличку в диалогон, и тот, нарастив на скелете схемы «словесное мясо», передает ее дальше, в видеон и антуратор... Остается только дать индивидуальность акторобам, разыграть с ними мизансцены, записать все это с помощью киносинтезатора — и видеонovelла готова!

Гарри с отвращением посмотрел на концепционный автомат. Почему этот нудяга выглядит как обыкновенная машина? Конструкторы не придали ему внешности человека. А ведь тогда гораздо легче было бы договориться. Но концептор — ящик. Обыкновенный сундук. Даже обругать как следует нельзя. Да и диапазон у него ограниченный. Тридцать миллиардов связей... Мало. Все уже написано... Кто бы подумал! Гарри почувствовал, что начинает ненавидеть всех своих предшественников, которые, вместо того чтобы заниматься полезным делом, срезали тростниковые палочки, стругали клинья, стило, выдирали перья у пташек, покупали карандаши, вечные и шариковые ручки, пишущие машинки, магнитофоны. И писали, писали, писали... Писали на всем и обо всем, что придет в голову.

— Катодий! — рявкнул он. — Коньяку!

Ревн... Тупица без искры воображения, без полета мысли. А ведь повезло. Базальтовая рыбка и кринка

сметаны. Чудовищная халтура! Но что-то новое. И главное, утверждает, что сам придумал. Выкинуть концепционный автомат. Металлолом! На свалку! Рухлядь бесполезная. Хм... А может, сделать заказ на расширение диапазона? Но для этого нужны еврасы. Тьфу, пропасть... Обязательно нужно что-то придумывать, писать, мучиться, переносить капризы роботов с их разболтавшимися соединениями и сработавшимися контурами...

Гарри понемногу цедил коньяк. Самое главное — идея. Это не вызывало сомнений. Естественно, такая, на которую не мог напасть никто в древности. Да и сейчас тоже. Некоторое время он подумывал, уж не создать ли какой-нибудь исторический сверхгигант в нескольких сериях, но потом отказался от этой мысли. Сверхгиганты делали уже в двадцатом веке, стало быть, это рискованно. Да и кто одолжит актеров за прекрасные глаза?

Гарри охватила тоска. Он нажал клавишу видеофона. На экране появилось трехмерное изображение головы диктора.

Известия. Скучища.

«...на Марсе сдана в эксплуатацию фабрика искусственного волокна. На торжественное открытие...»

Он переключился на другой канал.

«...планктон используется в огромных количествах. Белок, содержащийся в одном кубическом метре хлореллы, оценивается в...»

По четвертому каналу передавали беседу, по пятому — матч Венера — Юпитер. Сдохнуть можно. Он с завистью подумал о журналистах и репортерах. Вот у кого жизнь — малина. Что им Центр развлечений? Они подчиняются Информации. Новизна формы и фабулы им до лампочки... Им важен факт, а который раз об этом

говорится — первый или миллионный, безразлично. Открыто, запущено, закрыто, начато... фабрики, заводы, каналы, конференции... на Марсе, Земле, Луне...

«...профессор Фаркинс приступил к серии экспериментов, имеющих целью перезапись информации, содержащейся в человеческом мозге, в память электронной машины. Одновременно с информацией машина должна воспринять и ощущение личности человека, копией которого он является. Специальное устройство обеспечит возможность связи с копией в форме обычной речи. Однако процесс перезаписи необратим. Лишенные информации клетки погибают. Поэтому копировать можно будет лишь мозг людей, находящихся в состоянии агонии...»

Гарри вздрогнул и выключил видеофон — зачем загружать голову ненужными подробностями, только тормозящими свободу ассоциаций? Он презрительно взглянул на концептор, потом крикнул:

— Катодий! Немедленно бумагу и карандаш!

— Что-о-о? — удивился робот.

— Бумагу и карандаш, говорю!

Робот издал легкий звон.

— А где их взять? Разве что в антиквариате или музее. Да, в музее. Там-то уж найдут.

— Карандаш и бумага в чулане под семейными альбомами! — крикнул Гарри. — Ну, что уставился на меня?! Пошевеливайся!

После долгого отсутствия Катодий наконец вернулся, неся запыленный карандаш и оборванный лист бумаги.

Итак, копии мозгов, электронные копии, вместилище человеческой памяти, сознания, лежащие на полке домашней фильмотеки, разговаривающие с каждым, кто подойдет к микрофону и нажмет кнопку. Идея! Особен-

но радовала Гарри легкость исполнения: нет ни сложного изображения, ни актеров, он сам сыграет роль. Достаточно обычного робота, того же Катодия, нескольких динамиков, микрофонов и немного так называемых «визийных настроений». Все гениальное просто. «На худой конец — уголок какого-нибудь шкафа, полки, коридора, но очень скупое», — подумал он.

Через минуту Гарри, чувствуя на себе изумленный взгляд Катодия, уже писал видеонovelлу.

«Кримен еще раз прошелся по комнате. Робот мог что-нибудь забыть и неожиданно вернуться. Кримена уже давно интересовал один на первый взгляд незначительный факт: лампы робота слишком быстро изнашивались.

Кримен подошел к шкафу и вынул оттуда небольшой сверток. Установить в комнатах замаскированные миниатюрные видеофонические камеры было нетрудно. Он проверил цепь и подключил ее к внешней сети.

Перед тем как уйти, еще раз взглянул на полки фильмотеки. Рядом с коробками лент и табличек лежали несколько ящичков, в которые были вмонтированы динамики и микрофоны.

— Эх, — вздохнул Кримен. — С родней поболтаю в другой раз.

Анодий мог прийти в любой момент, а Кримену надо было удалиться на безопасное расстояние, чтобы индикатор робота не обнаружил его присутствия. Он быстро вышел.

Винный погребок на вертолетном вокзале был в этот час пуст. Кримен удобно уселся в кресле, заказал рюмочку рислинга и включил ручной видеофон. Экранчик замигал и погас. Кримен постучал пальцем по корпусу.

Не помогло. «Опять замыкание,—недовольно подумал он.—Надо обязательно отдать в ремонт. А может, лучше купить новый?»

Он в отчаянии нажал кнопку звука, чтобы определить размер повреждения. В динамике зашелестело. Кримен с удивлением услышал тихий разговор и принялся крутить ручку модулятора.

— Это ты? — Он узнал голос своего деда, льющийся из ящичка.— Я рад. Люблю посещения. Что нового?

В динамике зазвенело.

— Ничего особенного,—раздался его собственный голос.—Мне, право же, неловко: я слишком часто отнимаю у тебя время и прерываю твои размышления.

— Ничего, ничего,—ласково буркнул дед.

— Я был в городе, забежал к тете Анастасии. Она угостила меня кофе.

— Каким? Натуральным или той синтетической пако-стью, от которой мухи дохнут?

— Не знаю. Сейчас он уже лучше, чем в твоё время. А может, и натуральный. На дне был осадок.

— Значит, определенно натуральный. Ну и как там она? Ездил куда-нибудь отдыхать?

В динамике опять зазвенело.

— В Бразилию. Наверно, оттуда и привезла натуральный кофе. Жуть! У нее не осталось ни одного евра-са! Теперь сидит и думает, где взять.

— Послушай, Берт. Нам кто-то мешает,—заструил-ся голос деда.—Я слышу какие-то звуки. Это действительно ты?

— Ну конечно, я,—уверил голос Кримена-внука, сопровождаемый легким звоном.—А кто же еще?

— Лжешь, нагло лжешь! — взвизгнул дед.—Ты робот моего внука! Сукин ты сын! Вот погоди, доберусь я до тебя!

— Дедушка, это клевета. Неужели ты думаешь, что я мог бы подсунуть вместо себя глупого робота?! Анодия?! У него же лампы почти полностью потеряли эмиссию!

— Вот это-то я и слышу,— буркнул дед.— Тебя выдает звон, стервец! Будешь подделываться под моего любимого внука?! Будешь?! Десятый раз тебя ловлю. Пресс по тебе плачет!

— Да, это я, Анодий,— сокрушенно отозвался робот.— Не сердитесь. Вообще-то странно, что вы меня узнаете. Ведь я подстроился под голос хозяина. Неужели в нем есть что-то особенное?

— Ты подлец! — гремел дед.— Паскудная коробка с шурупами и проволокой, подделывающаяся под моего Берта. Как я узнаю тебя? Очень просто: стоит тебе нагреться, как ты начинаешь звенеть.

— Я этого не слышу,— буркнул робот.

— Зато я слышу. Что у тебя на уме? Тебя нужно разобрать на части. Зачем ты мне морочишь голову?

— Тяжела доля робота, дедушка.

— Я тебе покажу дедушку!

— Пардон. Как ни крути, все равно останешься прибором. А я очень люблю быть человеком,— замурыкал Анодий.— Вы не представляете себе, как приятно хоть минуту побыть человеком, получить индивидуальность.

Дедушка несколько секунд молчал.

— У тебя все провода перепутались! — заявил он наконец.— Все твои системы ржа проела!

— Простите! — с готовностью отозвался Анодий.— Я не хотел вас обидеть. Но и у меня есть гордость, я не желаю слушать ваши бесконечные обвинения и нападки. Не желаю. Как хотите. Ваша сестра, Филомена, гораздо вежливее со мной. Мы подолгу беседуем. Весьма культурная и интеллигентная дама.

Динамик замолчал.

— Знаешь, Анодий,— сказал наконец дедушка,— ты уж того, не обижайся. Я ведь тоже очень люблю поболтать с живыми. А ведь ты живешь: ходишь, видишь, осязаешь... Тебе вовсе не так плохо, Анодий. Останемся друзьями. Расскажи, что слышно в городе? Еще цветет наш каштан перед домом?»

Гарри отложил карандаш, взял листок бумаги и кинулся в мастерскую. Обработка литературного текста заняла совсем немного времени. Часа через три он вышел из дома с готовым произведением в кармане. На вертаси добрался до Центра развлечений. В веселом расположении духа подошел к контрольному электронному мозгу. Опустил табличку в отверстие машины. Прибор секунду побренчал, потом послышался свист, табличка вывалилась и одновременно открылась дверь, ведущая на улицу.

— Что?! Опять?! — пролепетал Гарри.— Да ты ошибаешься, кретин! Кто мог написать этакое, а?

— Был такой фантаст во второй половине двадцатого века, Витольд Зегальский,— вежливо ответил электронный мозг Центра.— Использовать не можем. Стопроцентный плагиат. Благодарим за внимание. Мы всегда к вашим услугам... Корзинка за дверью.

Гарри выругался, швырнул табличку в угол и вышел на улицу.

ОТКРЫТИЕ
МОРНИЕЛА МЕТАУЭЯ

Всех удивляет, как переменился Морниел Метауэй с тех пор, как его открыли, — всех, но не меня. Его помнят на Гринвич-Виллидж — художник-дилетант, невыттый, бездарный; едва ли не каждую свою вторую фразу он начинал с «я» и едва ли не каждую третью кончал местоимением «меня» либо «мне». Из него ключом была наглая и в то же время трусливая самонадеянность, свойственная тем, кто в глубине души подозревает, что он второсортен, если не что-нибудь похуже. Получасового разговора с ним было довольно, чтоб у вас в голове гудело от его хвастливых выкриков.

Я-то превосходно понимаю, откуда взялось все это — и тихое, очень спокойное признание своей бездарности, и внезапный всесокрушающий успех. Да что там говорить — при мне его и открыли, хотя вряд ли это можно назвать открытием. Не знаю даже, как это можно назвать, принимая во внимание полную невероятность — да, вот именно невероятность, а не просто невозможность того, что произошло. Одно только мне ясно: всякая попытка найти какую-то логику в случившемся вызывает у меня колики в животе, а череп пополам раскалывается от головной боли.

В тот день мы как раз толковали о том, как Морниел будет открыт. Я сидел в его маленькой нетопленной студии на Бликер-стрит, осторожно балансируя на единственном деревянном стуле, ибо был слишком искушен, чтобы садиться в кресло.

Собственно, Морниел и оплачивал студию с помощью этого кресла. Оно представляло собой грязную мешанину из клочьев обивки, впереди было высоким, а в глубине — очень низким. Когда вы садились, содержимое ваших карманов — мелочь, ключи, кошелек — начинало выскальзывать, проваливаясь в чашу ржавых пружин и на прогнившие половицы.

Как только в студии появлялся новичок, Морниел, поднимал страшный шум насчет того, что усадит его в потрясающе удобное кресло. И пока бедняга болезненно корчился, норовя устроиться среди торчащих пружин, глаза хозяина разгорались и его охватывало неподдельное веселье. Ибо чем энергичнее ерзал посетитель, тем больше вываливалось из его карманов. Когда прием заканчивался, Морниел отодвигал кресло и принимался считать доходы, подобно тому как владелец магазина вечером после распродажи проверяет наличность в кассах.

Деревянный стул был неудобен своей неустойчивостью, и, сидя на нем, приходилось быть начеку. Морниелу же ничто не угрожало — он всегда сидел на кровати.

— Не могу дождаться, — говорил он в тот раз, — когда наконец мои работы увидит какой-нибудь торговец картинами или критик хоть с каплей мозга в голове. Я свое возьму. Я слишком талантлив, Дэйв. Порой меня даже пугает, до чего я талантлив — чересчур много таланта для одного человека.

— Гм, — начал я. — Но ведь часто бывает...

— Я ведь не хочу сказать, что для меня слишком много таланта. — Он испугался, как бы я не понял его превратно. — Слава богу, сам я достаточно велик, у меня большая душа. Но любого другого человека меньшего масштаба сломило бы такое всеохватывающее восприя-

тие, такое проникновение в духовное начало вещей, в самый их, я бы сказал, Gestalt*. У другого разум был бы просто раздавлен таким бременем. Но не у меня, Дэйв, не у меня.

— Рад это слышать,— сказал я.— Но если ты не возражаешь...

— Знаешь, о чем я думал сегодня утром?

— Нет. Но по правде говоря...

— Я думал о Пикассо, Дэйв. О Пикассо и Руо. Я вышел прогуляться по рынку, позаимствовать что-нибудь на лотках для завтрака — ты ведь знаешь принцип старины Морниела: ловкость рук и никакого мошенства — и начал размышлять о положении современной живописи. Я о нем частенько размышляю, Дэйв. Оно меня тревожит.

— Вот как,— сказал я.— Видишь ли, мне кажется...

— Я спустился по Бликер-стрит, потом свернул на Вашингтон-сквер-парк и все раздумывал на ходу. Кто, собственно, делает сейчас что-нибудь значительное в живописи, кто по-настоящему и бесспорно велик? Понимаешь, я могу назвать только три имени: Пикассо, Руо и я. Больше ничего оригинального, ничего такого, о чем стоило бы говорить. Только трое при том несметном количестве народу, что сегодня во всем мире занимается живописью. Три имени! От этого чувствуешь себя таким одиноким!

— Да, пожалуй,— согласился я.— Но все же...

— А потом я задался вопросом: почему это так? В том ли дело, что абсолютный гений вообще очень редко встречается и для каждого периода есть определенный статистический лимит на гениальность, или тут дру-

* Образ, форма (нем.).

гая причина, что-то характерное именно для нашего времени? И отчего открытие моего таланта, уже назревшее, так задерживается? Я ломал над этим голову, Дэйв. Я обдумывал это со всей скромностью, тщательно, потому что это немаловажная проблема. И вот к какому выводу я пришел.

Тут я сдался. Откинулся на спинку стула — не забываясь, конечно, — и позволил Морниелу излить на меня свою эстетическую теорию. Теорию, которую я по крайней мере двадцать раз слышал раньше от двадцати других художников из Гринвич-Виллидж. Единственно, в чем расходились все авторы, был вопрос, кого надо считать вершиной и наиболее совершенным живым воплощением данных эстетических принципов. Морниел (чему вы, пожалуй, не удивитесь) ощущал, что как раз его.

Он приехал в Нью-Йорк из Питтсбурга (штат Пенсильвания), рослый, неуклюжий юнец, который не любил бриться и полагал, будто может писать картины. В те дни Морниел восхищался Гогеном и старался ему подражать. Он был способен часами разглагольствовать о мистической простоте народного искусства. Его произношение звучало как подделка под бруклинское, которое так любят киношники, но на самом деле было чисто питтсбургским.

Морниел быстро распрощался с Гогеном, как только взял несколько уроков в Лиге любителей искусства и впервые отрастил спутанную белокурую бороду. Недавно он выработал собственную технику письма, которую назвал «грязное на грязном».

Морниел был бездарен — в этом можно не сомневаться. Тут я высказываю не только свое мнение — ведь я делил комнату с двумя художниками-модернистами и целый год был женат на художнице, — но и мнение понимающих людей, которые, не имея причин относиться

к Морниелу с предубеждением, внимательно смотрели его работы.

Один из этих людей, критик и отличный знаток современной живописи, несколько минут с отвисшей челюстью созерцал произведение Морниела (автор навязал мне его в подарок и, несмотря на мои протесты, собственноручно повесил над камином), а потом сказал: «Дело не в том, что ему абсолютно нечего сказать графически. Он даже не ставит перед собой того, что можно было бы назвать живописной задачей. Белое на белом, «грязное на грязном», антиобъективизм, неоабстракционизм — называйте как угодно, но здесь нет ничего. Просто один из тех крикливых, озлобленных дилетантов, которыми кишит Виллидж».

Спрашивается, зачем же я тогда вообще знался с Морниелом?

Ну, прежде всего он жил под боком и потом был в нем какой-то своеобразный худосочный колорит. И когда я просиживал ночь напролет, стараясь выдавить из себя стихотворение, а оно никак не выдавливалось, на душе становилось легче при мысли, что можно заглянуть к нему в студию и отвлечься разговором о предметах, не имеющих отношения к литературе.

Тут, правда, был один минус, о котором я постоянно забывал,— у нас всегда получался не разговор, а лишь монолог, куда я едва умудрялся время от времени вторгаться с краткими репликами. Видите ли, разница между нами состояла в том, что меня все же печатали — пусть хоть в жалких экспериментальных журнальчиках с плохим шрифтом, где гонораром была годовая подписка. Он же никогда не выставлялся, ни разу.

Была и еще одна причина, из-за которой я поддерживал с ним отношения. Одним талантом Морниел действительно обладал.

Если говорить о средствах к существованию, то я едва свожу концы с концами. О хорошей бумаге и дорогих книгах могу только мечтать, ибо они для меня недоступны. Но когда уж очень захочется чего-нибудь — например, нового собрания сочинений Уоллеса Стивенса*, — я двигаю к Морниелу и сообщаю об этом ему. Мы отправляемся в книжный магазин, входим поодиночке. Я завожу разговор о каком-нибудь роскошном издании, которого сейчас нет в продаже и которое я будто бы собираюсь заказать, и как только мне удастся полностью завладеть вниманием хозяина, Морниел слизывает Стивенса, — само собой разумеется, я клянусь себе, что заплачу сразу, как только поправятся мои обстоятельства.

В таких делах Морниел бесподобен. Ни разу не случилось, чтобы его заподозрили, не говоря уж о том, чтобы поймали с поличным. Естественно, я должен рассчитываться за эти услуги, проделывая то же самое в магазине художественных принадлежностей, чтобы Морниел мог пополнять запасы холста, красок и кистей, но в конечном счете игра стоит свеч. Чего она, правда, не стоит, так это гнетущей скуки, которую я терплю при его рассуждениях, и моих угрызений совести по поводу того, что он-то вовсе и не собирается платить за приобретенные товары. Утешаю себя тем, что сам расплачусь при первой же возможности.

— Вряд ли я настолько уникален, каким себе кажусь, — говорил он в тот день. — Конечно, рождаются и другие с не меньшим потенциальным талантом, чем у меня, но этот талант губят, прежде чем он успеет достигнуть творческой зрелости. Почему? Каким образом?.. Тут следует проанализировать роль, которую общество...

В тот миг, когда он дошел до слова «общество», я и

* Уоллес Стивенс — американский поэт-лирик первой половины XX века. — *Прим. перев.*

увидел впервые эту штуку. Какое-то пурпурное колыхание возникло передо мной на стене, странные мерцающие очертания ящика со странными мерцающими очертаниями человеческой фигуры внутри. Все это было в пяти футах над полом и напоминало разноцветные тепловые волны. Тотчас же видение исчезло.

Но время года было слишком поздним для тепловых волн, а что до оптических иллюзий — я им не подвержен. Возможно, решил я, при мне зарождается новая трещина в стене. По-настоящему помещение не предназначалось для студии, это была обычная квартира без горячей воды и со сквозняками, но кто-то из прежних жильцов разрушил все перегородки и сделал одну длинную комнату. Квартира находилась на верхнем этаже, крыша протекала, и стены были украшены толстыми волнистыми линиями в память о тех потоках, что струились по ним во время дождя.

Но отчего пурпурный цвет? И почему очертания человека внутри ящика? Пожалуй, довольно-таки замысловато для простой трещины. И куда все это делось?

— ...в вечном конфликте с индивидуумом, который стремится выразить свою индивидуальность, — закончил мысль Морниел. — Не говоря уж о том...

Послышалась музыкальная фраза — высокие звуки один за другим, почти без интервалов. И затем посреди комнаты — на сей раз футах в двух над полом — опять появились пурпурные линии, такие же трепещущие, светящиеся, а внутри — снова очертания человека.

Морниел скинул ноги с кровати и уставился на это чудо.

— Что за...

Видение опять исчезло.

— Что т-тут происходит? — запинаясь, выдавил он из себя. — Что т-такое?

— Не знаю,— огозвался я.— Но что бы это ни было, оно постепенно влезает к нам.

Еще раз высокие звуки. Посреди комнаты на полу появился пурпурный ящик. Он делался все темнее, темнее и материальнее. Звуки становились все более высокими, они слабели и наконец, когда ящик стал непрозрачным, умолкли совсем.

Дверца ящика открылась. Оттуда шагнул в комнату человек; одежда у него вся была как бы в завитушках.

Он посмотрел сначала на меня, затем на Морниела.

— Морниел Метауэй? — осведомился он.

— Д-да,— сказал Морниел, пятясь к холодильнику.

— Мистер Метауэй,— сказал человек из ящика.— Меня зовут Глеску. Я принес вам привет из 2487 года нашей эры.

Никто из нас не нашелся, что на это ответить. Я поднялся со стула и стал рядом с Морниелом, смутно ощущая необходимость быть поближе к чему-нибудь хорошо знакомому.

Некоторое время все сохраняли исходную позицию. Немая сцена.

2487-й, подумал я. Нашей эры. Ни разу не приходилось мне видеть никого в такой одежде. Более того, я никогда и не воображал никого в такой одежде, хотя, разыгравшись, моя фантазия способна на самые дикие взлеты. Одевание не было прозрачным, но и не то чтоб вовсе светонепроницаемым. Переливчатое — вот подходящий термин. Различные цвета и оттенки неутомимо гонялись друг за другом вокруг завитушек. Здесь, видимо, предполагалась некая гармония, но не такого сорта, чтоб мой глаз мог уловить ее и опознать.

Сам прибывший, мистер Глеску, был примерно одного роста со мною и Морниелом и выглядел только чуть постарше нас. Но что-то в нем ощущалось такое — даже

не знаю, назовите это породой, если угодно, подлинным внутренним величием и благородством, которые посрамили бы даже герцога Веллингтонского. Цивилизованность, может быть. То был самый цивилизованный человек из всех, с кем мне до сих пор доводилось встречаться.

Он шагнул вперед.

— Думаю,— произнес он удивительно звучным, богатым обертонами голосом,— что нам следует прибегнуть к свойственной двадцатому столетию церемонии пожатия рук.

Так мы и сделали — осуществили свойственную двадцатому столетию церемонию пожатия рук. Сначала Морниел, потом я, и оба очень робко. Мистер Глеску проделал это с неуклюжестью фермера из Айовы, который впервые в жизни ест китайскими палочками.

Церемония окончилась, гость стоял и широко улыбался нам. Или, вернее, Морниелу.

— Какая минута, не правда ли? — сказал он. — Какая историческая минута!

Морниел испустил глубокий вздох, и я почувствовал, что долгие годы, в течение которых ему то и дело приходилось неожиданно сталкиваться на лестнице с судебными исполнителями, требующими уплаты долгов, не пропали даром. Он быстро приходил в себя, его мозг включался в работу.

— Как вас понимать, когда вы говорите «историческая минута»? — спросил он. — Что в ней такого особенного? Вы что — изобретатель машины времени?

— Я? Изобретатель? — мистер Глеску усмехнулся. — О нет, ни в коем случае. Путешествие по времени было изобретено Антуанеттой Ингеборг в... после вашей эпохи. Вряд ли стоит сейчас говорить об этом, поскольку в моем распоряжении всего полчаса.

— А почему полчаса? — спросил я. Не оттого, что меня это так уж интересовало, а просто вопрос показался уместным.

— Скиндром рассчитан только на этот срок. Скиндром — это... В общем это устройство, позволяющее мне появляться в вашем периоде. Расход энергии так велик, что путешествия в прошлое осуществляются лишь раз в пятьдесят лет. Правом на проезд награждают, как Гобелем... Надеюсь, я правильно выразился? Гобель, да? Премия, которую присуждали в ваше время.

Меня вдруг осенило.

— Нобель!.. Может быть, вы говорите о Нобеле? Нобелевская премия!

Он просиял.

— Вот-вот. Таким путешествием награждают выдающихся исследователей-гуманитариев — что-то вроде Нобелевской премии. Единожды в пятьдесят лет человек, которого Совет хранителей избирает как наиболее достойного... В таком духе. До сих пор, конечно, эту возможность всегда предоставляли историкам, и они разменивали ее на осаду Трои, первый атомный взрыв в Лос-Аламосе, открытие Америки и тому подобное. Но на сей раз...

— Понятно,— прервал его Морниел дрогнувшим голосом. (Мы оба вдруг сообразили, что мистер Глеску знает имя Морниела.) — А что же исследуете вы?

Мистер Глеску слегка поклонился.

— Искусство. Моя профессия — история искусства, а узкая специальность...

— Какая? — голос Морниела уже не дрожал, а, наоборот, стал пронзительно громким. — Какая же у вас узкая специальность?

Мистер Глеску опять слегка наклонил голову.

— Вы, мистер Метауэй. Без страха услышать опровержение смею сказать, что в наше время из всех ныне здравствующих специалистов я считаю наиболее крупным авторитетом по творчеству Морниела Метауэя. Моя узкая специальность — это вы.

Морниел побелел. Он медленно добрался до кровати и рухнул на нее, ноги у него стали будто ватные. Несколько раз он открывал и закрывал рот, не в силах выдать из себя ни единого звука. Затем глотнул, сжал кулаки и обрел контроль над собой.

— Хотите сказать, — прохрипел он, — что я знаменит? Настолько знаменит?

— Знамениты?.. Вы, дорогой сэр, выше славы. Вы один из бессмертных, гордость человечества. Как я выразился — смею думать, исчерпывающе — в своей последней книге «Морниел Метауэй — человек, сформировавший будущее», «...сколь редко выпадает на долю отдельной личности...»

— До такой степени знаменит? — борода Морниела дрожала, словно губы ребенка, который вот-вот заплачет. — До такой?

— Именно, — заверил его мистер Глеску. — А кто же, собственно, тот гений, с которого во всей славе своей только и начинается современная живопись? Чьи композиции и цветовая гамма доминируют в архитектуре последних пяти столетий, кому мы обязаны обликом наших городов, убранством наших жилищ и даже одеждой, которую носим?

— Мне? — осведомился Морниел слабым голосом.

— Кому же еще?.. История еще не знала творца, чье влияние распространилось бы на столь широкую область и действовало бы в течение столь долгого времени. С кем же я могу сравнить вас, сэр, в таком случае? Кого из художников поставить рядом?

— Может быть, Рембрандта,— наметнул Морниел. Чувствовалось, что он старается помочь.— Леонардо да Винчи?

Мистер Глеску презрительно усмехнулся.

— Рембрандт и да Винчи в одном ряду с вами? Нелепо! Разве могут они похвастать вашей универсальностью, вашим космическим размахом, чувством всеобъемлемости? Уж если искать равного, то надо выйти за пределы живописи и обратиться, пожалуй, к литературе. Возможно, Шекспир с его широтой, с органами нотами лирической поэзии, с огромным влиянием на позднейший английский язык мог бы... Впрочем, что Шекспир? — Он грустно покачал головой.— Боюсь, даже и Шекспир...

— О-о-о! — простонал Морниел Метауэй.

— Кстати, о Шекспире,— сказал я, воспользовавшись случаем.— Не приходилось ли вам слышать о поэте Давиде Данцигере? Много ли из его трудов дошло до вашего времени?

— Это вы?

— Да,— с энтузиазмом подтвердил я.— Давид Данцигер — это я.

Мистер Глеску наморщил лоб, раздумывая.

— Что-то не припоминаю... Какая школа?

— Тут несколько названий. Самое употребительное — антиимажинисты. Антиимажинисты, или постимажинисты.

— Нет,— сказал он после недолгого размышления.— Единственный известный мне поэт вашего времени и вашей части света — Питер Тедд.

— Питер Тедд? Слыхом не слыхал о таком.

— Значит, его пока еще не открыли. Но прошу вас не забывать, что моя область — история живописи. Не литература. Вполне вероятно, назови вы свое имя специалис-

ту по второстепенным поэтам двадцатого века, он вспомнил бы вас без особого напряжения. Вполне вероятно.

Я глянул в сторону кровати, и Морниел осклабился. Теперь он полностью пришел в себя и наслаждался ситуацией. Каждой порой тела впитывал разницу между своим положением и моим. Я чувствовал, что ненавижу в нем все, от головы до пят. Отчего, действительно, фортуна решила улыбнуться именно такому типу, как Морниел? На свете столько художников, которые к тому же вполне порядочные люди, и надо же, чтобы это хвастливое ничтожество...

И вместе с тем какой-то участок моего мозга лихорадочно работал. Случившееся как раз доказывало, что лишь в исторической перспективе можно точно оценить роль того или иного явления искусства. Вспомните хотя бы тех, кто были шишками в свое время, а теперь совершенно забыты — какие-нибудь современники Бетховена, например, при жизни считались куда более крупными фигурами, чем он, а сейчас их имена известны только музыковедам. Но тем не менее...

Мистер Глеску бросил взгляд на указательный палец своей правой руки, где беспрестанно сжималось и расширялось черное пятнышко.

— Мое время истекает, — сказал он. — И хотя для меня это огромное, невыразимое счастье, мистер Морниел, стоять вот так и просто смотреть на вас, я осмелюсь обратиться с маленькой просьбой.

— Конечно, — сказал Морниел, поднимаясь с постели. — Скажите только, что вам нужно, и все будет. Чего бы вы хотели?

Мистер Глеску вздохнул, как если б он достиг наконец врат рая и намеревался теперь постучаться.

— Я подумал, — если вы не возражаете, — нельзя ли мне посмотреть ту вещь, над которой вы сейчас работае-

те? Понимаете, увидеть картину Метауэя, еще незаконченную, с непросохшими красками...— Он закрыл глаза, как бы не веря, что такое желание может осуществиться.

Морниел сделал изысканный жест и гоголем зашагал к своему мольберту. Он приподнял материю.

— Я намерен назвать это,— голос его был маслянист, как нефтеносные слои в Техасе,— «Бесформенные формы № 29».

Медленно, предвкушая наслаждение, мистер Глеску открыл глаза и весь подался вперед.

— Но,— произнес он после долгого молчания,— это ведь не ваша работа, мистер Метауэй.

Морниел обернулся к нему, несколько удивленный, затем воззрился на полотно.

— Почему? Это именно моя работа. «Бесформенные формы № 29». Разве вы ее не узнаете?

— Нет,— отрезал мистер Глеску.— Не узнаю и очень благодарен за это судьбе. Нельзя ли что-нибудь более позднее?

— Это самая поздняя,— сказал Морниел несколько неуверенно.— Все остальное написано раньше.— Он вытащил из стеллажа подрамник.— Ну хорошо, а вот такая? Как она вам покажется? Называется «Бесформенные формы № 22». Бесспорно, лучшая вещь из раннего меня.

Мистер Глеску содрогнулся.

— Впечатление такое, будто счистки с палитры положили поверх таких же счисток.

— Точно. Это моя техника — «грязное на грязном». Но вы, пожалуй, все это знаете, раз уж вы такой специалист по мне. А вот «Бесформенные формы №...»

— Давайте оставим эту бесформенность, мистер Метауэй,— взмолился Глеску.— Хотелось бы посмотреть вас в цвете. В цвете и форме.

Морниел почесал в затылке.

— Довольно давно не делал ничего в полном колорите... Хотя... постойте...— Его физиономия просияла, он полез за стеллаж и вынул оттуда холст со старым подрамником.— Одна из немногих вещей, сохранившихся от розово-красчатого периода.

— Не могу представить себе тот путь...— начал было мистер Глеску, обращаясь скорее к себе самому, чем к нам.— Конечно, это не...— Он умолк и недоуменно пожал плечами, подняв их чуть ли не до ушей — жест, знакомый всякому, кто видел художественного критика за работой. После такого жеста слова не нужны. Если вы живописец, чью работу сейчас смотрят, вам все сразу становится ясно.

К этому времени Морниел уже лихорадочно вытаскивал из-за стеллажа картину за картиной. Он показывал каждую мистеру Глеску — у того в горле булькало, как у человека, старающегося подавить рвоту,— и хватался за другую.

— Ничего не понимаю,— сказал Глеску, глядя на пол, заваленный полотнами.— Бесспорно, все это написано до того, как вы открыли себя и нашли собственную оригинальную технику. Но я ищу следа, хотя бы намек на гений, который готовится войти в мир. И...— Он ошеломленно покачал головой.

— А что вы скажете насчет вот этой? — Морниел уже тяжело дышал.

— Уберите,— мистер Глеску оттолкнул картину обеими руками. Он снова взглянул на свой указательный палец, и я заметил, что черное пятно стало сжиматься и расширяться медленнее.— Остается мало времени, и я в полном недоумении. Джентльмены, разрешите вам кое-что показать.

Он вошел в пурпурный ящик, вышел оттуда с книгой в руках и поманил нас. Мы с Морниелом встали за его спиной, глядя ему через плечо. Странички книги чуть слышно звякали, когда он их переворачивал, и они были сделаны не из бумаги, уж это точно.

А на титульном листе...

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ КАРТИН МОРНИЕЛА МЕ-
ТАУЭЯ. 1928—1996.

— Ты родился в двадцать восьмом? — спросил я.

Морниел кивнул.

— 23 мая двадцать восьмого года.

И погрузился в молчание. Понятно было, о чем он думает, и я сделал быстрый расчет. Шестьдесят восемь лет. Не каждому дано точно знать, сколько еще осталось у него впереди. Но в общем шестьдесят восемь — не так уж плохо.

Мистер Глеску открыл книгу там, где начинались репродукции.

Даже и сейчас, когда я вспоминаю свое впечатление от той первой вещи, коленки у меня слабеют и подгибаются. Это была абстракция в буйных красках, но такая, какой я никогда раньше себе и не представлял. Весь наш современный абстракционизм в сравнении с ней выглядел ученичеством на уровне детского сада.

Всякий человек, который не был лишен зрения, восхитился бы таким шедевром, даже если до сих пор он воспринимал одну лишь предметную живопись. Вещь восхищала даже в том случае, если вам вообще было плевать на живопись любого направления.

Не хочется показаться плаксой, но у меня действительно слезы навернулись на глаза. Каждый, у кого есть хоть малейшая тяга к прекрасному, реагировал бы точно так же.

Но не Морниел.

— Ах, в этом духе,— сказал он с облегчением, как человек, который понял в конце концов, чего от него требуют.— Но почему же вы сразу не сказали, что вам нужно именно в этом духе?

Мистер Глеску схватился за рукав его грязной рубашки.

— Вы хотите сказать, у вас есть и такие полотна?

— Не полотна, а полотно. Единственное. Написал на прошлой неделе в порядке эксперимента, но меня это не удовлетворило, и я отдал вещь одной девице внизу. Хотите взглянуть?

— О да! Очень.

— Прекрасно,— сказал Морниел.— Он потянулся за книгой, взял ее из рук Глеску и самым непринужденным жестом бросил на кровать.— Пошли. Это у нас займет всего минуту или две.

Непривычная растерянность обуяла меня, пока мы спускались по лестнице. В одном только я был убежден так же твердо, как в том, что Джеффри Чосер жил раньше Алджернона Суинберна,— ни одна вещь, которую написал или способен написать в будущем Морниел, не приблизится к репродукциям книги даже на миллион эстетических миль. И я знал, что он, несмотря на свое всегдашнее хвастовство и неисчерпаемую самонадеянность, тоже это понимает.

Двумя этажами ниже Морниел остановился перед дверью и постучал. Никакого ответа. Подождал две секунды и постучался еще раз. Опять ничего.

— Черт побери! Нет дома. А мне так хотелось показать вам эту вещь.

— Мне нужно ее увидеть,— очень серьезно сказал мистер Глеску.— Мне нужно увидеть хоть что-нибудь похожее на вашу зрелую работу. Но мое время подходит к концу, и...

— Знаете что? — Морниел щелкнул пальцами. — У Аниты там кошки, она просила подкармливать их в свое отсутствие и оставила мне ключ от квартиры... Если я сбегаю наверх и принесу?

— Превосходно, — радостно отозвался Глеску, глянув на свой палец. — Только, будьте добры, поскорее.

— Молниеносно. — Но затем, поворачиваясь к лестнице, Морниел перехватил мой взгляд и подал знак — тот, которым мы пользовались, совершая наши «покупки». Это означало: «Заговори ему зубы. Постарайся его заинтересовать».

Тут-то я и сообразил — книга! Слишком много раз я видел, как действует Морниел, и не мог не догадаться, что небрежный жест, каким он бросил книгу на кровать, таил в себе все, что угодно, кроме небрежности. Морниел просто положил книгу так, чтоб при желании можно было сразу ее взять. Теперь он кинулся наверх прятать книгу, а когда время мистера Глеску истечет, ее просто не удастся найти.

Ловко! Чертовски ловко, я бы сказал. А потом Морниел Метауэй возьмется создавать произведения Морниела Метауэя. Только он не будет их создавать.

Он их скопирует.

Между тем поданный знак заставил меня открыть рот и автоматически начать болтовню.

— А сами вы рисуете, мистер Глеску? — это было хорошее начало.

— О нет! Конечно, мальчишкой я собирался стать художником — по-моему, с этого начинается каждый искусствовец — и даже собственноручно испачкал несколько холстов. Но они были очень плохи, просто ужасны. Потом я понял, что писать о картинах много легче, чем создавать их. А когда взялся за чтение книг о жизни Морниела Метауэя, мне стало ясно, в чем мое призвание.

Понимаете, я не только очень хорошо чувствовал суть его творчества, но и сам он всегда казался мне человеком, которого я мог бы понять и полюбить... Вот это меня тоже озадачивает сейчас. Он совсем не таков, каким мне представлялся.

— Уж это точно,— кивнул я.

— Естественно, историческая перспектива обладает способностью как-то возвеличивать, окружать ореолом романтики каждую выдающуюся личность. Признаться, в характере мистера Морниела я уже вижу черты, над которыми облагораживающему влиянию столетий придется как следует пора... Впрочем, не стану продолжать, мистер Данцигер. Вы его друг.

— Почти единственный в целом мире,— сказал я.— У него их не так уж много.

При всем том мысль моя работала, стараясь охватить происходящее. Однако чем глубже я вникал в ситуацию, тем больше в ней запутывался. Сплошные парадоксы. Каким образом Морниел Метауэй через пять веков прославится благодаря картинам, если сам впервые в жизни увидел их в книге, изданной через пять веков? Кто написал эти картины — Морниел Метауэй?.. Так говорится в книге, и, поскольку томик теперь у него, он действительно это сделает. Но он будет просто копировать. А кому же тогда принадлежат оригиналы?

Мистер Глеску озабоченно посмотрел на свой палец.

— Времени практически уже нет.

Он бросился вверх по лестнице, и я за ним. Мы ворвались в студию, и я приготовился скандалить насчет книги — без особого удовольствия, потому что Глеску мне нравился.

Книга исчезла, кровать была пуста. И еще кой-чего не хватало в комнате — машины времени и Морниела Метауэя.

— Он уехал! — задохнувшись, воскликнул мистер Глеску. — И оставил меня здесь! Видимо, прикинул, что, если войти в ящик и захлопнуть за собой дверь, машина сама вернется в нашу эпоху.

— Прикидывать-то он мастер, — сказал я с горечью. Насчет такого я не уговаривался и в таком предприятии не стал бы участвовать. — Пожалуй, он уже прикинул и насчет правдоподобной истории, чтоб объяснить людям вашего времени, как это все получилось. Да и в самом деле, зачем ему из кожи вон лезть в двадцатом веке, когда он может быть признанной, боготворимой знаменитостью в двадцать пятом?

— Но что будет, если они попросят его написать хотя бы одну картину?

— Он скажет, что труд его жизни окончен и он не чувствует себя в силах добавить к этому что-нибудь значительное. Не сомневаюсь, кончится тем, что он еще будет читать лекции о самом себе. Можете за него не беспокоиться, он не пропадет. Меня вот тревожит, что вы здесь увязли. Можно ли надеяться на спасательный отряд?

Мистер Глеску с убитым видом покачал головой.

— Каждый лауреат дает подписку, что он сам несет ответственность в том случае, если возвращение невозможно. Машину запускают раз в пятьдесят лет, а к тому времени какой-нибудь другой ученый будет требовать права посмотреть разрушение Бастилии, присутствовать при рождении Гаутамы Будды и чего-нибудь в таком роде. Я тут действительно увяз, как вы выразились. Скажите, это очень худо — жить в вашем времени?

Чувствуя себя виноватым, я хлопнул его по плечу.

— Ну, не так уж и худо! Конечно, надо иметь удостоверение личности, — не представляю, как вы будете его получать в таком возрасте. И возможно — конечно,

нельзя сказать наверняка — ФБР либо Иммигрантское управление вызовут вас на допрос, поскольку вы все-таки что-то вроде иностранца, проникшего сюда нелегально.

Лицо его перекошилось.

— Боже мой! Ведь это ужасно.

Но в этот миг меня озарила идея.

— Не обязательно... Слушайте, у Морниела есть удостоверение личности — года два назад он поступал на работу. А свидетельство о рождении он держит в ящике стола вместе с другими документами. Почему бы вам не стать Морниелом? Он-то никогда не уличит вас в самозванстве.

— Вы думаете, я мог бы? Ну, а его друзья, родственники...

— Родители умерли. Ни одного родственника, о котором бы я слышал. И, кроме меня, как я вам уже говорил, никого, близкого к понятию «друг». — Я вдумчиво оглядел мистера Глеску с головы до ног. — По-моему, вы могли бы за него сойти. Может быть, отрастите бороду и покраситесь под блондина. То да се... Правда, серьезная проблема — чем зарабатывать на жизнь. В качестве специалиста по Метауэю и направлениям в искусстве, берущим от него начало, на многое вам рассчитывать не приходится.

Он вцепился в меня.

— Я мог бы писать картины. Всегда мечтал стать художником. Таланта у меня мало, но я знаю множество технических приемов живописи, всевозможные графические нововведения, которые неизвестны вашему времени. Думаю, что даже без способностей этого будет достаточно, чтобы перебиться на каком-нибудь там третьем-четвертом уровне.

И этого оказалось достаточно. Совершенно достаточно. Причем не на третьем-четвертом уровне, а на первом. Мистер Глеску, он же Морниел Метауэй,— лучший из живущих ныне художников. И самый несчастный среди всех них.

— Послушайте, что происходит с публикой? — разозлился он после очередной выставки.— С ума они что ли посходили — так меня расхваливать? Во мне ведь ни унции таланта. Все мои работы не самостоятельны, все полотна до единого — подражания. Я пытался сделать хоть что-нибудь, что было бы полностью моим, но так погряз в Метауэе, что утратил собственную индивидуальность. Эти идиоты-критики продолжают неистовствовать, а вещи-то написаны не мною.

— Кем же они тогда написаны? — поинтересовался я.

— Метауэем, конечно,— ответил он с горечью.— У нас думали, что парадокса времени не существует,— хотелось бы мне, чтоб вы почитали ученые труды, которыми забиты библиотеки. Специалисты утверждали, что невозможно, например, скопировать картину с будущей репродукции, обойдясь таким образом без оригинала. А я-то что делаю — как раз и копирую по памяти!

Неплохо было бы сказать ему правду, он такой милый человек, особенно по сравнению с этим проходимцем Метауэем, и так мучается.

Но нельзя.

Видите ли, он сознательно старается не копировать те картины. Он так упорствует в этом, что отказывается думать о книге и даже разговаривать о ней. Но мне все же удалось недавно выудить из него две-три фразы. И вы знаете, какая штука? Он ее не помнит — только в самых общих чертах.

Удивляться тут нечему — он и есть настоящий Мор-

ниел Метауэй, без всяких парадоксов. Но если я ему когда-нибудь открою, что он просто пишет эти картины, создает их сам, а не восстанавливает по памяти, его покинет даже та ничтожная доля уверенности в своих силах, которая в нем есть, и он совсем растеряется. Так что пусть уж считает себя обманщиком, хотя на самом деле ничего подобного.

— Забудьте об этом,— твержу я ему.— Доллары все равно остаются долларами.

Если бы воссоздать в этой комнате все орхидеи, какие только есть на свете... Неплохо бы, наверно, получилось. Но, пожалуй, для начала лучше попробовать обыкновенный люминесцентный спектр...

Лиана задумалась, ее тонкие пальцы застыли над клавиатурой электронного цветочника. Но прошло мгновение, и средним пальцем правой руки она мягко тронула одну из клавиш.

В глубине просторной, тщательно прибранной, строгой комнаты снопом взметнулось желто-зеленое пламя. Прозрачный огонь колебался, ширился, становился легче, прозрачнее. Наконец он растекался светящейся завесой с мерцающими туманными краями.

Пальцы Лины мягко и упруго касались клавиш.

Завеса, послушная воле ее пальцев, колыбалась как от ветра, в ее центре вспыхивали искры и разбегались к туманным краям, потом, словно испугавшись пустоты, соединялись в длинные зигзагообразные молнии, в радужные дуги и огненные шары, и все эти ослепительные краски и причудливые формы, соединяясь, сплетаясь, свиваясь, начинали сумасшедшую игру... Звездопады, солнечные ливни, северное сияние...

Танец света убыстрил свой ритм... экстаз, и вдруг... все застыло. На бледно-зеленом фоне проступили бархатистые лиловые орхидеи. Цветы отличались от всех орхидей, растущих на земле. Стереоскопический светя-

щийся букет, созданный призрачной вспышкой ускоренных, заряженных высокой энергией электронов, завораживал своей необычной красотой, непохожей на ту, которую знает природа.

Хорошо очерченные губы Лины плотно сжались, в ее глазах появился лихорадочный блеск.

А пальцы, словно отделившиеся от тела крохотные живые существа, продолжали блуждать по клавишам и заставляли свет преломляться, фосфоресцировать и рисовать в пустоте объемные картины.

Лепестки орхидей удлинялись. Покачивались тычинки, едва заметно шевелились ложноножки. Становилось тревожно от близкого соседства с этими чувственными и жадными цветами. Неожиданно в глубине фиолетовых зарослей обрисовался тускло-серый ствол засохшего дерева.

Откуда-то снизу поднялись пышные изумрудно-зеленые папоротники. Щупальца орхидей скользнули по резным листьям. Из мохнатого темно-желтого пестика потек красный туман и обрызгал кровавыми каплями кору мертвого дерева.

У капель красного тумана был свой ритм. Цветы подчинились ему. Фосфоресцирующее изображение закружилось в медленном танце и замерло.

Готово!

Затаив дыхание, Лина смотрела на дело рук своих. Нажала на клавишу закрепления. Картина, похожая на оживший сон, зафиксировалась в пустоте.

— Великолепно, Лина!

Голос, низкий, богатый оттенками, прозвучал за ее спиной.

Лина даже не обернулась, она знала, чей это голос. Это была ее близкая подруга Юри. Лина сняла с плеча тонкий шелковый шнурок, который поддерживал элек-

тронный цветочник, лежавший у нее на коленях, положила цветочник на стол и только сейчас заметила, что ее тело покрылось легкой испариной.

Перед видеофоном стояло стереоскопическое изображение Юри. Юри внимательно оглядела произведение Лины, потом едва заметно кивнула.

— Просто восхитительно. У тебя всегда получается... Да, в твоём икебана что-то есть.

Юри любила это древнее слово. Когда-то, давным-давно так называлось искусство декорировать комнату настоящими живыми цветами. Дополнением к цветочному интерьеру служили ветка, кусок древесной коры, металлическая или пластмассовая фигурка, керамическая ваза, плоское фарфоровое блюдо. Теперь это слово осталось только в обиходе профессионалов — специалистов по электронному цветосоставлению, да и то его можно было услышать лишь на официальных выставках цветов. Но в устах Юри слово «икебана» не звучало как архаизм. Конечно, она была признанным мастером, вдохновенным творцом электронных цветов, молодежь почитала за счастье учиться у Юри. Но дело не в этом. Юри, великодушная, щедрая и немного легкомысленная, жила весело и открыто, и все, что она говорила, несло на себе печать этой легкости.

Лина улыбнулась.

— Спасибо...

— Не благодари, пожалуйста! Я ведь тебе так завидую! Да, да, не смейся! Хвалю, а сама думаю — вот противная, и как это у нее так здорово получается...

Обычный для Юри тон.

— Неправда! Ты добрая. Умеешь вдохновить и подзадорить.

— Ничего подобного! Просто я тебя люблю. Если бы на твоём месте была другая, я бы такого наговорила!

Ей бы тошно стало от моих комплиментов. Знаешь, что бы я сказала? — Какие изумительные цветы, милочка! Да у вас просто волшебный инструмент! Будь у меня такой, я бы рискнула вступить с вами в соревнование...

Юри говорила в шутливом тоне, но ее глаза пристально, серьезно смотрели на Лину.

Лина перестала улыбаться. Оглянулась на стол, где лежал электронный цветочник. Он казался совершенно новеньким, но на самом деле это был почтенный старичок — просто с ним бережно обращались. Очень сложная конструкция, старомодная форма — таких сейчас нигде и не встретишь. Благородный блеск на его поверхности говорил о том, что его много раз касались заботливые руки.

— Да, это, пожалуй, верно... Ну конечно, верно!.. Но тогда я не имею права владеть таким инструментом. Ты знаешь, откуда он у меня? Его сделал один ученый, кибернетик, большой друг моего отца. Он трудился над ним почти всю жизнь, это было нечто вроде его хобби... Потом, незадолго до смерти, он подарил инструмент отцу, а уж от отца он перешел ко мне... Нет, не спрашивай имени изобретателя, оно тебе ничего не скажет. Он был гений, но гений непризнанный. Как я ему благодарна, если бы ты знала! Он настоящий творец этих прекрасных цветов, а я тут ни при чем.

— Да перестань! Я же пошутила, а ты приняла всерьез! — Юри, несмотря на свою беспечность, кажется, немного расстроилась. — Каким бы совершенным ни был инструмент, он не более чем послушная машина, наделенная электронным мозгом. Принцип устройства у всех у них одинаковый — электромагнитный импульс выбивает из орбит и заставляет фосфоресцировать внеядерные электроны содержащихся в воздухе кислорода, азота и аргона. Ты сама должна понимать, что в этом

отношении между инструментами нет никакой разницы. Значит, дело тут в мастерстве, в идее, в творческой фантазии. Короче — в твоём таланте.

Лина печально посмотрела на возбужденную Юри.

— Нет, Юри, нет, нет... Ты говоришь о творчестве...

А я в последнее время не получаю никакого удовлетворения от электронного цветочника, не то что раньше... — Лина хотела что-то добавить, но плотно сомкнула губы. На языке у нее вертелся вопрос — почему?.. почему?..

Но спроси она, и Юри увидела бы ее насквозь. И тогда вся тоска, вся боль и усталость, накопившиеся в душе за долгие годы, хлынут наружу. Нет, ей не хочется выглядеть жалкой и беспомощной! Лина улыбнулась как ни в чем не бывало.

— Впрочем, все это ерунда. Просто, наверное, машины, даже самые умные, порой надоедают. Иногда мне даже хочется повозиться с живыми цветами, как это делали в древности...

— Ну что ты! Во-первых, живые цветы страшно недолговечны, а во-вторых, их краски не поддаются никаким изменениям, и это очень неудобно. Но если уж тебе такие мысли приходят в голову... — Юри немного подалась вперед. — Послушай, Лина... Мне хотелось бы серьезно поговорить с тобой...

— Да?

— Сколько тебе лет?

Лина рассмеялась.

— Вот чудачка! Будто не знаешь...

— Знаю, конечно. Шестьдесят восемь, не так ли?

— Совершенно правильно. Совсем уже бабушка.

— Ну это ты брось! Мне на десять лет больше, а я все еще прыгаю. Посмотри-ка на меня! По-моему, очень милая дамочка средних лет! — Юри звонко засмеялась. — Хорошо все-таки жить в двадцать втором веке!

Столетие назад я бы считалась старой развалиной или давно бы уже лежала на кладбище.

— Не понимаю, куда ты клонишь...

— Да просто хотела поинтересоваться, не собираешься ли ты вступить в долгосрочный брак.

— Нет.

— Да... понимаю. В долгосрочный брак лучше вступать до пятидесяти. В нашем возрасте уже лень заводить эту канитель.

— Юри, скажи откровенно, почему ты вдруг об этом заговорила?

Почувствовав в голосе подруги нотки легкого раздражения, Юри затараторила:

— Я подумала, если ты не собираешься замуж надолго или навсегда, значит, у тебя пока что не будет обременительных домашних обязанностей... Не согласилась бы ты читать лекции у нас в Институте электронного цветосоставления? погоди, не перебивай, выслушай меня до конца! Знаю, профессионализм тебе претит. Но все же подумай об этом. Просто грех скрывать такое мастерство! Вообще-то я понимаю твое отношение к искусству — это для тебя святыня. Но все же нельзя быть такой пуританкой и максималисткой! Ты и искусство, и больше никого и ничего. Но ведь это же — пустота, вакуум! Ты думала когда-нибудь, какое счастье поделиться своими знаниями, способностями, умением с молодежью? Преподавание дает большую радость. Я и сама не знаю, как бы прожила в наш безумный век, если б каждый день не чувствовала контакта с учениками... Ну ладно, пока. Подумай об этом.

Лина протянула было руку, словно хотела удержать стереоскопическое изображение Юри, но оно побледнело и исчезло. Значит, видеофон уже отключили.

Юри умела красиво уходить. Вот и сейчас сказала

все, что хотела, не стала слушать возражений, оставив за собой последнее слово, улыбнулась на прощанье и исчезла.

Глядя на пустое пространство перед видеофоном, где еще секунду назад стояла ее подруга, Лина ощутила смутное беспокойство. Была — и нет ее. Она, Лина, снова в одиночестве... Разве не то же самое испытывает она, когда завершает очередную электронную картину: сначала вдохновение, творческий взлет, а потом — пустота...

Болтовня Юри разбередила ее. Впрочем, подруга недвусмысленно намекала на тоску, которую испытывает художник-одиночка. Но раньше Лина ничего подобного не замечала. Электронный цветочник, покорные клавиши, яркие видения в глубине комнаты. Это было счастье. А за последние два-три года все изменилось. После очередного сеанса — разочарование, а не удовлетворение. Острое чувство тоски, сосущее, как боль под ложечкой. В первое время Лина думала, что все это блажь. Нельзя поддаваться мимолетным настроениям. Разве не в искусстве смысл ее жизни? Разве это может надоесть? Ведь совершенствованию мастерства нет предела... Но, очевидно, предел был. Достигнув вершин мастерства и даже не сознавая этого, Лина заскучала. И тоска, впервые посетившая ее в минуту душевной усталости, заняла прочное место в ее жизни. Да, это Лина понимала.

Но все же — почему? Она всегда считала себя счастливой.

Лина задумалась. Кончики ее пальцев жили собственной жизнью — рассеянно скользили по клавишам, порой нажимали то одну, то другую.

Говорят, в старину искусство икебана для многих было не только наслаждением, но и средством добыва-

ния хлеба насущного. Современные критики называют это суровой правдой искусства. Но все это в прошлом... и к Лине не имеет никакого отношения. Ей повезло — она живет в двадцать втором веке.

Ей не хотелось ни двигаться, ни шевелиться. Сидеть вот так и думать. Думать о чем-то и в то же время ни о чем... Но вдруг Лина вздрогнула, ощутив чье-то присутствие.

Она обернулась.

У противоположной стены стоял мужчина. Молодой, лет шестидесяти пяти. Лицо, угрюмое, замкнутое, чем-то неуловимо знакомо. Как нелепо он одет! Ну да, лет пятьдесят назад, на грани двадцать первого и двадцать второго веков, вдруг возродилась мода двадцатого столетия. В стародавние времена мужчины носили именно такую одежду, страшно неудобную, состоящую из двух частей — рубашка со множеством пуговиц и брюки с хорошо отутюженной, но совершенно нелепой складкой. Помнится, она посмеивалась над этой модой, называя ее «конец света».

— Кто вы? — спросила Лина, хмуря брови. Она привыкла общаться со своими друзьями с помощью видеофона, и присутствие живого человека в комнате раздражало ее. — Как вы сюда попали?

Мужчина молча вынул руки из карманов брюк и скрестил их на груди.

Лина вскрикнула.

— Узнала?

Он улыбнулся, на щеках появились ямочки. Какая чудесная детская улыбка! Лина засмеялась, закивала ему и порывисто шагнула навстречу. Потом вдруг ей стало стыдно, лицо залилось краской. Нельзя все-таки быть такой несдержанной и непосредственной в ее-то годы!

— А ты все такая же, ничуть не изменилась. Спокойная, холодная как мрамор, и вдруг — порыв, буря! И вслед за этим — пылающие щеки, краска стыда... Вылитая героиня кинофильма двадцатого века! — мужчина смотрел на нее ласково. У него был приятный голос — бархатный баритон.

— Да, наверно, я все такая же... Как давно это было, ужасно давно... Ты можешь сосчитать, Минору, сколько лет прошло с тех пор? Что-то около пятидесяти...

— Поразительно! Ты помнишь мое имя!

— Вспомнила. Честно говоря, это получилось случайно, вот сейчас. Раньше я пыталась вспомнить и никак не могла... Ведь мы были вместе страшно давно...

— Да, страшно давно и очень недолго — всего полгода, — сказал Минору.

И эти слова, преодолев полувековую преграду, вызвали в памяти Лины давно забытые картины. Все обрело удивительную четкость и ясность, словно было только вчера.

Да... тогда Лина не ответила ему ничего определенного. До самой последней минуты так ничего и не сказала. А Минору предлагал продлить их краткосрочный брак хотя бы еще на год, хотя бы на несколько месяцев, если уж она не согласна на вечное супружество...

И почему так получилось? Она всегда тепло относилась к Минору, даже любила его. Ей было хорошо с ним и тоскливо без него. Но все-таки что-то удерживало ее от решительного шага. Так она ему ничего и не сказала. До самой последней минуты.

Очевидно, в конце концов победила жажда приключений, свойственная юности. Лина хотела насладиться жизнью в полную меру. Не хотела связывать себя. Она была еще такой молодой — не прожила и одной пятой

отпущенного человеку двадцатилетнего срока. Люди в то время жили взахлеб, подчиняясь сумасшедшему ритму эпохи. А чем Лина хуже других? Ей казалось, что счастье — это постоянная смена впечатлений, никогда не прекращающаяся погоня за наслаждениями. Вечный или даже долгосрочный брак положил бы конец такой жизни.

И она... рассталась с ним. Удрала потихоньку, исчезла, испарилась...

Потом Лина не раз вступала в краткосрочные браки. И не раз бывала счастлива. Ей встречались мужчины, которые давали ей все, о чем может мечтать женщина.

Но, как ни странно, полного удовлетворения она не испытала. Неповторимость и свежесть чувств исчезли в тот день, когда она ушла от Минору.

Возможно, это подсознательное чувство неудовлетворенности и по сей день мешало ей вступить в долгосрочный брак. Вроде бы все хорошо, но где-то на доннышке накапливается горький осадок.

— Ты... сейчас...

Лина замолчала. Она хотела спросить, состоит ли сейчас Минору в долгосрочном или вечном браке, но что-то ее удержало.

Но Минору понял. Он покачал головой:

— Нет, я один...

— Один?.. То есть...

— Ну да, один! Совершенно один... абсолютно один... Я — и больше никого, — сказал Минору, отекая каждое слово своим звучным баритоном.

— Не может быть!

Лина вдруг почувствовала медленно нарастающую холодную ярость. Наверно, он смеется над ней. Спе-

циально пришел, чтобы посмеяться. И нарочно так говорит — не говорит, а почти поет.

— Почему же не может быть? Я один...

— А где ты... вообще?

— Как видишь, здесь.

— А чем ты занимаешься?

— Стою перед тобой...

— Перестань паясничать!

Лина сама удивилась резкости своего голоса. Но, как видно, вся боль, вся горечь, которая скапливалась в ней годами, теперь прорвалась наружу, как взбесившаяся вода, вдруг уничтожившая дамбу. Теперь или никогда! Она не хочет, не может отпустить Минору! Если он уйдет, тогда уже ничего больше не останется, совсем ничего. Только горький осадок, разъедающий душу. Она готова на вечный брак или на долгосрочный. Лишь бы он захотел!

Минору странно улыбался, и Лина снова задохнулась от ярости.

— Зачем ты пришел?

— Да просто так... повидаться с тобой.

— Теперь? Какая в этом необходимость?

— Не знаю... Просто захотелось взглянуть на тебя, вот я и пришел.

— Но зачем, зачем? Хочешь унизить меня? Бросить мне в лицо слова обвинения, которые не удалось произнести пятьдесят лет назад? Насладиться моими муками, моим поздним раскаянием?

Лина рванулась к Минору.

Он изменился в лице.

— Не подходи!

— Что?!

— Нельзя! Стой на месте! Не подходи ко мне близко!

Но Лина была уже не в силах сдерживаться. С простертыми вперед руками она бросилась к Минору. И... чуть не упала, потеряв равновесие. Ее руки обнимали пустоту.

Минору нигде не было. Он исчез.

Сначала она очень испугалась, а потом ее охватило такое отчаяние, словно весь мир раскололся пополам.

Ну, конечно... Она ведь знала... Должна была знать...

К ней приходил не Минору. Это был его образ, созданный электронным цветочником.

Последнее время она часто вспоминала Минору. Думала о нем, машинально перебирая клавиши. Ее пальцы бессознательно приказывали электронному мозгу воспроизвести его образ. И вот наконец машина запомнила, зафиксировала в своей памяти все мельчайшие детали, и он появился.

Что ж, это чистая случайность. Каприз судьбы или, вернее, каприз электронного мозга. Возникали же иногда помимо ее воли причудливые яркие цветы, а вот теперь возник Минору...

Испуг прошел. Человеческий разум победил.

Но тоска осталась. Видно, ей суждено вечно жить в душе Лины и разъедать ее, как кислота разъедает стенки сосуда.

Лина окинула взглядом комнату. Закрыла глаза, пытаясь еще раз вызвать образ Минору хотя бы в своей памяти. Но он был блеклым и расплывчатым. Все проходит, и ничего, ничего не остается, только пустота...

Может быть, так и положено. Может быть, это просто возраст... Правда, по современным понятиям она далеко еще не старая женщина, но все равно больше половины жизни уже прожито. И она устала, очень устала... А главное, его нет, давным-давно нет...

Лина почувствовала, как что-то в ней увядает, роняя недавно еще свежие лепестки. Так увядали когда-то живые цветы под холодным осенним ветром.

Придется пойти к Юри, в институт, и учить молодежь прекрасному и печальному искусству создавать электронные цветы — насыщенные свежими красками иллюзии, которым она отдала всю свою жизнь. Иначе она не выдержит, ни за что не выдержит...

— Если уж говорить о самобытности, то вы банкрот, — заявил Картер. — Взгляните правде в глаза, Рамирес! Вашему искусству приходит конец. Оно просто не выживет. Общество развивается слишком быстро, технический прогресс слишком далеко зашел. Где вы сегодня найдете человека, настолько знакомого с разными сторонами жизни, чтобы создать подлинное произведение искусства?

— А вы хотите ускорить развязку! — с горечью бросил Рамирес. — Содействовать гибели искусства! — Художник был небольшого роста, смуглолицый, с черными курчавыми волосами, беспорядочно спадающими на лоб. Большой морщинистой рукой он поднес стакан текилы ко рту, залпом выпил его и пососал ломтик лимона.

— Нет, — возразил Картер, — совсем не так. — Крупный, лысеющий, он откинулся в кресле и включил аппарат для массажа. По спине побежали приятные мурашки, напряженные мускулы расслабились. — По правде говоря, я бы хотел увидеть что-нибудь новое. Но просто не верится, что это возможно. Искусство требует от художника понимания основных закономерностей человеческой жизни. А жизнь стала так сложна, что уже никто не может осознать всех ее закономерностей.

В былые времена человек, обладавший редким даром подлинной наблюдательности, мог уловить эти закономерности, будучи всего лишь участником жизни. Напри-

мер, да Винчи и Микеланджело. Даже Пикассо черпал творческое вдохновение из жизненного опыта.

Но что представляет собой жизнь сегодня? Гигантский лабиринт, царство узких специалистов. Один осваивает программирование, другой — производство пищевых продуктов, третий изучает астрофизику. Что между ними общего? Что могло бы стать общей основой изобразительного искусства? Пища, которую они едят? Товары, которые они потребляют? Это использует реклама в превосходных академических композициях, а в итоге все сводится к призыву покупать.

Нет, Рамирес, художника должна связывать с аудиторией общность жизненного опыта. А эту-то общность люди утратили. Положим, некоторые из них способны воспринять уже существующее искусство. Художники прошлого создавали нечто столь простое и ясное, что их творения не подвержены разрушительному воздействию времени. Может, удастся даже создать искусственно упрощенную среду и новые произведения в подобном духе. Натюрморты, портреты. Но разве это решение вопроса? Это не новое искусство. Это не искусство нашего времени. Это не наше искусство! Ведь вам известно, что последним новым видом искусства было кино. Все, что делалось после этого, — простая техника.

Рамирес рассеянно вертел в руке пустой стакан. Мария Картер тихо подошла сзади и подлила ему текилы. Картер взглянул на жену и недовольно приподнял брови. По его мнению, Рамирес и так уже перебрал. Но Мария загадочно посмотрела на мужа, и он решил воздержаться от замечаний. К тому же Рамирес — гость Марии, вернее, ее друг. Картеру этот человек нравился, но, если бы Мария не настояла, он не стал бы приглашать его, чтобы лично сообщить неприятную новость.

— У вас уже все разложено по полочкам, — сказал

Рамирес. Он обвиняюще, в упор взглянул на Картера.— Искусство — это не то, о чем вы говорите. Нет,— он залпом выпил текилу.— Искусство — это...

— Ну, ну,— подбодрил его Картер, делая знак Марии, чтобы та унесла бутылку. Но она наполнила стакан и рядом с ним положила еще один ломтик лимона с миниатюрного фарфорового подноса. Рамирес взял стакан, но не отпил, а стал вертеть его в руках.

— Искусство,— заговорил он,— состоит в том, чтобы создать нечто на пустом месте. Показать нечто такое, чего никто никогда не видел. Помните того парня, который выкрасил оранжевой краской пятнадцатиметровый холст? Он назвал его «Оранжевое полотно», показал людям оранжевый цвет — только и всего. Но некоторые из них... они никогда не видели оранжевого цвета. Они думали об оранжевых свитерах, оранжевых стенах, но никогда не видели оранжевого цвета. Это и есть искусство. Или на какое-то время продлить чему-то жизнь — это тоже искусство. Заставить что-то длиться, после того как оно перестало существовать. Внушить людям чувство к женщине, умершей четыреста лет назад. Мона Лиза — это искусство.

— Вот именно! — сказал Картер. Он подался вперед и выключил аппарат для массажа.— Ну а как же вы заставите людей волноваться? Как добьетесь, чтобы людям не было в высшей степени наплевать, ну, скажем, на мою жену Марию? Она так же прекрасна, как Джиоконда, но неужели вы думаете, что сделаете ее столь же значительной, если изобразите на холсте?

— Нет,— ответил Рамирес,— не сделаю.

— Самое главное, что вы должны увидеть и прочувствовать, а затем перенести на холст,— продолжал Картер,— это общие для всех переживания. А их просто-напросто нет. С этой проблемой столкнулись еще на поро-

ге двадцатого столетия, когда стали экспериментировать с податливой пластичной реальностью холста в двух и трех измерениях. К пониманию этого начали приходить еще тогда. Стоило только начать, ну а дальше вовсе ничего не осталось. Только отдельные новаторские приемы. Бесполезно, Рамирес: создавать бессмертные произведения теперь нельзя. Искусство — это вещь для прошлого и из прошлого. Все наши бессмертные творцы уже родились, наши Шекспиров, наши Сервантесы.

Взгляд Рамиреса стал отрешенным. Художник надолго замолчал. Картер вертел стакан с джином, прислушиваясь к звяканью льда о стекло. Рамирес не двигался. Картер взглянул на часы и вспомнил, что у него свидание. Деловое свидание, а если вы хотите преуспеть, то дело должно быть прежде всего. Он кашлянул. Рамирес резко поднял голову и взглянул на него.

— Я мог бы кое-что сделать,— сказал художник.— Нечто такое, что заставило бы вас волноваться.

— Не говорите глупостей,— ответил Картер, вставая.— Мне нравятся ваши картины, но... вот в прошлом году вы написали для меня портрет Марии. Красивая и сильная вещь. Отдаю вам должное. Но она не волнует меня настолько, чтобы я предпочел ее обществу жены в натуре, так сказать. И не раскрывает мне ничего нового ни в Марии, ни в ком-либо другом. Прекрасная картина, но я не назвал бы это искусством.

Рамирес залпом осушил стакан. Дыхание его участилось, и Картер испугался, что он попросит еще текилы. Но художник неожиданно встал и разбил стакан о каменный пол террасы.

— Значит, вам хочется чего-то нового? — выкрикнул Рамирес.— Вам всегда хочется чего-то нового. И обязательно красивого!

— Не горячитесь,— резко сказал Картер. Ему не нра-

вилось, что Рамирес сейчас был слишком пьян.— Ни к чему хорошему это не приведет. Я пригласил вас к себе, потому что вы наш близкий друг. Иначе вы бы просто получили письмо и уведомление от шерифа.

— А, идите к черту,— сказал Рамирес.

— Я знаю, что каньон вам дорог,— продолжал Картер.— Но как только будет сооружена эта плотина, в Мексике немало людей получат пищу и кров. Тысячи людей. Подумайте об этом. Ее уже давно следовало построить.

— Не разводите демагогию,— сказал Рамирес.— Вы строите плотину, потому что заработаете на этом миллионы долларов. Благодаря ей вы чертовски разбогатеете. Именно поэтому вы ее и строите.

Зазвонил колокольчик, и Мария легкими шагами пересекла гостиную, чтобы открыть дверь. В прихожей Картер услышал голоса Джейка и Элспет Прайор, пришедших раньше условленного часа. Такие люди не должны ждать. Элспет — видная специалистка в области электроники. Надо быстро, без скандала избавиться от Рамиреса.

— Послушайте,— сказал Картер.— Пусть я получаю прибыль от этой сделки, мне, право, искренне жаль, что вам приходится нести из-за нее убытки. Но разве вы не понимаете, что кто-то всегда проигрывает? Если это как-то поможет, могу послать вам чек кроме той суммы, которую корпорация выплачивает за землю при строительстве плотины.

— Ну конечно! — сказал Рамирес несколько громче, чем хотелось бы Картеру.— Ну конечно! Покупай все что можно! Но ведь твою-то душу это не задевает! И значит, ты дурак, ведь я мог бы ее задеть! Ты утверждаешь, что у художника нет больше ничего общего с аудиторией, но

это не так! Я мог бы показать эту общность! Я мог бы заставить тебя переживать!

Джейк и Элспет обогнули фонтан в холле, и Джейк устремился к бару. Элспет выразительно посмотрела на Картера, давая понять, что надо немедленно подойти к ней, отложив все другие дела. Такой уж у нее был характер.

— Послушайте, мы обсудим это в другой раз,— сказал Картер Рамиресу.

— Другого раза не будет! — закричал Рамирес. — Ты, проклятая грязная свинья, не будет другого раза! Ты припер правительство к стенке, чтобы отнять у меня землю. А теперь вместо извинения бросаешь мне жалкую подачку! И тебе на все наплевать! Плевать, кто из-за тебя пострадает!

— Рамирес, вы замолчите наконец? — сказал Картер.

— Но я тебя заставляю переживать,— продолжал Рамирес. Картер пытался отеснить его к двери, но художник стоял на ковре, широко расставив ноги, преисполненный решимости высказаться до конца. — Я тебе покажу общность переживаний. Я создам подлинное произведение подлинного искусства. Я покажу тебе нечто бессмертное. Я тебя заставляю переживать!

— Хорошо, Рамирес, хватит,— сказала Мария.

Рамирес отодвинулся от Картера. Его лицо смягчилось, но было по-прежнему жестоким и целеустремленным. Он смотрел в глаза Картеру холодным трезвым взглядом.

— Сколько? — тихо спросил Рамирес размеренным ледяным голосом. — Сколько, если я принесу вам произведение искусства, дело моих рук, а, Кеннет Картер? Нечто такое, что заставит вас переживать, выведет из душевного равновесия, потрясет, будет иметь для вас значение? Вы увидите общий жизненный опыт, но совер-

шенно новый и прекрасный. Сколько вы мне заплатите?

В комнате воцарилась тишина. Рамирес задавал эти вопросы таким тоном, будто размышлял вслух. Они скорее походили на утверждения.

— Пятнадцать тысяч? — спросил Рамирес.

Картер на секунду задумался.

— Ну... — начал он.

— Выражение вашего лица мне знакомо, — сказал Рамирес. — Я узнаю его. Такое выражение бывает у коллекционеров, когда они слышат о предмете своих желаний. Слушайте, Картер, я хочу пятьдесят тысяч. Пятьдесят тысяч за самобытное, уникальное произведение искусства. Когда-то вы столько же заплатили за картину Миро.

Картер лихорадочно думал. Он чувствовал на себе пристальный, нетерпеливый взгляд Элспет. Он жаждал лишь одного — как можно быстрее избавиться от художника.

— Хорошо. Я уплачу эту сумму, если вы сделаете то, о чем говорите. Но я сильно сомневаюсь, Рамирес. В искусстве вы разбираетесь, но никогда не путешествовали, не знаете всех сторон жизни. Вряд ли у вас что выйдет, но я готов рискнуть. Я дам пятьдесят тысяч за такое произведение искусства, если вы сумеете его создать.

— Оформите эту сделку, — сказал Рамирес.

— Позвони в нотариальную контору и оформи договор, — сказала Мария, видя, что Картер не двигается с места.

— Пусть оформят по всем правилам бюрократии, чтобы вы не могли отвертеться. Но, ради бога, защищайте свои интересы. Вы не обязаны платить, если работа вас не удовлетворит.

Картер подошел к видеотелефону и вызвал Центральную нотариальную контору. Сначала ему предложили

обратиться в Отдел регистрации пари, но когда он назвал свое имя, его соединили с другим отделом. Формально это было пари, но положение Картера в обществе позволило ему зарегистрировать сделку как договор двух частных лиц.

Когда оформление было завершено, Рамирес молча подошел к бару, вынул граненую пробку из бутылки с текилой и сделал три больших глотка.

— За искусство, мистер Кеннет Картер. За искусство и за мой каньон. Вы выпьете за это?

— Пожалуйста, уходите,— сказал Картер.

— Выпейте же! — настаивал Рамирес.

Картер отпил глоток джина.

— Не трудитесь провожать меня до двери,— бросил Рамирес и направился в прихожую. Он ступал нетвердым шагом, но осанка его оставалась величественной.

До брака с Кеннетом Картером она была Марией Тейфел, а еще раньше Хелен Огильви. Когда она приехала в Голливуд, у нее был сорокапятидюймовый бюст, узкая талия и привлекательные бедра. Волосы у нее были черными, а нижние зубы не очень ровными. Продюсер нашел у нее талант, перекрасил ее в блондинку, выправил зубы и дал ей главную роль в нескольких фильмах, где и сюжет и наряды героини были сведены к минимуму. Кассы кинотеатров никак не откликнулись на это, но продюсер не сдавался. Она превратилась в норвежку Марию Тейфел. Продюсера не волновало, что она учит норвежский язык урывками, в перерывах между съемками в студии. Ему было безразлично, имеет ли фамилия «Тейфел» хотя бы отдаленное сходство с норвеж-

скими именами. Он интересовался лишь ее талантами. В следующем фильме он еще более урезал наряды героини. Фильм имел успех, и успех пришелся ей по вкусу.

Продюсер удивился, обнаружив, что Мария Тейфел умеет играть, а она действительно была превосходной актрисой. Она продолжала успешно сниматься в фильмах и получила премию Оскара. А затем, в зените славы, на вершине своей карьеры она вышла замуж за бизнесмена Кеннета Картера. Для некоторых женщин это было бы концом карьеры, для многих — прелюдией к трагическому несовпадению интересов, а для большинства — прелюдией к разводу. Но брак оказался удачным, и положение Марии с каждым годом упрочивалось, а ее талант расцветал. Волосы у нее снова стали черными, она перешла в драматический театр и добилась триумфального успеха. Она стала величиной мирового класса, а ее имя — синонимом утонченного вкуса.

Теперь ее волосы были серебристо-седоватыми, но она оставалась очень привлекательной женщиной. Она смотрела на картину Рамиреса, а Картер неотрывно следил за женой, надеясь по выражению ее лица угадать, что она думает.

— Как же это устроено? — спросила наконец Мария, ни на миг не отрывая глаз от картины.

— Молекулярный распад, — объяснил Рамирес. — Картина сделана таким образом, что изображение, которое вы видите на ней, определяется случайным распадом молекул в источнике питания. Она будет функционировать еще долго после того, как Мона Лиза потрескается и превратится в пыль. Но каждую секунду картина будет меняться. Пейзаж всегда одинаковый, но в то же время он постоянно меняется, обновляется, точь-в-точь как жизнь. Это и есть та самая общность жизненного опыта, которую вы так усердно ищете в искусстве, ми-

стер Картер. Перемена. Ибо все непрерывно изменяется, и никто не может этого избежать.

Картер внимательно посмотрел на картину. Любопытно... Он затруднялся составить о ней мнение. Картина была около четырех футов длиной, трех футов высотой и толщиной в несколько дюймов. Рамирес объяснил, отчего она такая толстая: картина была автономной, не зависела от внешнего мира, механизмы, источники энергии и прочее — все находилось внутри. Было похоже, что на ее создание ушло гораздо больше месяца. Пожалуй, художник начал работу прежде, чем заключил то дурацкое пари.

Отрицать ее красоту было невозможно. Уходящий вдаль узкий каньон. Отвесные красные стены вздымались вверх по обе стороны журчащей речки. В жарком синем небе, где-то далеко в вышине, то приближаясь, то удаляясь, плавно парили кондоры или орлы. На переднем плане пологий берег реки постепенно переходил в лужайку, где стоял глинобитный дом. Перед домом, между ним и водой, находился небольшой огород.

— Это ваш дом? — обратилась Мария к Рамиресу.

— Да, — ответил художник, — в моем каньоне.

— Ах, вот в чем дело! — сказал Картер, повернувшись к Рамиресу. Он внезапно ощутил прилив гнева. — Вы воображаете, что с помощью какого-то сентиментального фокуса заставите меня прекратить строительство плотины! Разве можно быть таким дураком, Рамирес? Или вы меня считаете дураком? Месяц назад у меня в доме вы позволили себе идиотскую выходку из-за этого каньона. Если вы собираетесь возвращаться к этому вопросу при каждой нашей встрече, я буду вынужден просить вас держаться подальше. Дискуссия окончена.

— Мистер Картер, — устало заговорил художник, —

если бы ваша жена не догадалась, никто бы никогда не узнал, что это изображение моего каньона.

— Готов биться об заклад...— отрезал Картер.

— Но раз вы теперь все знаете, вы должны понять и то, почему я избрал эту тему. Так ли уж странно, что художник выбирает дорогую ему тему? Неужели вы думаете, что художник может вызвать у вас интерес к своей теме, если сам он к ней равнодушен? Ну конечно, нет! В этом вопросе не у меня, а у вас туман в голове. Вы владеlec портрета мадам Пикассо: разве Пикассо пытался повлиять на вас, когда писал его? Послушайте, Картер, я говорю все это, чтобы сохранить в силе наше пари. Вы не уточнили темы, и я выбрал ее сам. По-моему, я не нарушил условий нашего соглашения.

— Я ставил условием, что вы создадите для меня подлинное произведение искусства и что оно будет новым и оригинальным,— заметил Картер.

— Так оно и есть,— сказал Рамирес.— Это картина, но написана она не кистью, а электронной аппаратурой. Нечто совершенно новое. И она заставит вас переживать, затронет ваши чувства.

Картер ощутил беспокойство. Что-то в поведении Рамиреса напоминало повадки хищного зверя.

— Это искусство, Кеннет,— тихо сказала Мария.

Картер повернулся и растерянно посмотрел на жену. К своему изумлению, он обнаружил, что забыл о ней. Забыл и о картине, поглощенный спором и неясными подозрениями. В целом пейзаж на картине остался прежним, но претерпел едва уловимые изменения.

— Отрицать невозможно,— продолжала Мария.— Обрати внимание на краски и композицию. Как плавно и гармонично все перемещается. Линии остаются уравновешенными. Все здесь зависит от того, как передано соотношение между двумя отвесными сторонами каньона.

А передано оно превосходно. Это произведение искусства, Кеннет. И оно не похоже на все то, что я видела раньше.

Картер повернулся лицом к Рамиресу, он пытался побороть подступивший ужас. Он знал, что должен радоваться победе художника, но в то же время испытывал бессознательный страх перед чем-то, не поддающимся четкому определению.

— Скажите-ка мне, Рамирес,— заговорил он голосом, полным ехидства и нарочитого презрения,— когда кондоры начнут описывать те же самые круги снова и снова? Чем эта картина лучше объемного кинофильма, пленка которого замкнута на круг для непрерывной демонстрации?

— Я вам уже говорил,— ответил Рамирес,— что изображение на картине никогда не повторяется. Иначе был бы нарушен принцип Гейзенберга.

— Я слежу за ней, Кеннет,— сказала Мария.— Это не замкнутая кинолента. Я достаточно знакома с кинофильмами, чтобы разобраться в этом. Кинолента не может донести бесконечные вариации световых бликов на поверхности воды, а эта картина может. В текущей воде бесконечное число завихрений, а возможности киноленты ограничены. Чтобы показать то, что я уже видела, потребовалось бы более полутора километров кинопленки.— Она ни на миг не отрывала глаз от картины с тех пор, как был снят чехол.

Картер растерялся. Мария понимает в искусстве больше, чем он. Если она назвала эту вещь произведением искусства, то едва ли следует сомневаться. Никуда не денешься.

— Значит, это правда? — спросил он.

— Да,— подтвердила Мария. Она продолжала неот-

рывно смотреть на картину. Изображение было объемным и цветным (как в большинстве новых телевизоров), и время от времени Мария слегка изгибала шею, словно пыталась получше разглядеть что-то.

— Ну, хорошо,— сказал Картер.— Согласен: все, что вы говорили о картине,— правда. Но нескольких минут мало, чтобы решить, нравится вам вещь или нет.

— Конечно,— согласился Рамирес.— Возьмите ее с собой. Повесьте на стену у себя в доме. Понаблюдайте за ней несколько недель. Затем сообщите мне, нравится ли она вам. Расскажите, удалось ли мне задеть вас, взволновать. Тогда вы будете в состоянии решить, искусство это или нет.

— Хорошо,— сказала Мария.— Сделаем, как он говорит, Кеннет. Для себя я уже решила и думаю, что через неделю-другую ты со мной согласишься. И даже если не согласишься, все равно мне бы хотелось, чтобы картина повисела у нас в доме. Она меня очаровала.

— Тебе это действительно нравится, Мария? — осторожно спросил Картер.

— Да.

Он обратился к Рамиресу:

— Мы увезем ее с собой. Но прежде позвоним в Центральную нотариальную контору и уведомим их, что этот шаг не должен истолковываться как согласие купить картину и никоим образом не означает, что условия контракта выполнены.

— Очень хорошо,— сказал Рамирес.— Но раз вы говорили о нотариальной конторе, думаю, что было бы неплохо кое-что добавить к финансовой стороне нашей сделки.

— Вы хотите поднять первоначальную ставку? — спросил Картер.

— Да. Возникли некоторые дополнительные расходы, которых я не предвидел, и мне хотелось бы возместить затраты.

— Каковы ваши условия и что вы мне можете предложить?

— Если вы останетесь довольны картиной, то заплатите мне пятьдесят тысяч и еще десять тысяч за испытательный срок. За то, что картина будет в вашем доме, пока сделка еще не состоялась. Деньги выплатите переводом на счета некоторых благотворительных обществ, которые я вам назову.

— За испытательный срок! — воскликнул Картер. — Десять тысяч за то, что равноценно прокату! Да что вы о себе возомнили?

Рамирес выпрямился и заговорил холодно и с достоинством.

— Я — Рамирес. Я создал эту картину. Я вложил в нее свою жизнь и душу. Я художник. Мне не кажется, что я запрашиваю слишком много.

— Почему ты так расстроен, Кеннет? — спросила Мария. Она наконец оторвала свой взор от картины и глядела на мужа с какой-то непонятной улыбкой. — Ты же ничего не потеряешь, разве что решишь, что картина действительно стоит шестидесяти тысяч.

— Хорошо! — сказал Картер. Кровь стучала у него в висках, его охватила ярость оттого, что он сам не понимал причин своей злости. — Хорошо, но не будьте слишком уверены в том, что вам удастся быстро разбогатеть, Рамирес.

— Кеннет! — резко оборвала его Мария. — Перестань ваять дурака! Веди себя как подобает джентльмену. Тебе не к лицу грубить из-за каких-то грошей!

— Не смей говорить со мной в подобном тоне! — закричал Картер, поворачиваясь к жене.

— Привези картину,— сказала Мария. Она встала, подошла к двери, натянула перчатки и вышла.

Так холодна и собрана, подумал Картер. Так спокойна. Так невозмутима. Он ненавидел ее такой. Черт ее побери, она не имеет права брать над ним верх.

— Звоните,— сказал Рамирес.

Внезапно гнев Картера схлынул. Художник — просто-напросто еще один бизнесмен. Предстоит самое заурядное дело — подойти вместе с ним к видеофону, вызвать Центральную нотариальную контору и уведомить нотариусов об изменениях в контракте.

Закончив переговоры, Картер подошел к картине и стал внимательно вглядываться в нее, пытаясь осознать, почему она вызывает у него беспокойство.

— Будьте добры, помогите мне снять ее со стены,— обратился он к Рамиресу.

— Вы и сами легко справитесь.

Картер снял картину с крюка и обнаружил, что она гораздо легче, чем он ожидал. Пластмассовая рама была облицована вишневым деревом. Задняя часть выполнена из гладкой белой пластмассы. Весила картина не более пяти килограммов. Он сунул ее под мышку и еще раз покосился на нее. В лазурном небе появились прозрачные перистые облака. Картер направился к двери.

— Последний вопрос,— обратился он к художнику.— Насчет денег. Предположим, вы их получите. Эти благотворительные пожертвования — не выдумка? Вы действительно собираетесь раздать деньги?

— Да.

— Почему? Вы могли бы купить себе другой каньон.

— Нет, мистер Картер,— улыбнулся Рамирес.— Другого каньона не существует. Я собираюсь раздать эти деньги, потому что нет ничего такого, что я хотел бы на

них купить. Дополнительную сумму я запросил лишь на покрытие непредвиденных расходов. Прощайте.

Картер хотел что-то сказать, но так и не нашелся. Он крепко прижал к себе картину и ушел.

В противоположность Марии Картер еще не испытал на себе особого воздействия картины. Для него эта новинка была пока что развлечением, а не увлечением. Если он шел через гостиную, то лишь потому, что ему так хотелось. Он мог бы пройти через кухню или, в солнечные дни, более длинным путем — через террасу.

Он просто хотел взглянуть на картину, висевшую на стене рядом с большим двустворчатым окном до пола.

Тяжелые лиловые шторы были задернуты, в комнате было темно, и, чтобы добраться до прихожей, ему пришлось зажечь настольную лампу. Кругом царил беспорядок. Мария отказалась от прислуги еще несколько лет назад, но сейчас...

Мария сидела на диване, повернувшись лицом к картине. На ней был синий халат, волосы не были уложены.

— Как погода? — спросил Картер.

— Дождь идет. Река мутная, — сказала она.

Картер не знал, давно ли она сидит перед картиной. Вероятно, с восхода солнца. С того момента, когда взошло солнце в небольшом мексиканском каньоне.

— Вода в реке снова прибывает, — сказала она. — Не думаю, что на этот раз уровень будет таким же высоким, как на прошлой неделе. Видимо, огород все же уцелеет.

Теперь на картине появился человек. Он был слишком мал, чтобы можно было различить его черты, но оба знали, что это Рамирес. Когда через два дня после того,

как картину принесли в дом, на ней появился художник, Картер пришел в ярость. Но Мария не разрешила вернуть картину. Она нашла миниатюрное изображение художника очаровательным — вроде крошечной превосходно сделанной куклы. Ей нравилось играть с куклами из плоти и крови, будь то действующие лица в пьесе или знакомые.

Картер взял утреннюю газету и развернул ее.

— Думаешь, он выберется из каньона? — спросил он, встав у настольной лампы так, чтобы не заслонять света Марии.

— Из каньона должна вести другая тропинка, — твердо сказала Мария. — За тем местом, где он стоял с мольбертом. Нам отсюда просто не видно. Там должны быть деревья и тропинка. Где-то за кадром. Жаль, что он отвязал лодку и ее унесло!

— Гм. Вот прогноз погоды. Ожидается наводнение. Полицейские, что помогали жителям эвакуироваться из небольших боковых каньонов, вынуждены были вернуться — слишком быстро прибывает вода. Значит, придется приостановить строительство плотины, пока вода не спадет.

— А разве не плотина вызывает наводнение? — с живым интересом спросила Мария. Но глаза ее неотступно смотрели на картину.

— Снег в горах. Этой зимой его больше, чем обычно.

— Надеюсь, наш каньон не затопит, — сказала Мария.

— Мария, ведь это всего-навсего картина. В ней используется принцип молекулярного асимметричного распада в источнике питания. Помнишь объяснение Рамиреса? Если на картине и показано наводнение, то оно не имеет никакого отношения к настоящему снегу.

— Да, — согласилась Мария. Однако Картер видел, что жена его не слушает. Она наблюдала, как крошеч-

ный Рамирес, закутанный в пончо, вышел из дома и исчез за углом. По-видимому, за домом находился сарай, в нем художник держал козу. Иногда коза паслась там, где на картине она была видна.

Когда в холодильнике почти не осталось продуктов, Мария ненадолго вышла из транса и отправилась в город за покупками. Ей не хотелось тратить время, но делать было нечего. Картер остался один на один с картиной. В полдень на картине появился Рамирес, работавший в огороде: он окучивал грядку, где росли какие-то низкорослые растения с широкими зелеными листьями. Внезапно он отпрянул назад и ударил мотыгой по чему-то на земле. Он нанес еще несколько ударов, потом замер, навалившись всем телом на мотыгу. Через несколько секунд он выпрямился и, прихрамывая, побрел домой, опираясь на мотыгу как на посох.

Может быть, его укусила змея? Что еще, кроме гремучек и скальных змей, водится в Мексике? Скорпионы! Его мог ужалить скорпион! И там, в отрезанной от всего мира долине, без медицинской помощи ему суждено умереть в страшных мучениях.

Внезапно Картер вскочил и отвернулся от картины. «Проклятье! Вот дурак!» — подумал он. Поймать себя на том, что его встревожила картина! Как будто он наблюдает за живым человеком! Глупо, все равно что беспокоиться за судьбу персонажа в пьесе.

В два часа дня он снова сидел на диване и наблюдал за маленьким домиком, надеясь заметить там признаки жизни. Он успел как следует поразмыслить надо всем этим и остался доволен. Пусть испытывать беспокойство за судьбу героя в пьесе глупо, но это вас развлекает:

Для того и написана пьеса. Если она оставляет вас равнодушным, она не оправдывает своего назначения. Правда, это временное беспокойство, но оно незаменимо как средство эмоциональной разрядки. Нет ничего смешного в том, что он беспокоится за человека на картине. Надо самому быть каменным или бронзовым, чтобы не почувствовать пафоса роденовских «Граждан города Кале» или «Социальной справедливости» Эпштейна.

К тому же картина не только развлекала, но имела и другое преимущество. Мария проводила перед ней почти все свое время, молча наблюдая за тем, что там происходит. Она теперь не так неразлучна с мужем. Когда приходят гости, она не выказывает к ним прежней любезности и внимания. Перестала подчеркивать, что Картер женился на женщине, которая слишком хороша для него. Подчеркивать его недостатки на людях и наедине при каждом удобном случае. Она теперь не стремится распоряжаться его жизнью. Одно это уже стоит шестидесяти тысяч.

Когда Мария вернулась домой, он рассказал ей о происшествии со змеей, скорпионом или чем-то подобным. Она сварила кофе. Оба уселись на диван и до полуночи обсуждали случившееся, строя различные предположения. Замерцавший в окне домика тусклый огонек керосиновой лампы донес до них весть, что Рамирес пока жив, и они пошли спать.

— Привет, Кеннет,— сказала Элпет Прайор.— Где же ваша чудо-картина? Я в нее не верю, так что придется вам показать ее мне.

Она прошла мимо него, сняла пальто и небрежно бросила его на услужливо подставленную руку Джейка Прайора. Картер закрыл дверь прихожей и пошел за

ними мимо фонтана в затемненную гостиную. Мария сидела перед картиной. Элспет, выждав несколько секунд, чтобы глаза привыкли к темноте, подошла к дивану и села рядом с Марией. Джейк отнес пальто на вешалку и двинулся к бару. Дрожащими руками он налил в стакан виски, плеснул туда немного воды, затем тоже подошел к картине. Картер остался в другом конце комнаты, наблюдая и за ними и за картиной.

— Приятный вид,— сказал Джейк.

— Ты опять пьян,— деловито заметила Элспет.

Картер медленно покачал головой. Джейк вызывал сострадание. Неплохой бизнесмен, но Элспет загубила в нем индивидуальность. Джейк опустил с тех пор, как выяснил, что не может заработать на жизнь без помощи Элспет, блестяще разбиравшейся в электронике, и обнаружил, что виски (или джин, брэнди, ром) делают жизнь с Элспет приемлемой. Картер подошел к окну и распахнул ставни. Серый дождь хлестал по каменному полу террасы.

На картине было тепло и солнечно, и люди в гостиной собрались вокруг терракотово-красного и пурпурного изображения, словно вокруг маленького весело пылающего камина.

— Это невозможно,— сказала Элспет, внимательно разглядывая картину.— И не по одной, а сразу по нескольким причинам. Просто невозможно. Посмотрите, Кеннет, у него здесь моллетоновый экран. Вы о таких экранах даже еще не слышали. Они только что появились и стоят очень дорого. Их изрядно усовершенствовали, но они все еще чертовски дороги. И даже если бы ему удалось достать такой экран, нельзя сделать аппарат столь малогабаритным и способным функционировать так, как утверждал Рамирес.

— Объясните,— попросил Картер.

— Ну, как известно,— начала Элспет,— объемное цветное изображение можно получить только на моллетоновом экране. Во всяком случае, движущееся трехмерное цветное изображение. Я исключаю другие громоздкие устройства с использованием стереочков. Мы работали над этой проблемой довольно долго, и моллетоновый экран — это наш первый успех, который дает основания для какой-то смутной надежды. Но из-за высокой стоимости этих экранов пока еще невозможно использовать их в телевидении. Что же до принципа расщепления молекул, то потребовались бы гигантские усилия и чертовски сложная аппаратура, чтобы претворить его в жизнь. Горы и горы денег только на одни исследования.

— Шестьдесят тысяч? — спросил Картер.

— Не хватило бы даже на первоначальные расходы,— сказала Элспет.— Я имею в виду действительно большие деньги. Миллионы. И к тому же годы работы. И никакой гарантии на быстрый успех. Нет, это невозможно. Джейк, дай-ка мне измеритель.

Джейк подошел к вешалке, пошарил в карманах своего плаща и вернулся с небольшим черным прибором, оснащенным циферблатами и антенной. Потом он направился к бару за новой порцией виски.

Элспет взяла прибор, включила его в стенную розетку и обвела им вокруг картины.

— Правильно. Вот передаточный луч,— сказала она с торжеством.— Изображение передается откуда-то с гораздо более мощной установки. Это вполне осуществимо: сделать телевизор, чтобы он принимал изображение. Экран и передаточное устройство обойдутся вам примерно в сорок тысяч.

— Значит, остается двадцать тысяч и все его другие сбережения на создание аппарата для расщепления молекул,— сказал Картер.

— Он не мог бы этого сделать.

Джейк внимательно прислушивался к разговору.

— Почему нельзя было просто установить телевизионную камеру в том пункте, откуда мы смотрим? — спросил он. — Обычная телепередача о том, что действительно происходит там, в каньоне.

— Мы думали об этом, — сказал Картер. — Мы учитывали, что он мог попытаться сделать нечто подобное. Но пока не спрашивали его об этом прямо. Если он пошел на подобный шаг, у него была причина. Но мы не исключали такой возможности.

— Строительство плотины завершено несколько дней назад, и шлюзы закрыты. Мы сидели здесь и наблюдали за картиной, чтобы увидеть, будет ли этот каньон наполняться водой одновременно с настоящим. Мы даже держали наготове вертолет, чтобы эвакуировать Рамиреса силой в случае необходимости. Но как видите, каньон почти сух, а ведь теперь, когда настоящий каньон полностью затоплен, в моем водохранилище полным-полно воды.

— Кеннет, — кокетливо сказала Элспет, — вы становитесь сентиментальным. Планируете рискованную операцию по спасению в последнюю минуту.

Она визгливо захохотала.

Картер покраснел от злости.

— Неправда! Но если кто-то воображает, что меня можно надуть, пусть лучше готовится к расправе. Я бы засадил его в тюрьму за мошенничество. Думаю, что это мне удастся в любом случае, если ваша оценка правильна. Он нас уверял, что эта вещь полностью автономна.

— Смотрите! — воскликнула Мария.

Остальные, увлеченные разговором, не следили за изображением на картине, но сейчас все дружно повернулись. Картер быстро подошел к окну и задвинул што-

ры. Навстречу им по пологому склону с трудом взбирался Рамирес. Он сделал себе костыль, но, должно быть, пользоваться им было трудно и вообще художник едва стоял. Больная нога отказывалась служить. Она распухла и побагровела. Отвратительные синеватые полосы тянулись от лодыжки вверх. Он отрезал часть штанины и, видимо, пытался лечить рану. Бедро было туго перетянато жгутом.

— Гангрена...— прошептал Джейк.

— Он, должно быть, выдавил яд, но...— еле слышно пробормотал Картер.

Казалось, минула вечность, пока Рамирес подошел поближе. На каменистом склоне не было тропинки. Все обрадовались, когда он настолько приблизился, что нога ушла из поля зрения. Теперь было ясно видно его лицо.

Впервые они увидели художника на картине так близко. Он явно одичал. И постарел. В лице застыла боль, и, хотя он старался сохранить спокойный и невозмутимый вид, щека и глаз у него подергивались.

Он смотрел прямо перед собой, но не на них, а сквозь них, куда-то вдаль. Они знали, что он их не видит. Он осторожно сунул руку за пазуху и вытащил кусок сложенного ватмана. Ватман был белым, ослепительно белым, того особого сорта, который используется для рисунка. Он блестел. Художник, стоя на одной ноге и опираясь на костыль, чтобы сохранить равновесие, с трудом развернул ватман. Им хотелось разглядеть надпись еще до того, как он протянет его к ним, но Рамирес, казалось, разгадал их желание и, усмехаясь, нарочно медлил.

Повернутое к ним лицо — улыбка-гримаса, искаженная болью, — было ужасно. Всех била дрожь, когда художник на картине усмехался долгой, бесконечно долгой улыбкой. Но в глазах, пьяных, глубоко ввалившихся

ся, опутанных сетью морщинок, таилось непонятное им сострадание. Было в этом сострадании что-то близкое к ненависти, близкое к любви, далекое от того и другого, какое-то глубокое понимание и жалость. Зрелище было невыносимым.

Он протянул блестящий белый кусок ватмана. Теперь видимость была такой хорошей, что можно было различить каждую морщинку в местах сгиба. Крупные, тщательно выписанные буквы гласили: ВОДА ПРИБЫВАЕТ.

Рамирес уронил ватман, повернулся и заковылял вниз к дому. Через несколько секунд они увидели козу без привязи, бежавшую к огороду. Коза принялась за овощи. Рамирес скрылся в доме.

В немом очаровании они смотрели, как мутная коричневая вода ласково плещет среди прибрежной зелени.

Все было кончено. Картер сидел, сжав голову руками, и старался убедить себя, что надо напиться. Заставить мозг забыть о картине на стене. Но не выйдет. Телефон должен скоро зазвонить, и, как ни тяжело, нужно довести это дело до конца.

Мутная коричневая вода медленно, но неуклонно поднималась все выше и выше. Она подступила к двери домика Рамиреса, заплесала у окон и хлынула через них внутрь. Коза убежала куда-то вверх. Картер надеялся, что ей удалось спастись.

Кажется, именно в это время он догадался позвонить и послать вертолет — убедиться, что каньон действительно затоплен. Так оно и было, и сейчас в том месте, где когда-то поднимались стены каньона, из воды не

торчали даже зазубренные вершины скал. Каньон еще пытался бороться с водой, но был обречен. Вода забралась на холм, переполнила каньон, как чашу, и хлынула через край. Картина заполнилась бурлящей коричневатой водой.

И в городе и на каньоне наступила ночь; яркие, четкие звезды Мексики смыла и затопила гроза, так же как окутанные дождем звезды в небе над домом Картера. Кеннет позвонил администрации плотины и распорядился послать водолазов туда, где под водой скрылся каньон. Один раз он увидел на картине какую-то диковинную рыбу. Сейчас он ждал звонка.

— Надо было ожидать подобной сцены из дешевой мелодрамы! — взорвался он. — Попытки отомстить мне! Это же просто трюк! Лишь бы задеть меня за живое! Но напрасно он думает, что я выложу шестьдесят тысяч за дешевый трюк. Я не настолько глуп.

Джейк снова направился к бару. Элспет хотела уйти, но Картер не отпустил ее. Он продержит ее здесь всю ночь и будет держать весь день, если захочет. Ей нужны его деньги, как и всем, кто бывает в доме Картеров. Джейк вернулся со стаканом. Элспет отобрала у Джейка виски и выпила сама.

Зазвонил телефон.

Мария поднялась с дивана и подошла к аппарату. Она сняла трубку, сказала «Алло!» и долгое время слушала.

— Это администрация плотины, — заговорила она. — Водолазы вернулись. Нашли дом в каньоне. На холме была лаборатория. Довольна большая. В одну из ее стен вмонтирована телепередаточная аппаратура с многочисленными объективами. Лаборатория, конечно, взорвалась. Произошло короткое замыкание. Там была телетрансляционная мачта.

Картер обнаружил, что держит в руке стакан с виски, и залпом осушил его.

— Они заходили в хижину. Нашли тело человека. Пролежало там неделю или больше, по крайней мере с момента затопления. Изъедено рыбами. Но одна нога особенно пострадала. Очевидно, он пустил себе пулю в лоб.

— Заткнись! — рявкнул Картер. Он отшвырнул пустой тяжелый стакан. Стакан пробил стеклянную дверь террасы и разлетелся вдребезги где-то на улице в дождливой ночи.

Мария попрощалась и положила трубку.

Картина внезапно осветилась. Вода закипела и забурлила. Еще одна вспышка — и пустота. Изображение исчезло. Пространство в раме стало бесцветным. Элспет включила свет.

Не совсем пустота. Внутри были тонкие спирали ускорителей частиц, почерневшее переплетение проводов и электронных деталей.

— Как он это сделал? — спросил Картер.

Элспет задумалась. Глубоко вздохнув, Джейк сел в кресло и мгновенно заснул. Элспет повернулась к Картеру.

— Могу лишь высказать догадку специалиста и ничего больше, — сказала она. — Эта вещь, очевидно, работала с батарейным питанием. Когда передача прекратилась, кодовое реле выключило ее. Сейчас она не работает.

— Но передача прекратилась на прошлой неделе или две недели назад, — сказал Картер.

— Да, с маяты в его каньоне. Но не из передатчика, откуда поступали сигналы, приводившие в действие картину. Он, вероятно, записал сигналы на пленку, затем передал ее спустя две недели после того, как это слу-

чилось. Автоматизация тут была возможна. Практически все вполне осуществимо. Имея двадцать тысяч, он мог себе это позволить, хотя я и не понимаю, зачем.

— Он был художник,— сказала Мария.

— Художник, черта с два! — возразил Картер. — Отъявленный дурак. Неужели он действительно думал, что я заплачу сполна потому, что он умер? Я заключал пари не на таких условиях.

— А на каких же условиях ты заключал пари? — спросила ледяным голосом Мария. Она была очень спокойной и очень далекой. Отвечая, Картер почувствовал, что у него по спине бежит холодок.

— Что я сочту эту... — он презрительно махнул рукой в сторону пустой рамы, — за непревзойденное произведение искусства. В противном случае я не обязан платить. И вот оно, это произведение. Даже не картина. Просто телепередача реальных событий.

— Он знал, что делает, — тихо сказала Мария. — Да, Кеннет, он знал, что делал. Но создавал не картину. А что именно — ты еще даже не понял.

— О чем ты говоришь? — с беспокойством спросил Картер.

— Я тоже художник, Кеннет. Я же актриса, ты об этом забыл? Помимо того, что я твоя жена, у меня есть собственная жизнь. Или ты забыл? Играть на сцене — это тоже искусство, так же как и писать картины. Мне думается, картина Рамиреса была предназначена мне. Видишь ли, это был триумф драматического искусства. Совершенная драма, Кеннет, в которой участвовали ты, я и весь мир. Текст, постановка, режиссура и руководство Рамиреса. И он к тому же играл главную роль. Ты знаешь, мы могли бы спасти его в любой момент, если бы только знали. Если бы мы знали! Как приятно и иронично звучат эти слова! Сколько раз

должны были опускать занавес? Но неважно! Он знал — ты построишь плотину и уничтожишь его каньон, что бы он ни сделал. Поэтому, если эта трагедия должна была с ним случиться, он хотел по меньшей мере сделать ее достойной. Не каким-то случайным и бессмысленным безобразием, а прекрасной, хорошо поставленной трагедией. Искусством экстра-класса. Подлинным живым искусством. Придать самой жизни артистическую форму. Заранее запроектированная трагедия, Кеннет, и притом великая. С общими переживаниями, общим жизненным опытом у артиста и его аудитории. Нечто новое, прекрасное и полностью принадлежащее нам. Именно этого ты хотел от него, не так ли, Кеннет? Разве не этого ты хотел?

Она стояла выпрямившись, разгоряченная. Ее глаза блеснули.

— Выпиши чек, Кеннет,— продолжала она.— Бери ручку и выписывай. Это справедливо. Отдай деньги благотворительным обществам. Он, вероятно, сделал бы их последниками по завещанию. Он же не был бедняком. Он был великим художником. Люди любили его полотна. Картина стоит шестидесяти тысяч. Это вполне заслуженная плата за спектакль! Бери ручку и выписывай чек. Черт побери, будь ты проклят, выписывай!

Мария зарыдала.

Картер посмотрел на нее, взвесил впечатление, которое произвело на нее случившееся, сопоставил его с суммой, которую надо уплатить. Он вынул чековую книжку.

Около часа дня в Южной Калифорнии произошел сдвиг времени. Мистер Гордон Фиш принял его за землетрясение. Ничего не соображая, шурясь спросонья, рассерженный, он очнулся от полуденного забытья розовый, как отшлепанная младенческая попка. Борода его и брови песочно-желтого цвета были всклокочены. Он поднялся с дивана, прислушался... Ни криков, ни грохота рушащихся зданий — значит, всё в порядке.

Раздался стук в дверь.

С трудом продрав глаза, Фиш пошел открывать. Он забыл на столе очки, но его это мало тревожило: наверно, какой-нибудь клиент или даже следователь из города. В таком случае...

Он отворил дверь.

На пороге стоял стройный человек в пурпурной одежде. Небольшого роста, едва ли на дюйм выше Гордона.

— Три двадцать два с половиной, Плат Террас? — спросил незнакомец.

Лицо его показалось Фишу размытым овалом. Одевание незнакомца напоминало плотно облегающую тело форму коридорного, но откуда этот пурпурный цвет?

— Верно, тридцать два с половиной, это здесь, — ответил Фиш, напрягая зрение, чтобы разглядеть лицо

* Название рассказа взято из стихотворения английского поэта Китса «Эндимион». Полностью цитата звучит так: «Творение прекрасного есть вечная, неисчерпаемая радость». — *Прим. перев.*

незнакомца — оно было какого-то лососевого цвета. За спиной незнакомца он увидел еще нескольких человек и темную массу, как будто большой ящик. — Но не знаю, то ли...

— Все в порядке, фецх, вноси, — скомандовал через плечо незнакомец. — Ну, хозяин, тебя не так-то просто отыскать, — добавил он, обращаясь к Фишу, и, минув его, прошел в комнаты. Вслед за ним устремились остальные — тоже в пурпурной одежде, — изнемогая под грузом многочисленных ящиков. Один ящик был большой, два поменьше, потом шел уже *действительно* большой и, наконец, целая вереница маленьких.

— Послушайте, подождите, это, по-видимому, ошибка, — протестовал Фиш, вынужденный уступить им дорогу. — Я не заказывал...

Первый незнакомец заглянул в бумаги.

— Три двадцать два с *половиной*, Плат Террас? — снова назвал он адрес Фиша. В его голосе с хрипотцой — будто он был под мухой или только что со сна, как сам Фиш, — уже слышались гневные нотки.

Фиш разозлился не на шутку.

— Говорят вам, я ничего не заказывал! Я не останавлиюсь ни перед... Чего вы лезете сюда, в чужой дом, как... Слушайте, уберите отсюда все это!..

В бешенстве он наскочил на двоих, которые устанавливали на диване один из маленьких ящичков.

— Вот адрес, — скучным голосом сказал первый незнакомец. Он сунул в руки Фишу бумаги. — Если они вам не нужны, отсылайте обратно. Наше дело — доставить.

И люди в пурпуре стали пробираться к выходу.

Старший вышел последним.

— Втулк, а ты не свинч? — сказал он, закрывая за собой дверь.

В бешенстве Фиш пытался отыскать свои очки. Они же должны быть именно здесь, но эти носильщики все перевернули вверх дном. Трясаясь от злости, он добрался до двери. Черт подери, если бы он нашел очки, он бы им показал... Он открыл дверь. Люди в пурпурной одежде маленьким отрядом стояли во дворе, и весь их вид выдавал явное замешательство. Один из них повернул к Фишу оранжево-розовую кляксу своего лица.

— Эй, как пройти...

Что-то непонятное. Похоже на «энчмайр».

Встряхнуло, Фиш ударился о дверной косяк. Ощущение было такое же, как при землетрясении и притом довольно сильным, но когда Фиш огляделся, он увидел, что пальмы на улице не шелохнулись и дома остались в целости и сохранности. Исчезли только пурпурные люди.

Неистово ругаясь про себя, Фиш вернулся в дом и захлопнул за собой дверь. На его пути оказался большой ящик. Он пнул его, и филенка отвалилась. Он пнул еще раз, рыча от злорадного удовлетворения. Одна из стенок ящика со стуком отлетела, обнажив черную эмалированную панель. Фиш пнул и ее ногой и больно ударил большой палец.

— Хм,— произнес Фиш, рассматривая лоснящееся черное совершенство.— Ха!

Похоже, тут пахнет деньгами. Фиш разглядывал, поглаживая пальцами, металлическую облицовку. Прохладная и гладкая. Да, это, пожалуй, вещь. Настоящие машины; если правильно к этому подойти, за них тысячи долларов выручить можно! Возбуждаясь все больше, Фиш подбежал к столу, отыскал очки, засунутые в какие-то журналы, и, на ходу вооружив свои маленькие, слабые глаза, бегом устремился назад.

Он оторвал еще несколько филенок. Ящик распался,

появился странной формы металлический предмет с кнопками, шкалами и выключателями наверху. На белой пластинке были выгравированы слова «Teckning maskin» и какие-то цифры. В этом было что-то зловещее и многозначительное. Фиш потрогал пальцами выступающие на поверхности кнопки и блестящие ручки выключателей. Раздался слабый щелчок: случайно он передвинул один из рычажков с положения «Av» на «På» Шкалы засветились, и длинные крючковатые «руки», похожие на клешни, начали медленно передвигаться по плоскому, пустому пространству внутри машины.

Фиш поспешил вернуть рычажок в положение «Av». Шкалы погасли; руки, как ему показалось, разочарованно скользнули в свои пазы.

Итак, он действовал, этот непонятный предмет, что было довольно странно, так как, сколько Фиш ни думал, он не мог найти никакого тому объяснения. Потирая пухлые ручки, Фиш в недоумении разглядывал машину. На батареях она, что ли? Машина такого размера? И забавные шкалы, и странный вид всей этой штуки, и надпись «Teckning maskin» — даже не на английском языке. Вот они, все восемь или девять ящиков, заполняют его комнату, а один, как он заметил, даже загораживает телевизор. Может быть, это просто розыгрыш?

Стоило ему подумать об этом, как он ясно представил себе картину: ящики стоят себе здесь, вдруг через несколько дней приходит счет, и, может, даже никто не согласится забрать их, пока он, Фиш, не оплатит доставку, а в это время шутник будет хохотать над ним до колик в животе. Будет хохотать тот, кто заказал машины на имя Фиша — какой-нибудь его старый недруг или, подумал Фиш, кто-нибудь из так называемых друзей.

Со слезами ярости на глазах он снова бросился к дверям, распахнул их и встал на пороге, задыхаясь, оглядывая двор. Потом вернулся в комнату и беспомощным взором окинул ящики. Если бы в этой драке соблюдались правила! А так — как же он теперь будет смотреть телевизор или, бог ты мой, где будет принимать клиентов — на кухне?

— О! — произнес Фиш и с силой стукнул ногой очередной ящик. Филенки отлетели, и что-то выпало — маленькая, желтенькая, блестящая брошюрка. Фиш мельком отметил, что поверхность этой машины еще более черная и блестящая. Он резко наклонился, чтобы поднять брошюрку, и попытался разорвать ее, но только порезал руки. Он швырнул ее через всю комнату в угол и заорал:

— Ну хорошо же! — и заплясал от одного ящика к другому, пиная их ногами. Доски устлали весь пол. Из этой кутерьмы возникали сверкающие машины, со шкалами, без шкал. Задохнувшись, Фиш остановился и уставился на них, как бы снова недоумевая.

Шутка? Нет, не может быть. Такие большие машины — их же изготавливают на заводе, это тебе не мелочь из универмага. Но тогда что же? Ошибка. Фиш сел на ручку кресла и нахмурился, почесывая в бороде. Прежде всего, он ничего не подписывал. Даже если они явятся сюда завтра, а он к тому времени успеет сбегать, скажем, одну из этих штучек, всегда ведь можно заявить, что их было восемь, а не девять. Или, предположим, он втихомолку успеет сбегать и девять. Тогда, если они явятся, он может отрицать все. Скажет, что никогда ничего не слышал ни о каких машинах. Опять Фишу стало не по себе. Он подскочил, огляделся, снова сел. Быстрота, быстрота — вот что теперь

главное. Поскорее покончить с этим. Но все-таки что же это за машины?

Фиш нахмурился, скорчился, встал и снова сел. Затем подошел к телефону, отыскал номер, набрал. Он opravил жилет, прочистил горло, как певец.

— Бен? Это Гордон Фиш, Бен... Отлично. Да, Бен,— он доверительно понизил голос,— у меня есть клиент, он хочет отделаться от «Teckning maskin». Восемь... Что? Текнинг маскин. Это машины, Бен. Т-е-к-н-и-н-г... Нет? Ну, это они так называли. Я просто записал у себя. Ты никогда... Ну да, забавно... Может быть, какая-то ошибка. Обещаю, Бен, проверю и скажу. Да, большое спасибо, Бен, до свидания.

Он повесил трубку и с досады пожевал усы. Если уж Бен Абрамс никогда о них не слыхивал, искать сбыт машинам, по крайней мере в этой части страны, нечего... Забавно... У Фиша появилось какое-то предчувствие. Что-то такое... Он крадучись ходил вокруг машин, разглядывая их так и сяк. Вот еще одна белая пластинка; на ней тоже выгравировано «Teckning maskin», пониже — «Bank 1», а потом две колонки с цифрами и со словами: «3 Folk, 4 Djur, 5 Byggnader» и в том же духе дальше — много всего. Чудные слова, не похожие ни на что, ни на один из знакомых языков. И к тому же эти маньяки в пурпурной форме... Стоп! Фиш щелкнул пальцами, остановился и застыл в позе мыслителя. А что такое сказал этот парень перед самым уходом? Тогда это привело его в бешенство, вспомнил Фиш, что-то вроде: «Малый, а ты не свинч?» Фиш был просто взбешен, он сделался злым как оса; слово звучало оскорбительно, но что оно могло значить?

И потом что-то вроде землетрясения перед тем, как они появились,— он же крепко спал, когда оно его разбудило, и у него осталось ощущение чего-то странного.

А потом опять, уже после того как они ушли, только это же было не землетрясение, потому что — он прекрасно помнит — деревья даже не шелохнулись.

Фиш осторожно пробежал пальцами по блестящему округлому краю ближайшей к нему машины. Сердце колотилось в груди, он облизал пересохшие губы. У него возникло ощущение — нет, уверенность, — что за машинами никто не вернется. Они принадлежали ему. Да, и деньги тоже — они где-то здесь, он чуял их. Но что делать со всем этим добром? Он бережно снял упаковку. В одном из ящиков вместо машины находилась металлическая коробка, полная толстой бумаги кремового цвета. Это были большие прямоугольные листы, которые так и просились на плоскую поверхность внутри самой большой машины. Фиш взял один лист, и он точно лег на место.

Ну, так что же тут может испортиться? Фиш нервно потер пальцы, затем включил машину. Шкалы загорелись, крючковатые руки вынырнули из пазов, как и в первый раз, но больше ничего не произошло. Фиш наклонился пониже и принялся рассматривать другие рычаги управления. Увидел стрелку и несколько обозначений на панели: «Av», «Bank 1», и «Bank 2» и так далее вплоть до «Bank 9». Со всеми возможными предосторожностями он передвинул стрелку на «Bank 1». Руки чуть заметно, медленно зашевелились и замерли.

Что теперь? Три красные кнопки с надписями: «Utplåna», «Torka» и «Avslå». Он нажал одну из них — ничего не изменилось. Потом обнаружил несколько белых, как на арифмометре, кнопок с цифрами. Нажал наугад одну, потом другую и уже собирался нажать третью, но в испуге отпрянул. Руки-клешны двигались, двигались быстро и целенаправленно. Там, где они пере-

секали лист бумаги, оставались тонкие темно-серые линии.

С открытым ртом, с выпученными глазами Фиш склонился над машиной еще ниже. Маленькие точки на «пальцах» рук легко скользили по бумаге, оставляя изящные линии. Руки, укрепленные на маленьких осях пружинками, ползли по бумаге, качаясь из стороны в сторону, слегка приподымались, падали и снова ползли. Так вот оно что! — машина, пока он ее разглядывал, рисовала, рисовала картину! Под рукой справа проступало лицо, потом шея и плечо — это был портрет человека в полном расцвете сил, как с греческой скульптуры. А слева другая рука рисовала бычью голову, украшенную цветами. Вот и туловище человека, на нем что-то наподобие греческой тоги или как их там называют, и спина быка с характерным закруглением возле головы. Теперь — рука человека и бычий хвост, а вот другая рука и бычьи задние ноги.

Вот она, картина. Человек бросает цветы в быка, а бык вроде бы подпрыгнул и оглядывается на человека через плечо. Руки машины остановились и спрятались. Шкалы погасли, выключатель щелкнул и сам передвинул стрелку в положение «Рѐ».

Фиш вынул лист, стал его рассматривать. Он был взволнован и немного разочарован. Он, конечно, ничего не смыслил в искусстве, но тем не менее знал, что в этой картине нет ничего хорошего — все ужасно плоско и просто, как будто рисовал ребенок. А этот бык — ну видел ли кто-нибудь, чтобы бык пускался в пляс? С цветами на голове? Однако если машина нарисовала такое, то она, может быть, нарисует и что-нибудь получше; но он все еще не мог определить своего отношения к машине. Где продать рисунки, даже хорошие? Но как бы там ни было, машина-то существует. Выставить ее на

какой-нибудь ярмарке, где демонстрируются успехи науки и промышленности? Ну уж нет, эту идею он поспешил похоронить: слишком опасно, слишком много вопросов породит. Бог мой, если Вера узнает, что он еще жив, или полиция Скрэнтона...

Рисунки. Машина, которая рисует. Фиш посмотрел на нее — восемь неуклюжих, эмалированных, черных, массивных предметов, разбросанных по его комнате. Все это множество механизмов было приспособлено именно для рисования. Да, это так, но он был разочарован. Он ожидал, что это будет, к примеру, штамповка по металлу или что-то в этом роде, что-то реальное. Трах, бах! — большие металлические челюсти смыкаются, звон металла, и сверкающее готовое изделие падает в корзину. Вот это, я понимаю, механика; а тут...

Фиш снова сел и в тягостном раздумье мял в руках лист бумаги.

Всегда ему не везло, вот как сейчас. Все-таки лучше всего у него получалось с женитьбами. Он был женат уже пять раз и всегда с пользой для себя. Он разгладил жилет на своей жирной груди. А в промежутках между женитьбами он занимался всем, что под руку подвернется. Несколько лет был адвокатом по брачным делам, выступал с предсказаниями, если находились клиенты. Все зависело от обстоятельств. Однако всякий раз, когда ему казалось, что он наконец открыл настоящую золотую жилу, счастье буквально выскальзывало у него из рук. Он покраснел от смущения, вспомнив, как однажды зимой вынужден был работать в обувном магазине...

Приобретение дома как-то разнежило его, он обленился и принимал всего одного-двух клиентов в неделю на своих сеансах предсказаний. Ему необходимо найти

себе занятие, установить новые контакты, пока еще есть деньги.

Мысль о бедности, как всегда, возбудила в нем волчий аппетит. Он погладил себя по животу. Самое время позавтракать. Фиш накинул куртку и, подумав, свернул рисунок в трубочку, чтобы не было сгибов, и сунул его под мышку.

Ресторанчик, куда он направился, находился на бульваре в трех кварталах от его дома; туда он последнее время чаще всего заходил — ради экономии. За стойкой прислуживал молодой человек по имени Дэйв, стройный, бледный, космы прямых черных волос вечно нависали у него на глаза. Как-то раз Фиш разговорился с ним по душам и узнал, что тот посещает вечернюю школу искусств в Пасадене. Фиш попытался привлечь его на свои сеансы гаданий, но юноша так откровенно, так честно и дружелюбно признался, что не верит в это, что у них с Фишем сохранились самые лучшие отношения.

— Порцию мяса под острым соусом, Дэйв, пожалуйста, — весело попросил Фиш, усаживаясь на табурете и со всеми предосторожностями устраивая торчком на коленях свернутый в трубочку рисунок. Ноги Фиша свободно свисали, бумага была зажата между животом и прилавком.

— Привет, Док, сию минутку.

Расстегнув ворот рубахи, Фиш наклонился над тарелкой. Единственный, кроме него, посетитель расплатился и вышел.

— Послушай, Дэйв, — чавкая, невнятно произнес Фиш, — я хотел бы узнать твое мнение кое о чем. Уф! — Он с трудом вытащил свернутый в трубочку рисунок и разложил его на прилавке. — Как тебе кажется — ничего?

— Послушайте,— подходя к Фишу, сказал Дэйв,— где вы достали это?

— Хм. Мой племянник,— с готовностью ответил Фиш.— Знаешь, он спрашивает у меня совета, стоит ли ему продолжать, потому что...

— Продолжать! Ну и ну! Да где он учился?

— О, видишь ли, это он сам, дома.— Фиш опять набил рот.— Очень способный мальчик, понимаешь, но...

— Ну, если он сам научился так рисовать, его наверняка ждет мировая слава.

Фиш застыл с раскрытым ртом.

— Ты в самом деле так думаешь?

— Ну конечно. Послушайте, Док, может быть, это не он нарисовал?

— Да что ты! — Фиш решительно отмахнулся от обвинения.— Очень честный мальчик, я-то его знаю. Уж коль он говорит мне, что это его работа,— он сглотнул,— то, значит, это его работа. Но не делай из меня дурака, ты в самом деле считаешь, что это стоящее?

— Да честное слово, как только я увидел рисунок, я подумал, что это Пикассо. Пикассо того периода, когда он еще следовал классическим образцам. Теперь-то я вижу, что это не его рука. Но, боже, как хорошо!.. Так вот, если вы действительно интересуетесь моим мнением, то...

Фиш кивал головой, давая понять, что мнение Дэйва только лишний раз подтверждает его собственные взгляды.

— Хм. Хм. Ну, я рад слышать это, сынок. Я ведь его родственник, и я подумал... Конечно, на меня это произвело впечатление... Огромное впечатление. Я, как и ты, подумал о Пикассо. Конечно, что касается денег,— он печально покачал головой,— и ты, и я — мы оба знаем...

Дэйв почесал голову под белым колпаком.

— О, да он может получать заказы, это нетрудно. Я говорю — мне бы такую линию!.. — Он нарисовал в воздухе поднятую человеческую руку.

— А что ты имеешь в виду под заказом? — смущенно, но пылко спросил Фиш.

— Например, заказы на портреты, или проекты промышленные, или что-нибудь еще, что он согласится делать. — Влюбленно глядя на рисунок, Дэйв тряхнул волосами. — Если бы он сделал его в красках...

— Что тогда, Дэйв?

— Да я вот подумал: ведь сейчас в Сен-Габриэле проводится конкурс на лучшую фреску для здания административного центра. Первая премия — десять тысяч долларов. Гарантии, конечно, нет, что он получит первую премию, но почему бы ему не сделать рисунок в красках и не послать на конкурс?

— В красках, — рассеянно сказал Фиш. Машина ничего не станет раскрашивать, это-то он знал твердо. Он мог бы достать коробку акварельных красок, но... — Да, но дело в том... — промямлил Фиш, на ходу придумывая отговорки. — Понимаешь, мальчик прикован к постели... Повредил руку... О нет, не сильно, — успокоил он Дэйва, у которого рот принял скорбную форму буквы О, — но какое-то время он не сможет рисовать. Стыдно подумывать, но ему приходится тратить деньги на докторов. — Он пожевал немного, проглотил. — Слушай, это, конечно, дикая идея, но все же почему бы тебе самому не раскрасить рисунок и не послать его, а, Дэйв? Ясное дело, если нам не достанется премия, я не смогу заплатить тебе, но...

— Но, Док, понравится ли это ему? Мне кажется... может, он и сам что-нибудь задумал, какие-нибудь пла-

ны в отношении цвета, композиции. Видите ли, я бы не хотел...

— Беру ответственность на себя,— решительно заявил Фиш.— Не беспокойся об этом, и, если мы победим, уж я позабочусь, чтобы тебе славненько заплатили за работу, Дэйв... Ну, согласен?

— Что ж, идет, Док. То есть, конечно же, идет,— краснея и кивая, говорил Дэйв.— Сегодня вечером и завтра я буду работать над этим, а потом отошлю по почте. Хорошо? Тогда... Да, вот еще что,— как зовут вашего племянника?

— Джордж Уилмингтон,— брякнул Фиш наобум. Он отставил пустую тарелку в сторону.— А теперь, Дэйв, не грех мне и ребрышки с жареной картошкой заказать, а?

По мере того как Фиш подходил к дому, его уважение к машине все возрастало. Уж будьте спокойны, первая премия муниципалитета у него в кармане. Десять тысяч долларов! За одну картинку! Так в машине же их миллионы! Войдя в дом, он тщательно запер за собой дверь, опустил жалюзи, чтобы затемнить и без того уже сумеречную маленькую гостиную. Включил свет. Машина была тут, все ее восемь глянцевиных частей в беспорядке располагались повсюду — на полу, на мебели. Он возбужденно переходил от одной машины к другой, лаская руками их гладкую черную поверхность. Все эти дорогостоящие механизмы — его собственность!

Можно было снова запустить машину — просто так, чтобы посмотреть. Фиш вынул из пачки лист кремовой бумаги, вложил его в машину и поставил стрелку на «Р4». С наслаждением наблюдал он, как зажглись шкалы, как крючковатые руки высунулись из пазов и начали свой бег. Линия за линией возникали на бумаге: сначала вверх волнистые — что же это такое? Чуть ниже — две длинные, загнутые кверху линии, что-то по-

хожее на велосипедный руль. Все, как на загадочных картинках, где нужно сообразить, что же будет дальше.

Под волнистыми линиями — Фиш уже понимал, что это волосы, — палец нарисовал глаза и нос. В то же время другая рука провела легкую линию, и на рисунке получилась голова быка. Вот четко проступило лицо девушки, ее рука, потом нога — недурна, но довольно мускулиста; вот и бык готов — растопырил ноги в разные стороны и стоит; но, черт возьми, это же не бык, у него соски болтаются — это же корова. Выходит, девушка едет на корове, а у коровы на рогах, как и на прежнем рисунке, цветы.

Фиш разочарованно смотрел на рисунок. Люди и коровы — неужели ничего другого эта штуковина не может изобразить?

Он раздраженно почесал бороду. А если, черт возьми, кому-нибудь захочется чего-то еще, кроме коров и людей? Прямо смехота — восемь большущих штукovin...

Постой-ка. «Не спеши сматывать удочки, Гордон, пока рыбка в пруду», — громко сказал он самому себе. Так говаривала Флоренс, его вторая жена, только она всегда называла его «Рыбка». Он сморщился от неприятного воспоминания. Тут он заметил, что кнопки, которые он раньше нажал, так и остались утопленными. Это, несомненно, имело какое-то отношение к изображению на рисунках. Пораженный еще одной мыслью, Фиш бегом бросился к механизму с надписью «Bank 1» и установился на него. Вот лист номер три, написано «Folk», а на листе номер четыре — «Djug». Те же номера он нажал на большой машине; таким образом... может быть, «Folk» означало «люди», «Djug»... ну что ж, это азиатское слово могло обозначать «бык». Так что, если он нажмет другие кнопки, пожалуй, машина нарисует что-нибудь новенькое.

Через пятнадцать минут все подтвердилось. Первые две кнопки — «Land» и «Planta» — давали изображения холмов и деревьев, различных ландшафтов; «Folk» действительно означало «люди», а «Djug» относилось, кажется, к животным — теперь вместо быков получались козы или собаки. «Byggnader» значило «здания». Дальше пошло сложнее.

Кнопка с надписью «Arbete» ведала изображением людей за работой; другая, «Kärlek», создавала сценки с целующимися парочками, одетыми наподобие древних греков, — все это на фоне весьма призрачных, сказочных пейзажей и домов. Дальше под общим названием «Plats» и «Tid» шел целый ряд кнопок, которые, как показалось Фишу, определяли время и место действия. Так, когда он нажал «Egyptisk» и «Gammal» одновременно с «Folk» и «Byggnader» и по наитию кнопку, где было слово, значившее, как считал Фиш, «религия», у него получилось изображение жрецов в египетских головных уборах, склоненных перед огромной статуей Гора.

Вот это уже кое-что!

На следующий день Фиш снова заколотил упаковочные ящики, оставив неприбитыми только крышки, чтобы их всегда можно было снять и использовать машину. Во время работы он наткнулся на маленькую брошюрку, которую раньше отбросил в сторону. Были в книжонке диаграммы, понятные и непонятные, но написана она была все на том же незнакомом языке. Фиш засунул брошюрку в шкаф под кучу грязного белья и забыл о ней. Ворча и потя, он рассовал меньшие ящики по углам и так переставил мебель, что самый большой ящик можно было придвинуть к стене. Вид у комнаты

оставался ужасным, но по крайней мере. Фиш мог теперь свободно передвигаться по ней, принимать своих клиентов и смотреть телевизор.

Каждый день он завтракал в ресторанчике или хотя бы заглядывал туда. И каждый день при виде него Дэйв качал головой. Остаток дня он проводил за кружкой пива или за тарелкой орехов или карамелек и смотрел, как рисует машина. Он уже использовал весь запас бумаги и теперь переворачивал листы, чтобы рисовать на другой стороне.

Да, но где взять деньги? Немного подумав, Фиш соорудил простой копировальный аппарат и скопировал на нем египетские рисунки — у него накопилось их с дюжину, все с разными богами, но без жрецов: после первого рисунка машина их уже не рисовала, видимо, хотела показать зрителям, что, мол, хватит с них предыдущих жрецов. Фиш начал расширять дело, и два-три раза интуиция подсказала ему, что цену за рисунки можно поднять, но все равно это были лишь карманные деньги. А он знал, нет, не знал — физически ощущал, что это дело пахнет миллионами, но как их извлечь?

Однажды ему пришло в голову, что, может быть, стоит взять патент на машины, а затем продать его. Но загвоздка была в том, что он представления не имел, как эта штука устроена. Вроде бы так: маленькие машины содержат отдельные зарисовки или фрагменты рисунков, а большая машина сливает их воедино, но каким образом? Сгорая от нетерпения, Фиш снова переставил всю мебель, отодвинул большой механизм от стены и ощупал гладкую заднюю стенку машины — нет ли там каких приспособлений, которые позволили бы вскрыть ее.

Вскоре пальцы его нащупали два узких углубления в металле, он осторожно нажал на них, потом потянул

вверх, и боковая плита машины подалась и осталась у него в руках.

Она практически ничего не весила. Фиш отложил ее в сторону, с интересом вглядываясь в нутро машины. Там было совершенно темно и не было ничего, кроме нескольких очень маленьких пятнышек света — будто слюдяная пыльца неподвижно висела в воздухе. Не было проводов, не было ничего. Фиш взял лист бумаги, положил в машину и включил ее. Потом присел перед ней на корточки. Крошечные пятнышки света, казалось, пришли в движение, они медленно кружились одновременно с движениями рисующих рук. Внутри потемнело, обозначилась глубина, которой, судя по всему, не должно было бы там быть.

Придерживая переднюю стенку машины, Фиш коснулся другого узкого углубления и нечаянно потянул вверх. Вся передняя стенка отвалилась, вместе с нею упала и вторая боковина.

Он испуганно отпрянул назад, чтобы его не ушибло, но крышка машины не упала. Она прочно держалась на месте, хотя держаться было не на чем, кроме задней панели.

А под крышкой не было ничего. Не было и каркаса, просто сгусток темноты с малютками-звездами, которые тихо кружились в такт движению рисующих рук.

Фиш поспешно поднял переднюю и боковые панели и поставил их на место. Они легко и точно скользнули в свои пазы и подошли друг к другу так плотно, что не осталось никакого следа, никаких швов на стыках.

После этого он снова поместил машину в упаковочный ящик и никогда больше не пробовал заглядывать внутрь.

Дэйв поспешил к нему навстречу с другого конца прилавка.

— Док, где вы пропадали?

Он вытирал руки о фартук с нервической усмешкой, а в глазах у него застыло удивленно-потерянное выражение.

— Да у меня была масса всяческих дел,— автоматически начал Фиш. Но тут ему передалось волнение Дэйва.— Послушай, не хочешь ли ты сказать...

Дэйв извлек из заднего кармана брюк длинный белый конверт.

— Вчера пришло! Смотрите-ка!

Конверт треснул в его нервных пальцах. Он вынул свернутое письмо, и Фиш схватил его. Пока Фиш читал письмо, Дэйв заглядывал через его плечо и тяжело дышал.

Дорогой м-р Уилмингтон!

С огромным удовольствием извещаю Вас, что Ваш рисунок получил первую премию на конкурсе муниципалитета Сен-Габриэля. По мнению жюри, классическая простота и мастерство исполнения Вашегоopus ставят его значительно выше всех присланных работ.

Прилагаем чек на три тысячи долларов (3000)...

— Где? — вскричал Фиш, отрываясь от письма.

— Вот он,— сказал Дэйв с болезненной grimасой на лице. Он протянул Фишу узкую полоску бумаги розового цвета. На ней красной краской было напечатано: «Ровно 3000 долларов».

Фиш сжал Дэйва в объятиях, тот ответил ему тем же; затем Фиш снова обратился к письму:

По одобрении Комитетом Вашей работы остальное будет выплачено Вам после воплощения одобренного замысла...

— Воплощение замысла? — спросил Фиш, чувствуя, как душа уходит в пятки. — Что это значит, Дэйв? Что они тут имеют в виду?

— Когда он сделает фреску на стене. Док, я не могу выразить...

— Кто?

— Да ваш племянник, Джордж Уилмингтон. Ну так вот, когда он сделает фреску...

— О! Видишь ли, Дэйв, дело в том...

— О бог мой, я совсем забыл. Он еще не совсем здоров, чтобы рисовать, вы это имеете в виду?

Фиш печально покачал головой.

— Да. Ужасно стыдно, Дэйв, но...

Он рассеянно сложил чек и опустил в карман.

— Я думал... вы говорили... у него ничего серьезного, ничего...

Фиш качал головой.

— Оказалось гораздо серьезнее, чем думали. Теперь все получилось так, что они не знают, сможет ли он вообще когда-нибудь рисовать...

— О Док! — потрясенно произнес Дэйв.

— Такие-то дела. Понимаешь ли... Врачи знают о таких болезнях гораздо меньше, чем хотелось бы, Дэйв. — Фиш напряженно смотрел на письмо, едва ли слыша звуки своего голоса. *«Будет выплачено после воплощения замысла...»*

— Вот что, — сказал он, прерывая сочувственные излияния Дэйва. — Не правда ли, тут ведь не сказано, кто должен воплощать? Посмотри-ка. Сказано: *«После воплощения замысла»*.

— Нельзя ли стаканчик воды? — раздался голос посетителя.

— Минутку, сэр. Док, мне кажется, это идея. — Он вернулся за стойку, продолжая говорить: — Знаете,

любой может скопировать рисунок и увеличить его, то есть любой художник, владеющий кистью. Бог мой, да я сам сделал бы это, если бы Джордж не стал возражать. И если бы все обошлось с Комитетом. Вы знаете, я был бы так счастлив!

Он дал воды посетителю, вытер прилавок и вернулся к Фишу.

Фиш облокотился о стойку, теребя бороду и хмурясь. Уилмингтон — всего лишь имя. С тем же успехом в деле мог бы участвовать Дэйв, и это, с одной стороны, было бы куда лучше, потому что тогда Фиш оставался бы в тени. Но, черт возьми, если они договорятся, тогда Дэйв будет Уилмингтоном, и вдруг он захочет завладеть всем?

— Дэйв, а ты хороший художник? — спросил Фиш. Дэйв смутился.

— Елки-палки, Док, вы меня поймали на слове, но как бы там ни было, им ведь понравилось, как я выполнил рисунок в цвете, разве не так? Я там использовал все оттенки аквамарины и коричневый цвет с добавлением розового, знаете, чтобы сделать картину повеселей. И, елки зеленые, если мне удалось это на бумаге, почему бы не сделать этого на стене?

— Заметано! — тепло сказал Фиш и хлопнул Дэйва по плечу. — Джордж и не догадывается, что у него уже есть помощник.

Из-за кадки с пальмой неожиданно появилась тонкая женская фигура и бросилась к Фишу.

— Мистер Уилмингтон? Позвольте на одну минутку...

Фиш остановился, привычным жестом поднес руку к подбородку, хотя вот уже год, как он сбрил бороду. Без нее Фиш чувствовал себя голым, и, когда что-ни-

будь пугало его, как сейчас, он невольно прибегал к этому жесту.

— Да, мисс, да, да. Ах...

— Меня зовут Норма Джонсон. Вам незнакомо мое имя, но у меня с собой несколько рисунков...

В руке у нее была большая черная папка, перевязанная тесемками. Фиш присел рядом с ней и просмотрел рисунки. Они показались ему неплохими, правда, серенькими, от таких он, пожалуй, большей частью отказывался. Ему самому нравились картины в духе Нормана Рокуэлла, — что-нибудь сочное, — но однажды, когда он с помощью своих машин нарисовал что-то в том же духе, его первый агент, этот жулик Конолли, сказал, что сейчас жанровая живопись не пользуется спросом.

Пальцы девушки дрожали. Она была очень изящная и бледная, у нее были черные волосы и большие выразительные глаза. Она показала ему свой последний рисунок и спросила:

— Вам не нравится?

— Ну что ж, здесь есть душа, — важно заметил Фиш. — И прекрасное чувство линии.

— Когда-нибудь я буду иметь успех?

— Ну...

— Видите ли, дело в том, — торопливо продолжала она, — моя тетя Мари хочет, чтобы я оставалась здесь, в Санта-Монике, а в следующем сезоне выставила бы свои картины. Но мне не этого хочется. Она согласилась, если вы найдете мои произведения талантливыми, послать меня за границу для ученья. Ну а если вы не признаете во мне таланта, я брошу живопись.

Фиш напряженно смотрел на нее. Ногти у нее были коротко острижены, но в то же время чувствовалось, что она следит за руками. На ней были белая блузка,

синий жакетик и юбка; Фиш ощутил тонкий лесной аромат духов. Тут явно пахло деньгами.

— Что же, моя дорогая, рассмотрим эту проблему. Вы, конечно, можете поехать в Европу и потратить там массу денег — десять, двадцать тысяч долларов. — Она смотрела на него, не моргнув глазом. — Пятьдесят тысяч, — деликатно добавил Фиш. — Но какой в этом смысл? Тамошние ребята ни на йоту не отвечают нашим представлениям о них.

Она рассеянно мяла в руках сумочку и перчатки.

— Понятно.

Она попыталась встать.

Фиш положил свою пухлую ладошку на ее руку.

— А вот что я хочу вам предложить, — сказал он. — Почему бы вам вместо этого не поучиться годик у меня? Ее бледное лицо вытянулось.

— О, мистер Уилмингтон, учиться у вас?

— Ну, с такими талантливыми вещами, как эти, — он похлопал по папке на ее коленях, — мы кое-что сделаем, потому что...

Взволновавшись, она встала.

— А вы можете сказать это тете Мари?

Фиш разгладил розовую рубашу у себя на груди.

— С радостью, моя дорогая, с радостью!

— Она здесь, в вестибюле.

Фиш проследовал за девушкой и встретил тетю Мари, красивую женщину лет пятидесяти, полную, в хорошо сшитом коричневом платье. Они решили, что Норма снимет мастерскую недалеко от дома мистера Уилмингтона в Санта-Монике и что мистер Уилмингтон будет заглядывать к ней несколько раз в неделю и делиться с Нормой всем своим опытом и за все это в год он будет получать десять тысяч долларов. Фиш сообщил им, что эта сумма составляет меньше половины

его нынешнего годового дохода от крупных заказов; но это неважно, еще немного денег ему не помешает. Фрески, реклама, рисунки для тканей, частные заказы коллекционеров — бог мой, все это растет, как снежный ком!

Единственное, что еще серьезно тревожило Фиша, была сама машина. Он держал ее в дальней комнате дома, который снимал, — дома с двадцатью комнатами, где было много места для приемов, меблированного, со сногшибательным видом на Тихий океан. До поры до времени он обращался с машиной как с детским велосипедом. Он в конце концов разобрался в дюжине помеченных разными словами кнопок на «Bank»-механизмах, запомнил их и теперь, выбирая нужные кнопки, мог получить картину на любую нужную ему тему. Например, есть заказ на витражи для церкви — нажал кнопки «Религия», «Народ», «Палестина», «Античное» — и пожалуйста вам.

А тревожился он потому, что машина не желала повторять раз нарисованное. Вот хоть заказы на витражи, например: он получил одну картину с изображением Христа — и баста! Сколько он ни старался, другой такой получить не мог, пришлось ограничиться святыми и мучениками. Церковь выразила возмущение. Иногда по ночам он для собственного удовольствия подвергал машину различным испытаниям: включал, например, «Исторические личности» или «Романтик», что на языке машины означало, по-видимому, нашу эру, и затем нажимал кнопку «Överdriva» и смотрел, как появляются физиономии известных людей, но с большими карикатурными носами, с зубами наподобие штакетника.

Или он включал «Любовь» и видел тогда всякие интересные местечки и разные эпохи — Древний Рим был довольно пикантен, а еще пикантнее Самоа.

Но с каждым разом машина выдавала все меньше таких рисунков и в конце концов вообще отказалась их делать.

Может быть, в нее вмонтирован цензор? И, может быть, ему что-то не нравится?

Фиш не раз возвращался к воспоминанию о том, каким странным образом доставили ему эту штуковину люди в пурпурных одеждах. Адрес у них был правильный,— так что же, ошибка... во времени? Как бы там ни было, он знал, что машина предназначалась не ему. Но кому же? Что значит слово «свинч»?

Машина состояла из восьми предметов: шести механизмов-запасников, одного механизма-маэстро и одного механизма, который может выделять отдельные фрагменты рисунка крупным планом, чуть ли не в натуральную величину. Все это хозяйство Фиш освоил. Он теперь легко справлялся с приборами — они усложняли или упрощали картину, углубляли или сужали перспективу, меняли стиль и настроение. Единственное, чего он не знал, это назначения трех красных кнопок, помеченных словами «Utplåna», «Torka» и «Avslå». Казалось, они ни на что не влияют. Он включал их в самых различных сочетаниях, но никогда ничего от этого не менялось.

В конце концов Фиш так и оставил их: «Torka» утоплена, две другие — нет. Но кнопки были большие, красные, они, по-видимому, имели какое-то значение.

Он нашел упоминание о них и в брошюре:

Utplåna en teckning, press knappen «Utplåna». Avlägsna ett mönster från en bank efter användning, press knappen «Torka». Avslå en teckning innan slutsatsen, press knappen «Avslå».

Press knappen, press knappen — это должно означать «нажми кнопку». Но когда? А еще это словечко «monster» — от него одного становится как-то не по себе. До сих пор Фишу здорово везло — удавалось пользоваться машиной в общем-то без всяких осложнений. А вдруг все-таки что-нибудь выйдет из строя? А что, если брошюра — это предостережение?

Он беспокойно шатался по пустому дому — пустому и неприбранному, потому что он не хотел держать слуг. Никогда ведь не знаешь, кто будет шпионить за тобой. Два раза в неделю приходила женщина привести в порядок дом — все комнаты, кроме одной, запертой, — изредка он приводил девушек, чтобы развлечься, но наутро всегда выставлял их из дому. Занятий у него хватало — встречи с разными людьми, путешествия, но с тех пор, как он решил стать Уилмингтоном, ему пришлось порвать со всеми старыми друзьями, а новых он не решался заводить из боязни как-нибудь выдать себя. Да и вообще все от него чего-то хотели. По правде говоря, ему, черт подери, не хватало счастья. А какая к дьяволу цена всем этим деньгам, всем вещам, которые он накопил, если они не принесли ему счастья? Но как бы то ни было, очень скоро потекут денежки от нефтяных скважин — маклер заверил его, что бурильщикам осталось пройти каких-нибудь несколько сот футов, — а там он станет миллионером, сможет удалиться от дел, уехать во Флориду или еще куда-нибудь.

Он остановился у письменного стола в библиотеке. На нем все еще лежала раскрытая брошюра. Но даже если предположить, что кто-то знает язык, на котором она написана, разве Фиш осмелится показать ее кому-либо? Разве он может довериться?

Но тут его осенило, и он склонился над желтыми страницами с непонятным текстом. В конечном счете

смысл некоторых слов в брошюре он угадал; поэтому совсем не обязательно показывать всю книгу или даже целые страницы из нее.

Существует же информационное бюро, о котором говорится в Британской энциклопедии — у него где-то было роскошное издание. Фиш порылся в картотеке и наконец разыскал некую папку и целый лист новеньких желтых марок.

Ворча, он сел за стол, долго жевал сигару, черкал и перечеркивал и наконец напечатал:

Дорогие сэры!

Прошу сообщить мне, к какому языку относятся следующие слова и что они значат. Прошу вас уделить моему запросу максимум внимания, ибо дело это очень спешное.

На отдельном листочке он выписал сомнительные слова из абзаца о красных кнопках, предусмотрительно перетасовав их, чтобы никто не мог догадаться, в какой именно последовательности они стояли в брошюре. Чувствуя себя довольно глупо, он тщательно проставил в тексте все до единого тоненькие кружочки и точки над буквами. Затем он вывел адрес, приклеил одну из желтых марок на конверт и бросил его в почтовый ящик, прежде чем успел раскаяться в этом.

— Не ответите ли вы мне на такой риторический вопрос,— лукаво обратился Фиш к молодому физику, стараясь перекричать гам вечеринки,— в чисто академических целях могли бы вы сконструировать машину, которая умеет рисовать?

С сияющей улыбкой он смотрел сквозь очки в роговой оправе на расплывавшееся словно в тумане

пятно — лицо молодого человека. Фиш уже выпил три мартини и теперь — фью! — витал в пространстве. Правда, оставался в здравом уме и твердой памяти.

— Ну, смотря что рисовать. Если вы имеете в виду карты и графики, конечно, или что-нибудь вроде пантографа, увеличителя...

— Нет, нет! Рисовать прекра-а-сные картины...— Последнее слово Фиш немного скомкал. Он тихонько покачивался взад и вперед.— Чисто риторический вопрос...

Мимо проносили поднос с напитками. Фиш метко опустил на поднос один бокал и взял другой, при этом плеснул себе на руку ледяным напитком. Он сделал большой глоток, чтобы не расплескать остальное.

— О, в таком случае — нет. Я бы сказал — нет. Полагаю, вы имеете в виду машину, которая будет сама творить, а не осуществлять заложенную в нее программу. Ну, это значило бы прежде всего, что блок памяти должен быть огромных размеров. Предположим, вы хотите, чтобы машина нарисовала вам лошадь. Для этого машине необходимо знать, как выглядит лошадь во всех ракурсах и в любом положении. А потом машине придется выбирать лучшее, скажем, из десяти или двадцати миллиардов, а потом еще нарисовать лошадь, соблюдая правильные пропорции и все требования искусства. А потом, если вы, не дай бог, захотите получить прекрасное, машине нужно будет разобраться в соотношении отдельных частей и целого на основе какого-нибудь эстетического постулата. Я лично представления не имею, как к этому подступиться.

Своими толстыми пальцами Фиш пытался выудить маслину.

— Так, говорите, это невозможно? — спросил он.

— По крайней мере при современной технике. Мне

кажется, ближайшие век-два мы не будем трогать искусство.

«Пятно» улыбнулось и подняло бокал с виски.

— Ага! — сказал Фиш, хватая молодого человека за лацкан, чтобы удержать себя на ногах, а физика — в углу. — Но вот, предположим, у вас есть такая машина. И, предположим, машина все забывает и забывает. От чего бы это могло быть?

— Забывает?

— Ну да, я же говорю.

С ужасом сознавая, что он сказал слишком много, Фиш собрался было продолжать, но неожиданно чья-то рука легла на его руку. Это был один из многообещающих молодых людей — в красивом костюме, с красивыми зубами, красивым платочком в кармане.

— Мистер Уилмингтон, я хотел только сказать, какое чудо искусства эта ваша последняя фреска. Одна огромная стопа! Не знаю, что это означает, но произведение чудесное. Надо как-то заполучить вас на нашу телепрограмму «Пять-Семь», чтобы вы объяснили зрителям идею картины.

— Я никогда не выступаю по телевидению, — нахмурившись, сказал Фиш. Вот уже почти год он отбивался от подобных приглашений.

— О, как жаль! Рад был познакомиться с вами. Да, между прочим, велено передать, что вас там просят к телефону. — Он помахал рукой и удалился.

Фиш пробормотал извинения и пустился в опасное путешествие через комнату. Телефон стоял на одном из крайних столиков, мрачно поблескивая черным лаком. Фиш поднял трубку и небрежно произнес:

— Алло-о-о!

— Доктор Фиш?

Сердце в груди у Фиша застучало. Он поставил на стол бокал с мартини.

— Кто это? — растерянно спросил он.

— Это Дэйв Киней, Док.

У Фиша немного отлегло от души.

— О, Дэйв, а я думал, ты в Бостоне. Впрочем, наверное, ты и сейчас там, но связь...

— Да нет, я здесь, в Санта-Монике. Видите ли, Док, всплыло кое-что...

— Что? Что ты здесь делаешь? Надеюсь, ты не бросил школу, потому что...

— Сейчас летние каникулы, Док. Видите ли, дело в том, что я тут у Нормы Джонсон в студии...

Трубка вдруг вспотела в руках у Фиша, а он стоял молча. В проводах гудела тишина.

— Док? Миссис Прентис тоже здесь. Мы тут вроде поговорили и пришли к выводу, что вам нужно зайти сюда и кое-что объяснить.

Фиш судорожно глотнул.

— Док, вы меня слышите? Я считаю, что вам нужно зайти. Они уже собрались вызвать полицию, но я хотел бы дать вам возможность оправдаться, так что...

— Сию минуту буду,— прохрипел в трубку Фиш.

Положив трубку, он стоял как в тумане, прижимая руку к пылающему лбу. О боже, три — нет, четыре — мартини, и тут вдруг это! У него закружилась голова. Казалось, все вокруг — и многообещающие молодые люди в глянцевых летних жилетах, и пастельные женщины в платьях для коктейля с их яркими фальшивыми улыбками — стоят слегка наклонно к зеленому ковру. Какое им дело, если единственное, что он еще способен выудить из машины, это изображения отдельных частей тела? Тот раз — большой крепко сжатый кулак, а теперь вот стопа, — думаете, комиссия не воз-

мушалась? Возмущение было шумное, но работу приходится принимать, потому что контракт с заказчиком уже подписан. Сегодня утром Фишу звонил агент. Какой-то религиозной секте в Индиане нужны образчики религиозных сцен. Вот так-то, все мало-помалу на глазах у Фиша идет коту под хвост, а теперь еще это — на тебе! Боже милостивый, Дэйв! Ты уверен, что он по крайней мере в Бостоне, а он, черт возьми, каким-то образом набрел на Норму.

Один из репортеров оторвался от закуски и перехватил Фиша, когда тот нетвердым шагом направлялся к двери.

— О, мистер Уилмингтон, скажите по совести, что на самом деле означает эта стопа?

— Пошел вон! — ответил Фиш, пошатываясь.

Он доехал до дому на такси, попросил шофера подождать, залез под душ, освежился, выпил чашку черного кофе и снова вышел на улицу, еще слабый, но не такой пьяный, как прежде. Коктейли, будь они неладны. Когда он пил пиво, он никогда так не надирался. Там, на Плат Террас, все было куда лучше, и какого черта он связался с этой идиотской игрой в искусство?

В желудке у него было пусто. Весь день не ел, припомнил Фиш. Что же, теперь слишком поздно. Он взял себя в руки и нажал кнопку звонка.

Дверь открыл Дэйв. Тряся его безвольную руку, Фиш разразился приветственными криками.

— Дэйв! Мой мальчик! Как я рад тебя видеть! Давненько мы расстались, между прочим.

Не дожидаясь ответа, он ворвался в комнату. Это было сумрачное помещение без окон. Оно всегда раздражало Фиша; вместо крыши над головой во весь потолок шел световой люк, сквозь тусклое стекло свет просачивался серый и безжизненный. В углу стоял

мольберт, кое-где на голых стенах были приколоты рисунки. В дальнем конце комнаты на скамье, обитой красной материей, сидели Норма и ее тетушка.

— Норма, радость моя, как поживаете? И миссис Прентис, как приятно видеть вас!

В его словах не было никакой натяжки. Миссис Прентис действительно была очень хороша в своем новом синем костюме. Он заметил, что его прежние чары еще действуют, и ему даже показалось, что глаза ее заблестели от удовольствия. Но это длилось лишь миг, затем ее лицо снова приняло жесткое выражение.

— Что это значит, я слышала, что вы даже не навещали Норму? — воскликнула она.

Фиш изобразил на лице глубокое недоумение.

— Что... что? Норма, разве вы не объяснили вашей тетушке? Простите, одну минутку.— Он бросился к рисункам на стене.— Хорошо. Так это же просто отлично, Норма, такой прогресс! Симметрия, знаете ли, и динамичность, поток...

— Им уже три месяца, этим картинкам,— сказала Норма.

На ней была мужская рубашка и комбинезон, по ее лицу было видно, что она недавно плакала, но с тех пор успела тщательно подкраситься.

— Радость моя, я ведь собирался вернуться, даже после всего, что вы мне наговорили. Я заходил даже, знаете ли, дважды, но вы не открывали дверь.

— Неправда.

— Что же, вас могло не быть дома,— весело возразил Фиш. Он обернулся к миссис Прентис: — Норма была расстроена, знаете ли,— и упавшим голосом добавил: — После двух месяцев занятий она вдруг велела мне уйти и больше не возвращаться.

Дэйв все это время ходил по комнате. Не произнося ни слова, он присел рядом с Нормой.

— Подумать только — брать с бедного ребенка деньги ни за что, ни про что, — разгорячилась миссис Прентис. — Почему вы не вернули их?

Фиш взял раскладной стул и сел рядом с нею.

— Миссис Прентис, — спокойно сказал он, — мне не хотелось, чтобы Норма совершила ошибку. Я сказал ей: поживите здесь так, как мы договорились, поучитесь у меня годик, говорю, и если будете недовольны, что ж, я с удовольствием верну вам все до последнего цента.

— Но от вас же никакого толка, — с истерической ноткой в голосе произнесла Норма.

Фиш наградил ее взглядом, полным горестного терпения.

— Он, бывало, зайдет, посмотрит на мои работы и скажет что-нибудь вроде: «Это выражает настроение», или «Хорошо выдержана симметрия», или еще что-нибудь столь же бессмысленное. Я стала так нервничать, что совсем не могла рисовать. И тогда я написала вам, тетя Мари, но вы были в Европе. Мой бог, должна же я была что-нибудь сделать, не правда ли? — Она стиснула руки на коленях так, что побелели суставы.

— Ну, ну, дорогая, — промолвила миссис Прентис и тихо пожала ее руку.

— Я посещала дневные занятия в Художественном центре, — продолжала Норма, цедя сквозь зубы. — Это все, что я могла позволить себе.

Глаза миссис Прентис сверкнули гневом.

— Мистер Уилмингтон, я считаю, нам больше не о чем говорить. Я хочу, чтобы вы вернули выплаченные

вам деньги. Полагаю, что для такого известного художника, как вы, просто позор так опуститься...

— Миссис Прентис,— сказал Фиш, снова понизив голос,— если бы не моя вера в великую будущность Нормы как художницы, я отдал бы вам все до последнего цента. Но поскольку это плохо обернулось бы для Нормы, я полагаю...

— Док,— грубо вмешался Дэйв,— вы вернете эти деньги, и как можно скорее.— Он наклонился к пожилой даме: — Вы хотите знать его истинное имя? Так вот — его зовут Фиш. По крайней мере, так его звали, когда я с ним познакомился. Вся эта история — просто шутка. Никакой он не художник. Настоящий Джордж Уилмингтон — его племянник; он инвалид и живет в Висконсине. Док просто выступал здесь как его представитель, поскольку сам Джордж болен и не в силах нести бремя популярности и все остальное. Такова истина. Во всяком случае, известная мне доля истины.

Фиш грустно сказал.

— Дэйв, вот твоя благодарность за то, что я пристроил тебя в Школу художеств?

— Вы добились стипендии для меня, но сами не платили ровно ничего. Я узнал это от нашего директора. Я понял, что вам нужно было убрать меня с дороги, чтобы я не болтал лишнего. Черт возьми, Док, я же не против. Но когда я встретил Норму здесь, возле дома...

— Что? Когда это было?

— Около десяти утра.

Фиш моргнул. Он тогда был в постели, у него болела голова, и он не ответил на звонок; если бы он только знал!..

— Вас не было дома, мы разговорились с Нормой и... по совести говоря, одно дело — выдавать себя за

своего племянника, но браться за обучение, не умея провести ни одной линии,— это уж, простите...

Фиш поднял руку.

— Послушай, Дэйв, ты кое-чего не знаешь. Ты заявляешь, что мое настоящее имя Фиш. А ты когда-нибудь видел мою метрику или, может быть, ты знаком с кем-нибудь, кто знал меня в детстве? Откуда тебе известно, что меня зовут Фиш?

— Так вы же сами сказали.

— Правильно, Дэйв, я сказал. А ты сказал, что настоящий Джордж Уилмингтон — инвалид из Висконсина. Ты его видел, Дэйв? Ты бывал в Висконсине?

— Ну, не был, но...

— И я там не бывал. Да, Дэйв,— он торжественно понизил голос,— все, что я когда-либо говорил тебе, все это чистая выдумка.

Теперь пора пролить слезу. Фиш обратился мыслями к своим кредиторам, к неполадкам в машине, к своему поверенному по нефтяным делам, который удрал на юг, прихватив его денежки, к адвокатам, пытавшимся вернуть похищенное и при этом грабившим и обманывавшим Фиша напропалую, припомнил всеобщую неблагодарность. Теплая струйка поползла по его щеке, он стряхнул ее, резко наклонив голову.

— Так как же? — спросил ошарашенный Дэйв.

С видимым усилием Фиш заговорил снова.

— У меня были свои причины. Да, были причины. Знаете... трудно... нелегко об этом говорить. Миссис Прентис, нельзя ли побеседовать с вами наедине хоть минутку?

Она немного наклонилась вперед и смотрела на него с участием. Этот прием еще никогда не подводил — подобные женщины не могут устоять перед слезами мужчин.

— Ну что ж, я-то, конечно, не возражаю,— сказала, подымаясь, Норма. Она вышла, и Дэйв последовал за нею. Еще мгновение — и дверь за ними захлопнулась.

Фиш высморкался, украдкой приложил к глазам платок, мужественно распрямился и положил платок в карман.

— Миссис Прентис, вы, наверное, не знаете, что я вдовец.— Глаза у нее полезли на лоб.— Истинная правда, я потерял мою дорогую жену. Честно говоря, обычно я об этом не заговариваю, но как-то так... Не знаю, приходилось ли вам, миссис Прентис, терять близкого человека...

— Разве Норма не говорила вам? — взволнованно сказала она.— Я вдова, мистер Уилмингтон.

— Не может быть! — воскликнул Фиш.— Разве это не поразительно? Я все время что-то такое чувствовал, знаете ли, какую-то вибрацию. Миссис Прентис,— можно мне называть вас просто Мари? — вы знаете, после моей утраты...— Самое время пролить еще слезу. Лиха беда начало, теперь это не составляло труда.— Я буквально умирал, да что греха таить, мне и жить не хотелось. В течение года я не мог видеть карандаша. И даже по сей день я не могу провести линии, если в это время на меня кто-нибудь смотрит. Вот где причина всей этой путаницы. А историю насчет племянника и всего такого прочего я просто выдумал, чтобы объяснить легче было. Так мне казалось. Прямо не знаю, до чего я бываю неловок, груб там, где требуется хоть капля такта. Прямо как слон в антикварной лавке. Вот и вся история, Мари.

Он откинулся на спинку стула, снова энергично высморкался.

В глазах миссис Прентис блеснула влага, но лицо сохраняло выражение настороженности.

— Я, право, не знаю, что и думать, мистер Уилмингтон. Вы говорите, что не можете рисовать в присутствии людей...

— Зовите меня Джорджем... Видите ли, психологи называют это травмой.

— Хорошо, как же быть? Я выйду на несколько минут, а вы тут что-нибудь нарисуете... Тогда, мне кажется, все будет...

Фиш грустно покачал головой.

— Дело обстоит хуже, чем я рассказывал. Я не могу рисовать нигде, только в одной из комнат своего дома. Она у меня всегда на запоре, там портрет покойницы и несколько памятных предметов.— Он с трудом сглотнул слюну, но решил удержаться от третьего слезоизлияния.— Простите, я сделаю это для вас, если смогу, но...

Она ненадолго задумалась.

— Тогда давайте решим так. Вы пойдете домой, мистер Уилмингтон, и что-нибудь нарисуете — набросаете мой портрет по памяти. Мне кажется, любой грамотный художник справится с такой задачей?

Фиш колебался, не решаясь сказать «нет».

— Понимаете, тогда все выяснится. Не добудете же вы мое фото и не пошлете в Висконсин — на это вам просто не хватит времени. Я даю вам... ну... полчаса.

— Полч...

— Этого хватит, не правда ли? Так вот, когда через полчаса я зайду к вам и у вас будет мой портрет — если вы хотя бы передадите сходство, — тогда мне станет ясно, что все рассказанное вами — правда. А если нет...

Припертый к стене, Фиш сделал хорошую мину при плохой игре. Он встал, самонадеянно улыбаясь.

— Ну что ж, это справедливо. Во-первых, ваше

лицо не может изгладиться из моей памяти. И потом, я хочу сказать вам, насколько легче мне стало от того, что мы с вами так мило побеседовали, случайно... Но лучше уж я пойду и начну рисовать. Жду вас через полчаса, Мари!

Он немного помедлил в дверях.

— Я приду... Джордж,— сказала она.

Бормоча что-то себе под нос, нервно подергиваясь, Фиш ворвался в дом и захлопнул за собой дверь. В доме царил кавардак — подушки с софы, газеты попеременно валялись по всей комнате. Ну и пусть, если гостье не понравится, пусть выйдет за него замуж и наведет здесь чистоту. Сейчас главное... Он отпер секретную комнату, лихорадочно сорвал с большой машины чехол и стал нажимать кнопки на одном из ящичков. Главное — получить ее портрет. Один шанс из ста. Все же лучше, чем ни одного. Он включил машину, в беспомощном нетерпении наблюдая, как медленно выдвинулись руки и повисли неподвижно.

Портрет — да еще чтобы было похоже! Единственная надежда — собрать его из отдельных фрагментов. Машина ведь выдавала теперь лишь совершенно бесполезные вещи — инженерные чертежи, архитектурные проекты, какие-то анатомические детали... Только бы их там хватило на одно лицо! И только бы это лицо хоть немного напоминало лицо Мари!

Машина неожиданно щелкнула и начала выводить линию. Фиш стоял над нею, от возбуждения поглаживая пальцы, и наблюдал, как совместными движениями двух вращающихся стержней направляются движения руки и возникает тонкая линия. Наблюдать за самим процессом приятно, хотя результаты работы ему никогда не

правились. Вот линия закруглилась; вот руки поднялись, откинулись назад. Нос! Она нарисовала нос!

Нос был греческий, хорошей формы, но толстый, совсем не похожий на точеный носик Мари, но, бог с ним, он ее уговорит — дайте ему товар, а уж он его продаст, будьте покойны! Пусть это будет какое угодно женское лицо, лишь бы только не безобразное. Ну, продолжай же, теперь глаз!

Но руки остановились и опять безжизненно повисли. Машина тихо гудела, шкалы светились, но ничего не происходило.

Снедаемый нетерпением, Фиш посмотрел на часы, встряхнул их, снова посмотрел, чертыхнулся и быстро вышел из комнаты. Бывает, что машина постоит вот так некоторое время, несколько минут, будто снова и снова старается приступить к работе, но почему-то не в силах сделать этого, а потом вдруг — щелк! — и опять начнет действовать. Он поспешил назад, посмотрел — все то же, — снова пошел мерять шагами пустые комнаты, искать, чем бы заняться.

Тут он впервые заметил, что в почтовом ящике лежит какая-то корреспонденция. В основном счета. Он сунул их за софу в гостиной, но один конверт был длинный, пухлый, коричневый, со штампом справочного отдела Британской энциклопедии в углу.

За давностью всей этой истории он не сразу вспомнил, в чем дело. Через две недели после того, как он отправил свое письмо, пришло вежливое извещение о том, что его получили, потом долгие месяцы не было ничего. Он давно решил, что ответа не будет. Такого языка, по-видимому, не существует.

...Ну что ж, посмотрим. Он вскрыл конверт. Беспокойные глаза его остановились на часах в столовой. Взглянув на стрелки, он забыл о конверте, небрежно скомкал

его в руке и бросился в секретную комнату. Машина так и стояла, гудя, неподвижная, со светящимися шкалами. На листе не было ничего, кроме благородного носа.

Фиш грохнул кулаком по боку большой машины — безрезультатно, если не считать пострадавшего кулака. Потом треснул по блоку памяти. Ничего. Он отвернулся, заметил, что до сих пор держит в руке конверт, и раздраженно вытащил оттуда содержимое.

Это оказалась жесткая оранжевая папка со скрепкой в уголке. Когда он раскрыл ее, то увидел в папке единственный лист бумаги. Наверху — штамп Британики, затем — «В. А. Стернбек, директор» и в середине крупно: «ШВЕДСКИЕ СЛОВА».

Пораженный, он пробежал глазами лист. Там были все переписанные им из брошюры слова и напротив каждого стояло его значение по-английски: *teckning* — рисунок, *mönster* — образец, *utplåna* — стирать, *användning* — эксплуатация, применение.

Фиш оторвал глаза от бумаги. Так вот почему ничего не получалось, когда он нажимал кнопку «*Utplåna*» — он всегда делал это до того, как машина примется за рисунок, и никогда, если готовый рисунок уже лежал на столе. И как ему раньше не пришло в голову? Ну да, вот и *avslå* — отказываться, и *slutsatsen* завершение, окончание. «Чтобы отказаться от рисунка до его завершения, нажми...» Он и этого никогда не делал.

А зачем средняя кнопка? Тогда — уничтожить. Уничтожить? А ну-ка посмотрим, было еще словечко «*Avlägsna*», вот оно. Порой, когда он только-только просыпался, фраза «*Avlägsna ett mönster*» мелькала в его мозгу как предупреждение, произнесенное шепотом... Вот оно... *avlägsna* — удалить, устранить.

Руки его тряслись. «Чтобы устранить образец из блока памяти, после употребления нажми кнопку «Уничто-

жить». Он уронил брошюрку. Все это время, сам того не зная, он систематически использовал драгоценные образцы, заложенные в машине, и один за другим выбрасывал их на ветер, и вот теперь в машине не осталось ничего. Теперь это всего лишь восемь бесполезных кусков металла, сделанных где-то, для кого-то, кто говорит по-шведски...

Машина тихо щелкнула, и другая рука начала двигаться. Она провела изящную линию вверх, немного отступив вперед от носа. Сделала петлю и вернулась вниз, потом снова пошла вверх.

Где-то вдали требовательно прозвенел звонок. Фиш, словно загипнотизированный, уставился на бумагу, движущийся палец начертил еще одну изящную, незамкнутую петлю, потом еще — петли были похожи на корабли, веером ставшие у причала, — вот и еще одну, неумолимо, не спеша, нарисовала машина; теперь их стало четыре. Не останавливаясь, она провела последнюю линию вниз и затем провела ее поперек страницы. Линия достигла кончика носа и, изогнувшись, вернулась назад.

Четыре незамкнутые петли были пальцами. А пятая — большим пальцем, приставленным к носу.

Машина, тихо гудя, убрала руки в соответствующие пазы. Через мгновение погасли огни, и гул прекратился. Вдалеке снова прозвенел дверной звонок. Он звенел и звенел, не переставая.

Когда ее пристегнули к контурному креслу — оно послушно принимало форму лежащего человека, — девушка вскрикнула и сжалась под эластичной прокладкой стальных скреп.

И еще раз она содрогнулась и вскрикнула, когда почувствовала омерзительное прикосновение чудовища. Не помня себя, она бежала, увязая в тинистом болоте, но неведомая тварь с налитыми кровью глазами передвигалась куда быстрее на мягких паучьих ногах. И вот девушка уже бьется в гнусных объятиях. В смертельном ужасе она закричала снова...

Позади, на спинке кресла, стрелка проектора качнулась за красную черту. Вдали от сотен длинных рядов кресел, на контрольном щитке сектора F вспыхнула сигнальная лампочка, и настойчивый гудок привлек внимание дежурного контролера. Тот взглянул на контрольный план зала и побежал вдоль ряда, отыскивая кресло девушки. Он увидел, что проектор автоматически прекратил прием эмоциofilmа-боевика и включил пленку аварийного транквилизатора. Девушка уже не кричала, только дышала часто и неровно. Контролер оглядел ряды кресел: свободных мест почти не было, но никто больше не казался испуганным сильнее, чем это было предусмотрено.

Другие контролеры прервали обход рядов и с насмешливым любопытством глядели в его сторону. В ответ он недоуменно пожал плечами, вынул из специаль-

ного гнезда на спинке кресла эмоциодопуск девушки на восприятие фильма и сравнил допустимую остроту ощущений с показателем шкалы проектора. Цифры совпали. Еще более озадаченный, он проверил остальные приборы, но так и не обнаружил причин для приступа панического страха.

Пленка транквилизатора кончилась, механизм автоматически выключился. Контролер ослабил зажим электродов, снял их с головы девушки и спрятал в ящик.

Она открыла глаза; контролер снял аппарат и отстегнул скрепы.

— Вам лучше, мисс? — спросил он с заботливой улыбкой.

Она кивнула, но где-то в глубине глаз по-прежнему таилась тревога.

— Спуститесь-ка вниз, в клинику, — сказал он тихо, помогая ей встать.

Девушка ничего не ответила, но позволила себя увести. Они на ходу вскочили в движущуюся транспортную кабину и мягко поехали вниз, сквозь этажи эмоциотеатра, заставленные бесчисленными рядами кресел.

Когда кабина дошла до этажа, где размещалась администрация, контролер перевел рычаг на горизонтальное движение, и их втянуло в коридор. Он проводил девушку в кабинет врача и оставил там, предварительно рассказав, что произошло.

Врач усадил девушку возле своего стола.

— А сейчас как вы себя чувствуете?

Она слабо улыбнулась и ответила, растягивая слова, как все южане:

— По-моему, хорошо.

— Посмотрим,— сказал он, проглядывая ее эмоциональный допуск.— Вы — мисс... э... Лоретта Минан из ...э... а, вот... из Хэммонда, штат Луизиана.— Он поднял на нее глаза и улыбнулся.— Смею спросить, сколько вам лет, мисс Минан?

— Шестнадцать.

— И очаровательные шестнадцать, должен признаться. Вы здесь с родителями?

— Да. Ма и па на совещании. Они нам разрешили пойти в эмотеатр.

— Кому это вам?

— Здесь еще мой старший брат, Джэсон.

— Так. А ему сколько лет?

— Восемнадцать. Но он рослый, с виду настоящий мужчина, кто его не знает, дает ему больше двадцати.

— Где он сидит?

— Рядом со мной, слева.

Доктор посмотрел на план зала.

— Так, значит номер... э... шесть тысяч сорок два. Придется послать за ним контролера.

— Не надо, прошу вас,— поспешно взмолилась она.— Пусть досмотрит. А то он взбесится, если по моей милости не узнает, чем кончилось.

— Ладно,— любезно согласился доктор.— Как вы развлекаетесь здесь, в Нью-Йорке?

— Сногшибательно!

— Это хорошо. А дома тоже бываете на эмоциоподключении?

Доктор увидел, как она как-то напряглась и нервно заерзала в удобном кресле.

— Да.

— Любите их?

— Да.

— И волнуетесь, когда воспринимаете эмофильмы ужасов?

— Нет, сэр.

За ее настороженностью доктор почувствовал тревогу.

— Так почему же вы так нервничали сегодня, как по-вашему?

— Не знаю, сэр. Может быть, с непривычки. Я никогда раньше не уезжала так далеко из дому, только один раз — в Нью-Орлеан.

Доктор опять взял в руки ее допуск.

— Снимок не очень-то похож.

— Да, я плохо вышла,— пролепетала она.

Улыбка вдруг сбежала с лица доктора, оно сразу стало строгим.

— А может, все дело в том, что это не ваша фотография и не ваш допуск?

Она побелела.

— Как вас зовут?

— Робайна Роу.

Опущенные глаза не отрывались от нервно мечущихся пальцев.

— Кто такая Лоретта Минан?

— Моя подруга.

— Почему вы взяли ее допуск?

Она чуть не плакала.

— Я просто не могла не пойти на этот эмофильм. В нем играет мой любимый актер.

— Наверно, в вашем допуске запрещены эмофильмы ужасов?

Она кивнула.

— А почему? Кошмары по ночам?

Она покачала головой.

— Никогда не поверю, что у вас плохое сердце.

Она снова покачала головой.

— Я Восприимчивая,— мрачно вымолвила она наконец.

Доктор даже подскочил от возмущения и перегнулся через стол.

— Ах ты, глупая! — заорал он.— Настоящая дуреха.

С порога открытой двери вдруг метнулась тень, через стол прыгнула на доктора и вместе с ним покатилась на пол.

— Джэсон! — взвизгнула Робайна.

— Как вы смеете так разговаривать с моей сестрой! — вопил Джэсон, молотя доктора кулаками.— Я убью вас!

Служащий, сопровождавший Джэсона в клинику, кинулся к столу, чтобы оттащить юношу; Робайна тоже попыталась вмешаться, но в пылу драки ее сбили с ног, она упала и ударилась головой о перевернутый стул. Услышав крик боли, Джэсон бросился к сестре.

— Пустяковая шишка! — уверял он, обняв ее и утешая, как малого ребенка.

Доктор тем временем встал на ноги и злыми глазами разглядывал этого высокого, на редкость красивого юношу — полумальчика, полумужчину.

Бережно усадив сестру в кресло, Джэсон вновь круто повернулся к врачу.

— Послушайте, вы...

— Нет, это вы послушайте! — перебил доктор. Он видел, что Джэсон весь подобрался, словно для второго прыжка, но Робайна схватила его за руку, и кулаки юноши медленно разжались.— Если бы вы действительно так сильно любили сестру, вы бы не помогали ей убивать себя.

— О чем вы говорите?

— Вы отлично знаете, о чем, черт вас дери! — крикнул доктор. — Отлично знаете, что ваша сестра считается Восприимчивой. Она ощущает все в десять раз интенсивнее обыкновенного человека, и порог восприятия у нее настолько высок, что сцена смерти в эмофильме может убить ее! Некоторые мои слова вам, видно, непонятны, — добавил доктор, заметив легкое замешательство на лице Джэсона, — но зато вы наверняка знаете, что такое ваша сестра и как осторожно с ней надо обращаться.

Виноватое выражение лица Джэсона подтвердило его правоту.

Разгневанный врач продолжал бушевать.

— Какого же черта мы ввели закон об обязательном допуске к восприятию эмофильмов, как вы считаете? К чему все эти медицинские обследования и психотесты при выдаче допусков? Даже вас, вас, такого здорового быка, можно убить страхом, если острота проецируемого ощущения превысит предел вашего психопрофиля. — Он видел, что юноша опять не понял последних слов. — Впрочем, это уж дело ваше. А вот почему вы подвергли смертельной опасности сестру, разрешив ей незаконно воспользоваться чужим допуском? Да еще выбрали эмофильм ужасов!

— Я не хотел, — жалобно сказал Джэсон, — но она пищала и приставала до тех пор, пока я не сдался.

— Ладно, в общем вы оба нарушили закон. Мы дадим знать вашим родителям, а до их прихода придется посидеть здесь. — Доктор нажал сигнальную кнопку и вызвал охранника. — Отведите этих двоих в кабинет мистера Лемсона, — приказал он.

Охранник увел их и по движущейся платформе проводил в административное крыло, где помещалась дирекция; хрусталь и металл театра фирмы «Все как

наяву» остался позади. Служащий не ушел, пока управляющий делами вице-президента Сайруса У. Лемсона не пригласил их в кабинет.

Мистер Лемсон предложил молодым людям сесть и молча разглядывал Джэсона, его малинового цвета бумажные штаны в обтяжку и черную, переливающуюся куртку, которая подчеркивала стройность мускулистого тела. «Восемнадцать или больше? — думал он, слегка удивленный. — Этот красивый великан уже не мальчик».

— Доктор сообщил мне о вас по видеофону, — строгим голосом начал он и долго разъяснял серьезность их проступка, потом сообщил, что родители вот-вот придут. И он проводил их в конференц-зал, обставленный как роскошная гостиная.

— Посидите здесь до прихода родителей. На столике есть журналы, а если пожелаете, можно включить телевизор.

Он закрыл за собой дверь.

— Включить телевизор? — спросил Джэсон.

— Нет, что-то не хочется.

Они уселись на огромную тахту, и Робайна взглянула на брата.

— Джэсон, мне, правда, очень жаль. Опять из-за меня на тебя сыплются разные беды.

— Не скули, Роби. Ничего страшного не будет. Они расскажут па и ма, па сделает вид, что закует нас в кандалы, когда мы вернемся в гостиницу, а на самом деле будет только шагать по комнате мрачный как туча и изведет нас своими нотациями, чтобы мы чувствовали себя виноватыми. Словом, много движений и никаких достижений, как у пчелы, увязшей в бочке дегтя.

— Да, конечно, — согласилась Робайна. И робко взглянула на брата. — Джэсон, а чем кончился эмофильм?

Джэсон возмутился.

— Ну знаешь, Роби, неужто тебе еще мало? Ты слышала, доктор сказал, что этот последний чуть тебя не угробил.

— Ну, Джэсон, пожалуйста, что тут плохого, ведь ты только расскажешь.

— Все равно плохо! Ты сейчас же опять начнешь трепыхаться.

— Это потому, что никто не умеет рассказывать лучше тебя, ты словно разыгрываешь все, что произошло.

— Я не разыгрываю, я рассказываю.

— Ну ладно, называй это рассказом, но дома все говорят, что слушать тебя — то же самое, что смотреть эмофильм. И, пожалуйста, братец Джэй, не прикидывайся, что ты этого не знаешь и тебе самому это не приятно!

Джэсон не пересказывал конец эмофильма — он воспроизводил его. Он чудовищем подползал к сестре, и, хотя Робайна затыкала рот кулаком, она не могла сдержать тихого нервического вскрика. Джэсон хотел было замолчать, но она умолила его рассказывать дальше. Теперь он был героем, Греггом Мэсоном, и бился с таинственным врагом, и она, дрожа всем телом, следила за их схваткой не на жизнь, а на смерть. В последнем, отчаянном сверхчеловеческом броске Грегг руками разорвал грудь чудовища и вырвал трепетное, сочащееся сердце. Страшная тварь извивалась по земле, издыхала, покрытая слизью. Грегг, весь израненный, в крови, с остановившимся от ужаса взглядом, повернулся и шатаясь кинулся к Робайне.

— Грегг, о Грегг! — с облегчением повторяла Робайна, и слезы катились по ее щекам.

— Все в порядке, Джоан,— говорил он, утешая ее,— все хорошо. Все уже позади. Перестань, Джоан, утри слезы, а то тебе не видно, как я тебя люблю. Все хорошо.

— О Грегг,— она слабо улыбнулась сквозь слезы.

Грегг обвинил Джоан руками и поцеловал в дрожащие губы.

— Что вы делаете? — крикнул кто-то с порога.

От звука этого испуганного голоса Грегга и Джоан точно ветром сдуло. А Джэсон и Робайна медленно отошли друг от друга и увидели, что в комнату входит мистер Лемсон с каким-то незнакомцем.

— Это еще что? — снова заговорил м-р Лемсон.— Мало вам и так неприятностей?

— Позволь мне, Сай,— выступил вперед вновь пришедший.— Боб Хершэлл,— представился он, дружелюбно улыбаясь.— Скажите, пожалуйста, что вы делали, когда мы вошли?

— Ничего,— вызывающе ответил Джэсон.

— Вот они, гримасы порочного юга! — воскликнул Лемсон.— Брат обнимает сестру и говорит, что это «ничего».

— Я целовал ее вовсе не в том смысле...— горячо сказал Джэсон.— Я просто рассказывал...

— Что именно? — нетерпеливо спросил Хершэлл.

— Я рассказывал конец эмофильма, который мы видели, то есть видел-то я один. Ей не удалось досмотреть.

— Вы имеете в виду «Ужас Марса»? — уточнил Хершэлл.

— Наверное. Точно не помню, как он назывался.

— Колоссально! — сказал Лемсон.— Мы тут неделями сидим, придумываем заголовки, а этот типичный

американский юнец не помнит названия эмофильма, пережитого меньше часа назад.

— И как же вы рассказывали? — спросил Хершэлл.

— Он замечательный рассказчик, — с гордостью проговорила Робайна. — Он вроде как представляет, и с таким чувством, что и вправду кажется, будто ты сама все это переживаешь.

Хершэлл повернулся к Лемсону.

— Сай, я уверен, что это он. Все сходится. У меня появилась одна идея, и если выйдет, фирма «Все как наяву» займет первое место среди всех эмоциокомпаний.

— Мы и так первые, — устало сказал Лемсон. — Фирма «Все как наяву» — крупнейшая эмоцифирма, ты, по-моему, просто спятил, эти оба — настоящие психопаты, и я сам тоже свихнусь, если ты не объяснишь, в чем дело. Ты ворвался ко мне в кабинет...

— Прошу прощения, я не успел, все разворачивалось так стремительно... Я был у себя, ну, этажом ниже. И засадил Майру Шейн читать сценарий, пытался убедить ее, что это отличная роль. Но у нее ничего не получилось: рецептор не принимал. Вместо ее текста я почему-то пережил кульминацию «Ужаса Марса». У рецептора сегодня дежурит Зэк, он в две минуты все проверил и убедился, что электроника в полном порядке. А это могло означать только одно: кто-то забивает нас своей проекцией. Я звонил во все концы, но никто не включал проектора и никто не вел читку. А твоя секретарша сказала, что у вас тут сидит парочка ребят, вот я и поднялся посмотреть. И я уверен, что во всем виноват этот рослый южанин. Не иначе!

Лемсон явно заинтересовался.

— Но у него же нет реле. Как может рецептор ловить и фиксировать его ощущения?

— А хирургия на что?

И Хершэлл спросил Джэсона:

— Вам никогда не делали операции, не вшивали реле — усилитель мозговых реакций?

— Это вы про крошечные транзисторы, которые вставляют в череп эмоактерам?

— Именно.

— Нет, мне никогда не делали ничего похожего.

— Но это же невозможно, — сказал Лемсон. — Никто не обладает такой природной мощностью, чтобы без всякого усилителя проецировать и подавать на рецептор свои ощущения.

— А теперь, видно, это уже не невозможно, — радостно сказал Хершэлл. — Послушай, плюнь ты на эту дурацкую историю с допуском. Мне нужно срочно испробовать этого парня на рецепторе. Когда придут его родичи, намекни, что мы, возможно, сделаем их сына звездой; только не очень распространяйся на этот счет, а то они налетят сюда с целой сворой стряпчих и с кучей контрактов.

— Зря ты очертя голову влезаешь в это дело, Боб. Что с того, что он проецирует *au naturel*? А играть-то он умеет?

— Ты бы не спрашивал, если бы, как я две минуты назад, торчал у рецептора и принимал ощущения этого парня.

— Но у него ведь жуткий южный говор.

— Послушай, Сай, все будет зависеть от пробы. Если он не умеет играть — долой! Если же он такое чудо, каким кажется, то, пока мы не выколотим из него этот южный акцент, пустим его на вестерны и на эмофильмы о гражданской войне. Голову даю на отсечение, Сай, что этот парень — величайшая находка для эмофильма.

Спустя пять месяцев сияющий Хершэлл вошел в кабинет Лемсона и бросил на стол развернутую газету.

— Ты читал рецензию Лоранцелли на Роу в комиксе?

— Великолепно! — рявкнул Лемсон. — Мы тратим миллионы долларов на рекламу, убеждаем людей, что наши вестерны годятся для взрослых, а ты, вице-президент компании, во всеуслышание называешь их комиксами.

— Ладно, Сай, ты лучше прочти рецензию. Эмофильм он считает средненьким, но от Джэсона Роу в диком восторге.

Лемсон взял было газету, но нетерпеливый Хершэлл тут же вырвал статью у него из рук и сам начал читать вслух отдельные куски.

— Послушай... э... Джэсон Роу — яркий, остро чувствующий молодой актер, чей замечательный талант зря растрочен на роль юного стрелка в слабом вестерне...

Он... э... проецирует с такой яркостью и непосредственностью, что, видно, его способность к передаче тончайших переживаний просто не имеет предела. Его искусство перевоплощения безукоризненно, нет и намека на присутствие постороннего сознания, у него не найдешь расплывчатости, которая обычно свидетельствует о том, что механик у пульта рецептора всячески старается стереть подсознательные мысли актера, не связанные с ролью. Либо судьба послала мистеру Роу виртуоза-механика, либо он обладает потрясающей способностью абсолютного перевоплощения. Создается впечатление, что актер Роу умер, сумев передать задиристу юнцу (роль которого он играет) всю свою жизненную силу, так что тот просто живет в фильме, не сохраняя ни малейшего сходства с Джэсоном Роу. В своем дебюте моло-

дой Роу достиг цели, которая до сих пор считалась недостижимой: каждый эмоциозритель ощущал полное внутреннее слияние с героем, которого изображает актер. Мы возлагаем на него огромные надежды, ибо свет такого таланта озаряет сцену лишь раз в тысячелетие. Благодаря Джэсону Роу фирма «Все как наяву» теперь гарантирует то, что обещает своим названием».

Хершэлл бросил газету на стол.

— Как тебе нравится, Сай?

— Настолько нравится, что я сдаюсь,— с довольной улыбкой ответил Лемсон.— Ты был прав, продвигая Джэсона. Теперь мы выпустим его в эмофильме «Земля», как тебе хотелось, и ты, наконец, перестанешь ко мне приставать.

— А знаешь, Сай, Лоранцелли ошибается насчет механика у рецептора.

— Он на этом и не настаивает...

— Ну, Зэк лучший из всех возможных,— перебил его Хершэлл,— но как только мы начали фиксировать эмофильм Роу, Зэк прибежал ко мне потрясенный и сказал, что материалы Роу фиксируются так, точно тот действительно живет, а не играет роль. Никаких подсознательных помех, а этого никогда еще не бывало. Все именно так, как говорит Лоранцелли: Роу точно умирает, и начинает жить герой. Зэк клянется, что Роу просто исчезает. На пленке нет и следа его существования.

— В таком случае Зэк должен радоваться, что не приходится нажимать на техническую сторону фиксации.

— Ну, не все так гладко: надо еще усиливать, подчеркивать какие-то ощущения и прочее. Ты же знаешь, Зэк — художник, а не фотограф. Но для него самое трудное — это не поддаться влиянию Роу, не дать засосать себя, когда он его фиксирует. Пойми меня правильно. Зэк не жалуется. Сказать по правде, я предложил осво-

бодить его, если напряжение слишком велико, но он ответил, что если он не в состоянии вести эмофильмы Роу, то нечего платить ему жалованье. Это для него своего рода вызов. И потому он сконструировал новый адаптер для рецептора, чтобы противостоять угнетающему влиянию Роу.

— А какие сложности при подготовке эмофильма «Земля»?

— Сложности есть,— проговорил Хершэлл так мрачно, что Лемсон приготовился к худшему.— Нужны лошади. Интересно, где в наш атомный век достать несколько кавалерийских дивизий?

— Смотри, даже не найдешь, куда его вшили,— сказала Робайна, ощупывая голову Джэсона.— Пстой, пстой, вот какой-то маленький твердый бугорок. Вот он. Верно? Это реле?

— Ничего подобного,— засмеялся Джэсон,— это я набил шишку, когда упал с лошади.

— А зачем тебе вообще реле? Я думала, ты можешь проецировать и без него.

— Конечно, могу, но так лучше. Реле перехватывает самые крошечные мозговые волны, которые иначе вообще не зафиксируешь. Тут такая же разница, как между ультравысокими и высокими частотами. От этого эмофильм делается еще более убедительным.

— А когда же ты будешь участвовать не только в вестернах? Неужели тебе никогда не дадут сыграть в эмофильме про любовь?

— Зачем видеть все в мрачном свете, Роби? Вестерны нас неплохо кормят. Кроме того, этот новый вовсе не вестерн.

— Так к чему же там столько лошадей?

— Для кавалерии конфедератов, дурочка. Что это за форма на мне, как ты считаешь? Вот так дочь юга!

— Ах, эмофильм о гражданской войне! А как он называется?

— Э-э... «На земле мир и покой». — Джэсон улыбнулся. — Мистер Лемсон будет счастлив, когда узнает, что я запомнил название. Говорят, это был знаменитый бестселлер. Эмофильм обойдется фирме в десять миллионов долларов. У меня главная роль: Джед Картер, молодой парень южанин. Много боев и любовных сцен, а самое главное, не надо мучиться из-за южного акцента, — Джэсон взял сестру за руку. — Если хочешь взглянуть на декорации, пошли. А то мне через несколько минут идти работать.

У одного из рецепторов Джэсон остановился.

— Вот эта машина принимает и фиксирует все, что я думаю и чувствую. Оператор рецептора надевает на голову такую штуковину и воспринимает все, что я чувствую, крутит ручки, нажимает кнопки, усиливает слабые сигналы, ослабляет чересчур мощные, словом, регулирует качество фиксации. И отсекает все лишнее, ненужное; вот, например, я должен целовать девушку, а где-то в глубине, отдельно от этих страстных мыслей, я, может, спрашиваю себя, когда же мы наконец закрутимся и пойдем обедать. Ну-ка надень на голову этот прибор, а я попрошу Зэка включить, и ты сейчас почувствуешь, как он работает.

— Только не надо что-нибудь слишком волнующее.

— Не тревожься. Самый тихий кусочек.

На зов Джэсона явился Зэк и включил рецептор, а Джэсон со статистом прочли несколько строк.

— Это в общем довольно занято,— сказала Робайна, когда с нее сняли прибор.— Только не очень сильно. Я тебя чувствовала куда лучше без всякого прибора.

— Вы не воспринимали полностью,— объяснил Зэк.— Видите ли, мисс Роу, оператор на рецепторе все время должен быть начеку. Он не смеет отдохнуть, насладиться действием и слиться с актером, как эмозритель, заплативший деньги. Он должен работать, поддерживать волну восприятия, чтобы ощущения поступали плавно. Для этого тут есть специальная цепь — часть машины, которая вроде бы защищает мозг оператора и не дает ему увлечься эмофильмом в то время, когда он управляет рецептором и частично переживает происходящее.

— Наверное, это очень трудно,— сказала Робайна.

— Тут нужна тренировка и специальная перестройка рефлексов, но главное в другом: те, кто работает на передаче, никогда не ощущают эмофильма с такой силой, как публика в зале. Интенсивность воздействия здесь самая минимальная, чтобы продюсеры и режиссеры могли делать замечания и вносить поправки на ходу, пока идет воспроизведение. Но даже и при самой большой интенсивности работы проектора мы не можем полностью сопереживать и сливаться с героем, потому что этому препятствуют специально настроенные участки нашего мозга.

— Да, но все равно вы счастливые,— сказала Робайна.— А я считаюсь Восприимчивой, и мне ничего не разрешают смотреть, кроме старых дурацких музыкальных комедий. Я не могу даже пойти на эмофильм собственного брата, там слишком много стрельбы и всякой прочей муры.

«Просим актеров занять места. Запись начинается через пять минут».

Объявление прогудело по всей студии, и толпа статистов с продуманной торопливостью начала заполнять улицы.

— Роби, милая, тебе пора.

— О Джэй, нельзя ли мне взглянуть? Я буду сидеть тихо, как мышка.

— Не в том дело. Те, кто не участвует в эмофильме, не должны попадаться на глаза актерам во время записи. Представь себе, иду я по улице в роли Джеда Картера, и вдруг навстречу ты, в этих мужских кальсонах.

— Вовсе это не мужские кальсоны,— обиделась Робайна,— а дамские брюки.

— Мне-то это известно, а вот Джеду Картеру — нет. Он знает только одно: последняя уличная девка не рискнет показаться на людях в таком виде. Послушай-ка, иди вон туда, где вывеска: «Перворазрядный пансионат миссис Хеппл», там из окна гостиной тебе все будет видно. Я думаю, любопытных было предостаточно и в те времена. Ну, давай!

Джэсон повернулся и поспешил вдоль улицы, даже не потрудившись взглянуть вслед Робайне. Она пересекла улицу и как раз проходила мимо салуна, как вдруг откуда-то раздался громкий повелительный голос: «Девушка в зеленых брюках, уйдите из кадра». Она испугалась и в замешательстве кинулась в салун.

Джед Картер вел леди из Нешвиля по деревянному тротуару, они шли к экипажу. Его бесила ее непринужденная болтовня, насмешки над его пылкой страстью. Но тут он вдруг уловил какое-то движение на противоположной стороне улицы и просто остолбенел от удивления и негодования. Из салуна вышла девушка: бесстыдница была в мужских штанах. Негодование Джеда усилилось, когда он услышал нежный голосок утонченной леди из Нешвиля:

— Какого дьявола, кто это, черт бы ее побрал?

Еще больше поразило его, когда из салуна, сердито размахивая руками, выскочил странно одетый человек с каким-то металлическим аппаратом на голове и, отчаянно жестикулируя, бросился к девушке.

— Стоп! — скомандовал чей-то повелительный голос, и тут Джед Картер растерялся окончательно. Человек с металлическим аппаратом, подбежав к нему, сказал:

— Джэсон, прошу вас. Вам же известны правила, касающиеся посетителей на студии. Никто не должен присутствовать во время записи. Зэк говорит, что вашей сестре придется уйти.

Джед Картер видел, что горожане стоят вокруг и пялят на него глаза.

— Что здесь происходит? — спросил он странного человека. — О чем вы? И кто вы такой?

— Ох-охо! — воскликнул человек с аппаратом. — Опять началось!

Он сделал знак рукой, и к ним подбежал еще один такой же тип. Этот повел Джэсона по лестнице в вестибюль отеля, обещая все объяснить. Он усадил Джэсона в кресло.

— Джэсон, Джэсон Роу! — снова и снова настойчиво повторял он.

Спустя несколько минут в вестибюле появился Зэк.

— Джэсон!

— Привет, Зэк, — сказал Джэсон.

— Ну что, парень, вернулся в наше время? — Зэк долго, не отрываясь, смотрел на Джэсона, потом добавил с кривой улыбкой: — Боюсь, что скоро настанет час, когда тебе это не удастся...

* * *

Боб Хершэлл вышел из великолепного хрустального дворца, где помещался нью-йоркский эмотитеатр-люкс

фирмы «Все как наяву», и окинул взглядом сквер на площади перед зданием.

— Сай! Так я и думал, что ты здесь и уже ломаешь руки.

— Ни в коем случае нельзя было давать премьеру без подготовки. Надо непременно делать хоть один прогон для газетчиков. Мы бы тогда не слонялись и не пребывали в мучительной неизвестности.

— Брось тревожиться, Сай. Премьера дает критикам случай попереживать. И если уж их стошнит от «Земли» и они разругают фильм, это все равно пустяки по сравнению с колдовской властью рекламы, а наши ребята умеют накачивать публику. А Джэсон Роу вообще посильней любого критика. Благодаря ему шесть тысяч кресел там, в зале, забиты таким количеством знаменитостей, о котором только можно мечтать.

— Ох, уж этот Джэсон Роу! — Лемсон вздохнул и с мольбой возвел очи к небесам. — Он ведь чуть не загубил десятиллионный эмофильм; я сам едва не умер от разрыва сердца, когда у него разыгрался сердечный приступ.

— Смотри, Сай, в интересах нашей студии не вздумай говорить такие вещи вслух! Это неверно. Не было у него сердечного приступа! Он просто слишком правдиво играл сцену смерти. Ты же знаешь, как глубоко он вживается в роль. Это и делает его величайшим актером мира.

— Мне все равно, как это называть, — с жаром ответил Лемсон. — У парня остановилось сердце, и только благодаря бдительности Зэка помощь подоспела во время. Роу был на волоске от смерти. Я не хочу прослыть бездушным кровопийцей, Боб, но студия затратила столько денег, времени и пота, чтобы сделать этого мальчишку звездой...

— Никто не делал его звездой,— оборвал его Хершэлл,— он таким родился.

Хершэлл сказал это с такой убежденностью, что Лемсон сразу сбавил тон:

— Ладно, ладно, но согласись, это довольно сомнительное капиталовложение, если каждый раз, умирая в эмофильме, он того и гляди отдаст концы.

— Зэк надеется сконструировать прибор, который помешает повторению таких случаев. Нечто вроде контрольного монитора, инстинктивного заслона против всего, что угрожает жизни; на пленку это не повлияет.

Лемсон обеспокоенно взглянул на двери театра.

— Скоро начнут выходить,— пробормотал он.

А внутри ослепительного храма развлечений шесть тысяч Джедов Картеров умирали на склоне холма. Битва откатилась к другим холмам, и он остался наедине с пробегающим по траве ветром и летними шорохами. Боль теперь напоминала беззлобные детские слезы, и жизнь неохотно покидала его, вытекала красной струйкой. Он слышал сладостное пение какой-то птички, и от этого звука щемило сердце. Ведь столько еще осталось неслышанных песен, столько непросиявших улыбок, неразделенных ласк — целая жизнь, полная летних дней, ожидание, которому не суждено осуществиться. При этой мысли сердце его разрывалось на части.

Солнце ласкалось к нему, точно огромная золотая возлюбленная, и наполняло его неизбывной тоской по будущим ярким дням, которых ему уже не видать.

И вот наконец пришло воспоминание о ней. Сердце рвалось к ней, жаждало одной из навеки утраченных зорь, когда, проснувшись, он видел ее рядом и счастливыми глазами ласкал милое спящее лицо, точно ореолом окруженное чудом пшеничных волос, сверкавших в лучах новорожденного солнца.

Последним мучительным усилием он перевернулся на спину и открыл глаза навстречу яркому небу. И почувствовал, что она шевельнулась рядом. Рукой задела его, и трепет ее жизни отозвался в нем, точно запевшая струна. Она открыла глаза, и ее любовь улыбнулась ему. Любовь разлилась по ее лицу, и яркое, как солнце, оно заслонило все небо. Она потянулась к нему. А он вздохнул глубоким вздохом тихого счастья, ведь это она была солнцем, это она улыбалась ему, и вот он поднялся и шагнул ей навстречу.

— Скоро начнут выходить,— сказал Хершэлл.— Пошли обратно.

Они вошли в вестибюль — он был пуст, только кое-где в глубине маячили фигуры билетеров — и стали ждать.

— Почему никто не выходит? — спросил Лемсон, обращаясь скорее в пустоту, чем к своему спутнику.— По графику уже десять минут, как все кончилось.— Может быть, проекция прервалась, как ты считаешь?

— Успокойся, Сай, ты же знаешь, что такое премьера: накладки, затяжки, начинают с опозданием.

Рев сирен вдруг ввинтился в вечер и заставил обоих круто повернуться к дверям. Площадь с бешеной скоростью прочертили огни: десяток турбобилей с визгом затормозил у входа. Машины все прибывали. Здание наводнили бригады скорой помощи и наряды полиции. И сразу ринулись к лифтам, минуя медленно плывущие транспортные кабины.

— Что случилось? — завопил Лемсон.— Что тут происходит?

Он ухватил кого-то за рукав, но бегущий молча вырвался.

Хершэлл и Лемсон бросились следом, к лифту. Хершэлл громко повторил было вопрос группе полицейских, садившихся в лифт, но ближайший с озабоченным лицом грубо оттолкнул его, и дверь захлопнулась у них перед носом.

— В дирекцию! — крикнул Хершэлл, и оба помчались к директорскому лифту. Через несколько секунд они уже были в кабинете.

— Его здесь нет! — простонал Лемсон.

Хершэлл щелкнул кнопкой видефона, на экране появилось перекошенное ужасом страшное лицо.

— Мистер Хершэлл! Мистер Лемсон!

— Пит! — крикнул Хершэлл. — Зачем здесь полиция и врачи? Авария?

Тот ответил дрожащими губами:

— Многие зрители погибли, сэр.

— Что? Сколько?

— Не знаем... пока... может быть, и все, — убитым голосом сказал Пит.

— Боже мой! Но что же произошло?

— Сцена смерти... Роу убил их...

— Вы с ума сошли! — крикнул Хершэлл. — Этого не может быть! Проектор автоматически отключается, если публике угрожает смертельная опасность.

— Мы тоже так считали, — сказал Пит, — но наш врач говорил, что проектор будто бы реагирует только на резкое перевозбуждение — на учащенный пульс, подскок кровяного давления и прочее. А здесь ничего подобного не было. Людей ничто не встревожило. Не от чего было включаться ограничителю. Док сказал, что смерть была... была...

Пит отвернулся, стараясь сдержать слезы.

Хершэлл едва удержался, чтобы не крикнуть: «Что — была?»

— Была... легкой... приятной...— плечи Пита вздрагивали, рыдания заглушали слова.

— Надо... было... быть здесь... видеть это... и дети... ряд за рядом... люди... и на всех лицах улыбка...

ВЫСОКАЯ МИССИЯ

Да, если мерить человеческими мерками, корабль был совсем невелик! Это была трехгранная пирамидка из матового зеленоватого металла, который мог бы легко уместиться в любом, самом маленьком сарайчике. Да, если мерить человеческими мерками, корабль был совсем невелик. Человеческими мерками, хотя... ни одному человеку не довелось его видеть. Почти сто лет летал корабль вокруг Земли, а люди его не видели, может быть, из-за невероятной скорости, а может, из-за того, что он был слишком мал — для людей, разумеется, а не для трипитов: для них он был огромен. Больше пятидесяти трипитов насчитывалось в его экипаже; больше пятидесяти трипитов, прилетевших из туманности в созвездии Стрельца, в течение почти столетия кружили и кружили вокруг Земли — и наблюдали, наблюдали...

Девять трипитов — все руководство экспедиции, организованной для насаждения трипитской культуры на других планетах, — опять собрались в конференц-зале корабля и возобновили нескончаемые споры.

Отсталость существ, населяющих эту планету, без сомнения, объясняется их размерами. Они слишком велики, слишком неповоротливы...

— Но, дорогой Трулоп, дело совсем не в этом!

— То есть как не в этом? Такие грубые и неуклюжие существа лишь с трудом могли бы достигнуть...

— Простите, что я вас прерываю, но исходя из всех наших данных, полученных в результате наблюдений, ясно, почему культура этих достойных сожаления существ не смогла сколько-нибудь развиваться. Все это произошло из-за хватательных придатков, так называемых «пальцев». Только из-за этого они и отстали! Эти уродливые создания обладают двумя верхними конечностями, каждая из которых оканчивается пятью хватательными придатками; таким образом, их всего десять. Они и есть злой рок, который неизбежно обрек эту планету на культурный застой. Дело в том, что на заре цивилизации существа эти при счете прибегали к помощи пальцев. И с течением времени это привело к тому, что свою математику и всю культуру они построили на абсурдной метрической системе, в основе которой лежит число десять.

Все присутствующие одобрительно засвистели, и их усики завибрировали. Тропенс, самый почтенный из всего руководящего состава, продолжал:

— Таковы факты. Подобным же образом начинали и мы. Мы тоже использовали для подсчетов свои хватательные придатки, но так как природа, к нашему счастью, одарила нас всего лишь одним верхним щупальцем, оканчивающимся тремя присосками, мы положили в основу нашей системы счисления число три.

Некоторые из собравшихся задумчиво посмотрели на свои круглые, влажные фиолетовые присоски, неоспоримо свидетельствовавшие об особой чувствительности и артистизме их обладателей.

— В результате,— продолжал телепатическую передачу Тропенс,— число три стало основой нашей математики, нашей архитектуры, нашего эстетического чувства. Какие окна и двери у наших домов? Треугольные! Сколько колес у машин, на которых мы ездим? Три! Какой формы наши космические корабли? Треугольной!

И обратимся, наконец, к нашему собственному телу, этому эстетическому совершенству. Сколько у нас голов? Три — одна мыслящая, вторая смотрящая и третья обоняющая. Сколько полов у каждого из нас? Три! Сколько у нас хрящевых пружин, на которых мы скачем? Три! Всегда и везде — три. Поэтому, коллеги, если мы хотим цивилизовать эту отсталую планету, мы должны передать ее жителям свойственное нам чувство троичности.

Тропенс вернулся в горизонтальное положение, в то время как каждый из присутствующих энергичным постукиванием трех своих голов одна о другую выразил одобрение сказанному. И они перешли к обсуждению того, как наилучшим образом распространить среди людей троичную систему. Трупси, специалист по психологии нетрипитов, так сформулировал свою точку зрения:

— Разумеется, мы не сможем проводить кампанию по насаждению троичности лично и непосредственно. В свое время все мы сошлись на том, что людям не следует видеть нас и даже знать о нашем существовании, поскольку уровень их культуры и то зачаточное эстетическое чувство, которым они обладают, недостаточны для восприятия красоты наших форм.

— А кроме того,— прервал его другой участник заседания,— спускаться на поверхность планеты опасно. Вспомните хотя бы нашего бедного Трисина, мистика, который намеревался обратить землян в нашу веру и умер в пасти одного из чудовищ, которых земляне называют «кошками».

— Да, это так,— согласился Тропенс, и его мыслящая голова издала печальное позвякиванье.

— Что ж, придется рискнуть! — решительно сказал психолог.

— Один из нас должен спуститься!

— И показаться землянам? — испуганно спросил

молодой член руководства, в страхе закрыв все свои три зрительные призмы.

— Нет! — ответил Трупси. — Кто-то должен будет спуститься на планету, незаметно проникнуть в одно из сооружений, которые служат землянам жилищами, а уж там...

— Что — там?.. — присутствующие с нетерпением ждали, что он скажет дальше.

— ...Там телепатически внушить молодой, еще не сложившейся человеческой особи основы троичности. Вы понимаете? Таким образом, землян выведет из состояния отсталости их собственный сородич, которому вовсе не обязательно знать о нашем существовании. Новую систему внедрит человек, счастливец, который благодаря нам приобретет известность, а потом славу, так никогда и не узнав, что идея, совершившая переворот в жизни людей, принадлежит не ему, а нам!

И вот однажды ночью трехгранный корабль остановился над одной из самых больших столиц планеты. Высокая миссия была возложена на молодого и отважного трипита Триля. Под покровом темноты он соскользнул с корабля на одну из городских улиц и начал поиски. Он обходил дом за домом в поисках подходящей кандидатуры — и наконец нашел. В мансарде трехэтажного дома спала молодая особь мужского пола; ей было около шестнадцати земных лет. Она отличалась завидной силой, насколько можно было судить по развитой мускулатуре, и где-то училась, о чем свидетельствовали груды книг на письменном столе.

«Прекрасно, — подумал Триль. — Вот нужный мне объект».

И он надолго обосновался в жилище молодого землянина. Днем он скрывался в футляре старых стальных

часов, а ночью, когда юноша спал, Триль покидал свое убежище и принимался за работу. Ночь за ночью, устроившись на подушке рядом с головой молодого землянина, трипит телепатически передавал:

Раз, два, три! Раз, два, три! Раз, два, три!
Одно, одно запомни ты:
Коль хочешь в жизни преуспеть,
Ты должен эту песню петь!
Царить ты будешь над толпой
С моею песенкой простой,
Одно, одно запомни ты:
Раз, два, три! Раз, два, три! Раз, два, три!

Прошла одна неделя, за ней другая, а Триль все тянул свою телепатическую песенку:

Ты должен помнить день и ночь,
Гони иные думы прочь,
До самой утренней зари
Пой эту песню: раз, два, три!

Прошел месяц, за ним другой, а неутомимый Триль повторял:

Царить ты будешь над толпой
С моею песенкой простой,
Одно, одно запомни ты:
Раз, два, три! Раз, два, три! Раз, два, три!

Прошел год, за ним другой, а Триль все внушал и внушал:

Прими сейчас, прими сейчас
Телепатический наказ!
До самой утренней зари
Пой эту песню: раз, два, три!

И в конце концов Триль добился своего. В одно прекрасное утро молодая особь проснулась, и ее мозг пронизала мысль, новая и в то же время гениально простая: «Раз, два, три».

«Изумительно! — сказал он себе. — Подумать только: раз, два, три! Раз, два, три!» — и чем больше он об этом думал, тем больше распалялось его воображение.

— Раз, два, три — да это перевернет весь мир! Раз, два, три! Ага... так, так, так! Это станет моим боевым кличем, целью и оправданием всей моей жизни! Раз, два, три! Да это важнее, чем изобретение колеса или парового двигателя! И как просто! Да! Я посвящу этому всю свою жизнь!

Так он и сделал.

Прошло несколько десятков земных лет, и трипиты решили, что настало время подобрать своего товарища и выяснить, какие плоды принес хитроумный план специалиста по психологии нетрипитов.

Оказавшись вновь на борту корабля, Триль сообщил руководителям о результатах своей миссии:

— Неудача, полнейшая неудача! Земляне безумны, все до единого.

— Но все же тебе удалось телепатически внушить землянину нашу троичную систему — да или нет? — встревоженно спросил маститый Тропенс.

— Ну, разумеется, да! — ответил Триль. — Все шло по плану: я приобщил землянина к нашей системе, землянин вырос, в один прекрасный день в его сознании всплыла внушенная мною мысль, и...

— И?..

— И он стал распространять ее по всему миру.

— И потерпел неудачу?

— Нет! Одержал полную победу. Идею с энтузиазмом подхватили, а сам он, как мы и предсказывали, завоевал мировую славу.

— Но почему же ты говоришь, что наш план потерпел неудачу?

— Увы, но это так,— сокрушенно отозвался Триль.— Дело в том, что земляне безумны. Молодая особь, с которой я работал, действительно добилась того, что наша система распространилась по планете, но...

— Что — но?..

— Но земляне не использовали ее для обновления архитектуры, для создания новой математики или вообще для чего-нибудь дельного.

— А для чего же тогда они ее использовали?

— Идите и посмотрите сами.

Триль проследовал в ту часть корабля, где были установлены экраны наблюдения, и, начав манипулировать регуляторами, нашел, наконец, изображение, которое искал.

— Видите. Вот моя молодая особь — правда, по земным представлениям, теперь уже не очень молодая, потому что с тех пор, как я спустился на поверхность планеты, прошло несколько десятков земных лет.

Трипиты увидели на экране огромную площадь и толпы землян на ней; дальше, в глубине, виднелось огромное здание. Триль повернул какой-то регулятор, и на экране крупным планом появились некоторые детали.

— Видите? Вон там, высоко, на том месте, которое земляне называют «балконом», стоит моя молодая особь.

— А другой, рядом, со светлой растительностью на лице — это кто?

— Это обладатель верховной власти в стране. Видите, оба отвечают толпе, которая их приветствует,

Триль повернул регулятор, и трипиты снова увидели всю площадь целиком.

— Как интересно! Смотрите, они становятся в пары!

— Да, причем с особями другого пола!

— Что они собираются делать? Спариваться?..

— Да нет же! — возмущенно отозвался Триль. — Они начнут сейчас практически применять нашу систему. Единственное применение, до которого они додумались! Смотрите, смотрите, как моя особь передает им жестами то, что я ей внушил! Раз, два, три, раз, два, три! Так обстоят дела, коллеги. Любые попытки цивилизовать это племя умственно неполноценных обречены на провал. Смотрите, вот они начали кружиться!.. Они безумны, поверьте мне. Они неизлечимы!

Повесив головы, которых было втрое больше, чем их самих, трипиты решили, что следует покинуть эту нелепую планету.

А между тем в столице одной из самых больших земных империй на площади перед дворцом собралась огромная толпа. Она рассыпалась на сотни пар, которые кружились и кружились...

Стоя на одном из балконов дворца, его императорское величество улыбалось. Его улыбка была словно взята в скобки густыми бакенбардами. А рядом с ним при виде триумфа, выпавшего на долю его любимой идеи, плакал от радости подопечный Триля, превратившийся теперь в благообразного старца, которого почитало и чествовало все человечество.

— Так, так! — шептал старик, и его руки двигались с живостью, несоответствовавшей годам. — Раз, два, три! Раз, два, три!.. Больше жизни!.. Сильнее!.. Так... так! Раз, два, три, раз, два, три! Так, так! Прекрасно!..

Никогда еще Вена так не веселилась, никогда вальсы не танцевали так хорошо, и большой императорский ор-

кестр никогда не играл с бóльшим блеском, чем тогда, когда им дирижировал Иоганн Штраус. И быть может, потому, что люди кружились и кружились, счастливые, веселые, опьяненные вальсом, никто из них не обратил внимания на крохотный солнечный зайчик,— его отбросил на землю маленький трехгранный корабль перед тем, как затеряться в пространстве.

Все называют это Центром. Есть и другое, длинное название. Оно попадает в официальных документах, его можно найти в энциклопедии — но к нему никто не прибегает. От Бомбея до Лимы все знают просто Центр. Вы можете вынырнуть из клубящихся туманов Венеры, протолкаться к стойке и начать: «Когда я был в Центре...» — и каждый внимательно прислушается. Можете упомянуть о Центре где-нибудь в Лондоне, или в марсианской пустыне, или на одинокой станции на Плутоне — и вас наверняка поймут.

Никто никогда не объясняет, что такое Центр. Это невозможно, да и не нужно. Все, от грудного младенца и до столетнего старика, заканчивающего свой жизненный путь, — все побывали там и собираются поехать снова через год и еще через год. Это страна отпусков и каникул для всей Солнечной системы. Это многие квадратные мили холмов американского Среднего Востока, преобразованные ценой искусной планировки, неустанного труда и невероятных расходов. Это памятник культурных достижений человечества. Возник он внезапно, необъяснимо, словно феникс, в конце двадцать четвертого столетия из пепла позорно загнившей культуры.

Центр грандиозен, эффектен и великолепен. Он вдохновляет, учит и поражает. Он внушает благоговение, он подавляет, он... все, что угодно.

И хотя лишь немногие из посетителей знают об этом или придают этому значение — в нем обитает привидение.

Вы стоите на обзорной площадке исполинского памятника Баху. Налево, вдаль, на склоне холма, вы видите взволнованных зрителей, заполнивших Греческий театр,— там дают комедию Аристофана. Солнечный свет играет на их ярких разноцветных одеждах. Они поглощены представлением, счастливые очевидцы того, что миллионы смотрят только по видеоскопу.

За театром, мимо памятника Данте и института Микельанджело, уходит вдаль обсаженный деревьями бульвар Фрэнка Ллойда Райта. Две башни — точь-в-точь как у Реймского собора — возвышаются на горизонте. Перед ними вы видите затейливый ландшафт французского парка XVIII века, а рядом — Мольеровский театр.

Чьи-то пальцы вцепляются в ваш рукав, вы раздраженно оборачиваетесь — и перед вами предстает какой-то старик. Его лицо все в шрамах и морщинах, на голове — остатки седых волос. Скрюченная рука напоминает клешни. Вглядевшись, вы видите кривое, искаленное плечо, уродливый шрам на месте уха — и испуганно пятитесь.

Взгляд запавших глаз следует за вами. Рука простирается в величавом жесте, который охватывает все вокруг до самого горизонта, и вы замечаете, что некоторых пальцев вообще нет, а остальные изуродованы. Раздается хриплый голос:

— Нравится? — спрашивает он и выжидающе смотрит на вас.

Вздвогнув, вы говорите:

— Да, конечно.

Он делает шаг вперед, и в глазах его светится нетерпеливая мольба:

— Послушайте, вам здесь нравится?

В замешательстве вы можете только торопливо кивнуть, спеша уйти. Но ваш кивок вызывает странную ре-

акцию. Неожиданно появляется детская радостная улыбка, звучит скрипучий смех и торжествующий голос:

— Это сделал я! Я все это сделал!

Или стоите вы на великолепном проспекте Платона между Вагнеровским театром, где ежедневно без антрактов исполняют целиком «Кольцо Нибелунгов», и копией театра XVI века «Глобус», где утром, днем и вечером идут шекспировские драмы.

В вас вцепляется рука:

— Нравится?

Если вы раздражаетесь восторженными похвалами, старик нетерпеливо смотрит на вас и, едва дождавшись, когда вы кончите, снова спрашивает:

— Скажите, а вам здесь нравится?

И когда вы, улыбаясь, киваете головой, старик, сияя от гордости, делает величавый жест и кричит:

— Это сделал я!

В коридоре любого из тысячи обширных отелей, в читальном зале замечательной библиотеки, где вам по вашему требованию бесплатно сделают копию любой книги, на одиннадцатом ярусе зала Бетховена — везде к вам, прихрамывая и волоча ноги, подходит привидение, вцепляется вам в руку и задает все тот же вопрос. А потом с гордостью восклицает:

— Это сделал я!

Эрлин Бак почувствовал за спиной ее присутствие, но не обернулся. Он наклонился вперед, его левая рука рвала из мультикорда рокоchущий басовый аккомпанемент, а правая вела торжественную мелодию. Молниеносным движением он дотронулся до какой-то кнопки, и высокие дискантовые ноты внезапно стали глубокими, сочными, зазвучали почти как кларнет. («Но, господи, совсем другое дело — кларнет!» — подумал он.)

— Опять начинается, Вэл? — спросил он.

— Утром приходил хозяин.

Эрлин поколебался, тронул клавишу, потом еще несколько клавиш, и гулкие звуки сплелись в причудливую гармонию духового оркестра. (Но какой слабый, хилый оркестр!)

— Какой же срок он дает на этот раз?

— Два дня. И синтезатор пищи опять сломался.

— Вот и хорошо. Сбегай, купи свежего мяса.

— На что?

Он стукнул кулаком по клавиатуре и закричал, перекрывая резкий диссонанс:

— Не буду я пользоваться гармонизатором! Не дам я поденщикам себя аранжировать! Если коммерс выходит под моим именем, он должен быть сочинен. Он может быть идиотским, тошнотворным, но он будет сделан по всем правилам. Видит бог, это немного, но это все, что у меня осталось!

Он медленно повернулся и посмотрел на нее — бледную, увядающую, измученную женщину, которая вот уже двадцать пять лет его жена. Затем снова отвернулся, упрямо твердя про себя, что виноват не больше, чем она. Раз заказчики реклам платят за хорошие коммерсы столько же, сколько за поденщину...

— Халси придет сегодня? — спросила она.

— Сказал, что придет.

— Достать бы денег — заплатить за квартиру...

— И за синтезатор пищи. И за новый видеоскоп. И за новую одежду. Есть же предел тому, что можно купить на один проданный коммерс!

Он слышал, как она уходит, как открывается дверь, и ждал. Дверь не затворялась.

— Уолтер-Уолтер звонил, — сказала она. — Сегодняшнее ревю он посвящает тебе.

— Ах, вот как? Но ведь это бесплатно.

— Я так и думала, что ты не захочешь смотреть, поэтому договорилась с миссис Ренник. Пойду с ней.

— Конечно. Ступай, развлекись.

Дверь затворилась.

Бак поднялся и поглядел на рабочий стол. Там в хаотическом беспорядке валялись нотная бумага, тексты коммерсов, карандаши, наброски, неоконченные рукописи. Неопрятные кипы угрожали сползти на пол. Бак расчистил уголок и устало присел, вытянув под столом длинные ноги.

— Проклятый Халси,— пробормотал он.— Проклятые заказчики. Проклятые видеоскопы. Проклятые коммерсы.

Ну, напиши же что-нибудь. Ты ведь не поденщик, как другие музыкоделы. Ты не штампуешь свои мелодии на клавиатуре гармонизатора, чтобы вместо тебя их гармонизировала машина. Ты же музыкант, а не торговец мелодиями. Напиши музыку. Напиши — ну хотя бы сонату для мультикорда. Выбери время и напиши.

Взгляд его упал на первые строчки текста к коммерсу: «Если флаер барахлит, если прямо не летит...».

— Проклятый хозяин,— пробормотал он, протягивая руку за карандашом.

Прозвонили крошечные стенные часы, и Бак наклонился включить видеоскоп. Ему заискивающе улыбнулось ангельское лицо церемонимейстера.

— Леди и джентльмены, перед вами снова Уолтер-Уолтер! Сегодняшнее обозрение посвящено коммерсам одного из самых талантливых современных музыкоделов. Сегодня в центре нашего внимания...

Резко прозвучали фанфары — поддельная медь мультикорда.

— ...Эрлин Бак!

Мультикорд заиграл причудливую хмельную мело-

дию, которую Бак написал пять лет назад для рекламы тэмперского сыра. Раздались аплодисменты. Гнусавое сопрано запело, и несчастный Бак застонал про себя. «Самый выдержанный сыр — сыр, сыр, сыр. Старый выдержанный сыр — сыр, сыр, сыр».

Уолтер-Уолтер носился по сцене, двигаясь в такт мелодии, сиял при каждом взрыве хохота и то и дело спускался в зал — поцеловать какую-нибудь почтенную домохозяйку, пришедшую сюда отдохнуть.

Снова прозвучали фанфары мультикорда, и Уолтер-Уолтер, прыгнув обратно на сцену, высоко поднял обе руки.

— Слушайте, дорогие зрители! Очередная сенсация вашего Уолтера-Уолтера — Эрлин Бак!

Он таинственно оглянулся через плечо, на цыпочках сделал несколько шагов вперед, приложил палец к губам и громко сказал:

— Давным-давно жил-был еще один композитор, и звали его почти так же — Бах. Если верить знатокам, это был настоящий музыкодел с атомным реактором внутри, парень с изюминкой. Жил он что-то не то четыре, не то пять, не то шесть столетий назад, но есть все основания предполагать, что Бах и Бак ходили бы в наше время бок о бок. Мы не знаем, каков был Бах, но нас вполне устраивает Бак. Вы согласны со мной?

Возгласы. Аплодисменты. Бак отвернулся, руки его дрожали, отвращение душило его.

— Мы начинаем концерт Бака с маленького шедевра, который Бак создал для пенистого мыла. Оформление Брюса Комбза. Смотрите и слушайте!

Бак успел выключить видеоскоп как раз в тот момент, когда через экран пролетела первая порция мыла. Он снова взялся за текст коммерса, и в его голове начала виться ниточка мелодии: «Если флаер барахлит, если

прямо не летит — не летит, не летит, — вы нуждаетесь в услугах фирмы Вэйринг!»

Тихонько мыча про себя, он набрасывал ноты, которые то взбегали по линейкам, то устремлялись вниз, как неисправный флаер. Это называлось музыкой слов в те времена, когда слова и музыка что-то значили, когда не Бак, а Бах искал музыкальное воплощение для таких грандиозных понятий, как рай и ад.

Бак работал медленно, время от времени проверяя звучание мелодии на мультикорде, отбрасывая целые пассажи, напряженно пытаясь найти грохочущий аккомпанемент, который подражал бы звуку флаера. Но нет: фирме Вэйринг это не понравится. Ведь она широко разрекламировала, что ее флаеры бесшумны.

Вдруг он понял, что дверной звонок уже давно нетерпеливо звонит. Он щелкнул тумблером, и ему улыбнулось пухлое лицо Халси.

— Поднимайся! — сказал ему Бак. Халси кивнул и исчез.

Через пять минут он, переваливаясь, вошел, опустил-ся на стул, который осел под его массивным телом, бросил свой чемоданчик на пол и вытер лицо.

— У-ф-ф! Хотел бы я, чтоб вы перебрались пониже или хоть в современный дом с удобствами. До смерти боюсь лифтов.

— Я собираюсь переехать, — сказал Бак.

— Прекрасно. Самое время.

— Но, возможно, заберусь куда-нибудь еще повыше. Хозяин дал мне двухдневный срок.

Халси поморщился и печально покачал головой.

— Понятно. Ну что ж, не буду тебя томить. Вот чек за коммерс о мыле Сана-Соуп.

Бак взял чек, взглянул на него и нахмурился.

— Ты не платил взносов в союз,— сказал Халси.— Пришлось, знаешь ли, удержать...

— Да. Я и забыл.

— Люблю иметь дело с Сана-Соуп. Сейчас же получаешь деньги. Многие фирмы ждут конца месяца. В Сана-Соуп ожидаются кое-какие перемены, однако они уплатили.

Он щелкнул замком чемоданчика и вытащил оттуда папку.

— Здесь у тебя есть несколько хороших трюков, Эрлин, мой мальчик. Им это понравилось. Особенно вот это, в басовой партии: «Пенье пены, пенье пены». Сначала они возражали против количества певцов, но только до прослушивания. А вот здесь им нужна пауза для объявления.

Бак посмотрел и кивнул.

— А что, если оставить это остигато — «пенье пены, пенье пены» — как фон к объявлению?

— Прозвучит недурно. Это здорово придумано. Как бишь ты это назвал?

— Остигато.

— А-а, да. Не понимаю, почему другие музыкоделы этого не умеют.

— Гармонизатор не дает таких эффектов,— сухо сказал Бак.— Он только гармонизирует.

— Дай им секунд тридцать этого «пенья пены» в виде фона. Пусть вырежут, если им не понравится.

Бак кивнул и сделал пометку на рукописи.

— Да, еще аранжировка,— продолжал Халси.— Очень жаль, Эрлин, но некому играть на валторне. Придется заменить эту партию.

— Некому играть? А Рэнкин чем плох?

— В черном списке. Союз исполнителей занес его в черный список. Он отправился гастролировать на Запад-

ный берег. Выступал бесплатно, даже расходы сам оплатил. Вот его и занесли в список.

— Припоминаю,— задумчиво протянул Бак.— Общество памятников искусства. Он сыграл концерт Моцарта для валторны. Для общества это был тоже последний концерт. Хотел бы я услышать хотя бы на мультикорде...

— Теперь-то он может играть сколько угодно, но ему никогда больше не заплатят за исполнение. Так вот — переработай эту партию валторны для мультикорда, а то я достану для тебя трубача. Он мог бы играть с преобразователем.

— Тогда весь эффект будет испорчен.

Халси усмехнулся.

— Звучит совершенно одинаково для всех, кроме тебя, мой мальчик. Даже я не вижу разницы. У нас есть скрипка и виолончель. Чего тебе еще нужно?

— Ведь в лондонском союзе есть человек, умеющий играть на валторне?

— Ты хочешь, чтоб я притащил его сюда для одного трехминутного коммерса? Будь благоразумен, Эрлин! Можно зайти за этим завтра?

— Да. Утром будет готово.

Халси потянулся за чемоданчиком, снова бросил его и подался к собеседнику.

— Эрлин, я о тебе беспокоюсь. В моем агентстве двадцать семь музыкоделов, и ты зарабатываешь меньше всех! За прошлый год ты получил 2200. А остальные — никто меньше 11 000 не заработал.

— Это для меня не новость,— сказал Бак.

— Вполне возможно. У тебя не меньше заказчиков, чем у любого другого. Ты это знаешь?

— Нет,— сказал Бак.— Нет, этого я не знал.

— А ведь так оно и есть. Но денег ты не зарабатываешь. Хочешь знать, почему? По двум причинам. Ты

тратишь слишком много времени на каждый коммерс и пишешь их слишком хорошо. Заказчики могут пускать один твой коммерс несколько месяцев подряд, иногда даже несколько лет, как тот, о тэмперском сыре. Их слушают с удовольствием. А если бы ты не писал так дьявольски хорошо, ты мог бы работать быстрее, заказчикам приходилось бы брать больше твоих коммерсов, и ты больше заработал бы.

— Я об этом думал. А если бы и не думал, то Вэл бы все равно мне напоминала. Но бесполезно. Иначе я не могу. Вот если бы как-нибудь заставить заказчика платить за хороший коммерс больше...

— Невозможно! Союз не поддержит, потому что хорошие коммерсы означают меньше работы, да большинство музыкоделов и не смогут написать действительно хороший коммерс. Не думай, что я беспокоюсь о своем агентстве. Конечно, и мне выгоднее, когда ты больше зарабатываешь, но у меня хватает других музыкоделов. Просто неприятно, что мой лучший работник получает так мало. Ты какой-то отсталый, Эрлин. Тратишь время и деньги на собирание этих древностей — как бишь их называют?

— Грампластинки.

— Да. И эти заплесневелые старые книги о музыке. Я не сомневаюсь, что ты знаешь о музыке больше, чем кто угодно, но что это тебе дает? Уж конечно, не деньги. Ты и так самый хороший и стараешься стать еще лучше, но чем лучше ты становишься, тем меньше зарабатываешь. Твой доход падает с каждым годом. Не мог бы ты время от времени становиться посредственностью?

— Нет,— сказал Бак.— У меня не получится.

— А ты подумай хорошенько.

— Да, так вот насчет заказчиков. Некоторым из них действительно нравится моя работа. Они платили бы

больше, если бы союз разрешил. А если мне выйти из союза?

— Нельзя, мой мальчик. Я бы не смог брать твои вещи — во всяком случае, я бы скоро остался не у дел. Союз музыкоделов нажал бы, где надо, а союзы исполнителей и текстовиков внесли бы тебя в черный список. Джемс Дентон заодно с союзами, и он снял бы твои вещи с видеоскопа. Ты в два счета лишился бы всех заказов. Ни одному заказчику не под силу бороться с такими осложнениями, да никто и не захочет ввязываться. Так что постарайся время от времени быть посредственностью. Подумай об этом.

Бак сидел, уставившись в пол.

— Подумаю.

Халси с трудом встал, обменялся с Баком коротким рукопожатием и проковылял к двери. Бак медленно поднялся и открыл ящик стола, где хранилась жалкая коллекция старинных пластинок. Странная и удивительная музыка...

Трижды за всю свою жизнь Бак писал коммерсы, которые звучали по полчаса. Изредка у него бывали заказы на пятнадцать минут. Но обычно он был ограничен пятью минутами или и того меньше. А ведь композиторы вроде этого Баха писали вещи, которые исполнялись по часу или больше, — и писали даже без текста!

Они сочиняли для настоящих инструментов, даже для некоторых необычно звучащих инструментов, на которых никто уже больше не играет, вроде фаготов, пикколо, роялей.

«Проклятый Дентон! Проклятый видеоскоп! Проклятые союзы!»

Бак с нежностью перебирал пластинки, пока не нашел одну с именем Баха. Магнификат. Потом отложил

ее — у него было слишком подавленное настроение, чтобы слушать.

Шесть месяцев назад Союз исполнителей занес в черный список последнего гобоиста. Теперь — последнего из валторнистов, а ведь среди молодежи никто больше не учится играть на музыкальных инструментах. Зачем, когда есть столько чудесных машин, воспроизводящих коммерсы без малейшего усилия? Даже мультикордистов стало совсем мало, а мультикорд мог при желании работать автоматически.

Бак стоял, растерянно оглядывая всю комнату, от мультикорда до рабочего стола и потрепанного шкафа из пластика, где лежали его старинные книги по музыке. Дверь распахнулась, поспешно вошла Вэл.

— Халси был?

Бак вручил ей чек. Она взяла его, с нетерпением взглянула и в ужасе подняла глаза.

— Мои взносы в союз, — пояснил он. — Я задолжал.

— А-а. Ну, все-таки это хоть что-то.

Ее голос был вял, невыразителен, как будто еще одно разочарование не имело значения. Они стояли, неловко глядя друг на друга.

— Я смотрела передачу, которую ведет Мэриголд, — «Утро с Мэриголд», — сказала Вэл. — Она говорила о твоих коммерсах.

— Скоро должен быть ответ насчет того коммерса о табаке Сло, — сказал Бак. — Может быть, мы уговорим хозяина подождать еще неделю. А сейчас я пойду подышу свежим воздухом.

— Тебе бы надо больше гулять...

Он закрыл за собой дверь, старательно обрезав конец ее фразы. Он знал, что будет дальше. Найди где-нибудь работу. Заботься о своем здоровье и ежедневно проводи на улице несколько часов. Пиши коммерсы в

свободное время — ведь они не приносят больших доходов. Хотя бы до тех пор, пока мы не встанем на ноги. А если ты не желаешь, я сама пойду работать.

Но дальше слов она не шла. Работодателю достаточно было бросить один взгляд на ее тщедушное тело и усталое угрюмое лицо. И Бак сомневался, что с ним обошлись бы лучше.

Он мог бы работать мультикордистом и прилично зарабатывать. Но тогда придется вступить в Союз исполнителей, а значит, выйти из Союза музыкоделов. Если он это сделает, ему нельзя будет писать коммерсы.

Проклятые коммерсы!

Выйдя на улицу, он с минуту постоял, наблюдая за толпами на стремительно движущихся пешеходных дорожках. Кое-кто бросал беглый взгляд на этого высокого, нескладного, лысеющего человека в потертом, плохо сидящем костюме. Бак втянул голову в плечи и неуклюже зашагал по неподвижной обочине. Он знал, что его всегда принимают за обыкновенного бродягу и что все поспешно отводят от него взгляд, мурлыча про себя отрывки из его коммерсов.

Он завернул в переполненный ресторан, выбрал столик у стены и заказал пива. На задней стене был огромный экран видеоскопа, где коммерсы следовали один за другим без перерыва. Некоторое время Бак прислушивался к ним — сначала ему было интересно, что сочиняют другие музыкоделы, потом его охватило отвращение.

Вокруг посетители смотрели и слушали, не отрываясь от еды. Некоторые судорожно кивали головами в такт музыке. Несколько молодых пар танцевали на маленькой площадке, умело меняя темп, когда кончался один коммерс и начинался другой.

Бак грустно наблюдал за ними и думал о том, как все переменялось. Когда-то, он знал, была специальная музыка для танцев и специальные инструменты для ее исполнения. И люди тысячами ходили на концерты, сидели в креслах и смотрели только на исполнителей.

Все это исчезло. Не только музыка, но и искусство, литература, поэзия. Пьесы, которые он читал в школьных учебниках своего деда, давно забыты.

«Международный видеоскоп» Джемса Дентона решил, что люди должны одновременно смотреть и слушать. «Международный видеоскоп» Джемса Дентона решил, что при этом публика не может выдержать длинной программы. И появились коммерсы.

Проклятые коммерсы!

Час спустя, когда Вэл вернулась домой, Бак сидел в углу. Он разглядывал потрепанные книги, которые собирал еще тогда, когда их печатали на бумаге,— разрозненные биографии, книги по истории музыки, по теории музыки и композиции. Вэл дважды обвела взглядом комнату, прежде чем заметила мужа, потом подошла к нему с тревожным, трагическим выражением лица.

— Сейчас придут чинить синтезатор пищи.

— Хорошо,— сказал Бак.

— Но хозяин не хочет ждать. Если мы не заплатим ему послезавтра, не заплатим всего, нас выселят.

— Ну, выселят.

— Куда же мы денемся? Ведь нигде нельзя устроиться, не заплатив вперед!

— Значит, мы нигде не устроимся.

Она с рыданием убежала в спальню.

На следующее утро Бак подал заявление о выходе из Союза музыкоделов и вступил в Союз исполнителей. Круглое лицо Халси печально вытянулось, когда он уз-

нал эту новость. Он дал Баку взаймы, чтобы уплатить вступительный взнос в союз и успокоить хозяина квартиры, и цветистым слогом выразил сожаление по этому поводу, спешно выпроваживая Бака из своего кабинета. Бак знал, что Халси, не теряя времени, передаст его клиентов другим музыкоделам — людям, которые работают быстрее, но хуже. Бак отправился в Союз исполнителей, где просидел пять часов, ожидая направления на работу. Наконец его провели в кабинет, где секретарь окинул вошедшего подозрительным взглядом и небрежно указал на кресло.

— Вы состояли в исполнительском союзе двадцать лет назад и вышли из него, чтобы стать музыкоделом. Верно?

— Верно,— сказал Бак.

— Через три года вы потеряли стаж. Вы это знаете, не так ли?

— Нет, но вряд ли это так уж важно. Ведь хороших мультикордистов совсем немного.

— Хорошей работы тоже совсем немного. Придется вам начать все сначала,— он черкнул что-то на листке бумаги и протянул его Баку.— Этот платит хорошо, но с людьми не уживается. У Лэнки не так-то просто работать. Посмотрим, может быть, вы не будете слишком раздражать его...

Бак снова оказался за дверью и стоял, пристально разглядывая листок.

С помощью движущегося тротуара он добрался до космопорта Нью-Джерси, поплутал немного в старых трущобах, с трудом находя дорогу, и наконец обнаружил нужный дом почти рядом с зоной радиации космопорта. На полуразвалившемся здании остались следы давнего пожара. Под обветшалыми стенами сквозь осыпавшуюся штукатурку пробивались сорняки. Дорожка

с улицы упиралась в тускло освещенный проем в углу здания. Кривые ступеньки вели вниз. Над головой яркими огнями светила огромная вывеска, обращенная в сторону порта: «ЛЭНКИ».

Бак спустился, вошел — и замер: на него обрушились неземные запахи. Лавандовый дым венерианского табака висел, как тонкое одеяло, между полом и потолком. Едкие тошнотворные испарения марсианского виски заставили Бака отшатнуться. Бак едва успел заметить, что здесь собрались загулявшие звездолетчики с проститутками, как перед ним выросла массивная фигура швейцара с карикатурным лицом, изборожденным шрамами.

— Вам кто нужен?

— Мистер Лэнки.

Швейцар ткнул большим пальцем в сторону стойки и шумно отступил обратно в тень. Бак двинулся вперед.

Он легко нашел Лэнки. Хозяин сидел на высоком табурете позади стойки и, наклонив лысую голову, холодно смотрел на подходившего Бака. Его бледное угрюмое лицо в полутьме и дыму казалось призрачным. Он облокотился на стойку двумя уцелевшими пальцами волосатой руки, потрогал расплюснутый нос и уставился на Бака налитыми кровью глазами.

— Я Эрлин Бак,— сказал Бак.

— А-а. Мультикордист. Сможешь играть на этом мультикорде, парень?

— Конечно, я же умею играть.

— Все так говорят. А у меня, может быть, только двое за последние пять лет действительно умели. Большой частью приходят сюда и воображают, что поставят эту штуку на автоматический режим, а сами будут тыкать одним пальцем в клавиши. Я хочу, чтобы на этом мультикорде играли, парень, и прямо скажу — если не умеешь играть, лучше сразу отправляйся домой, пото-

му что в этом мультикорде нет автоматики. Я ее выломал.

— Я умею играть,— повторил Бак.

— Хорошо, это скоро выяснится. Союз расценивает это место по четвертому классу, но я буду платить по первому, если ты умеешь играть. Если ты действительно умеешь играть, я подброшу тебе прибавку, о которой союз не узнает. Работать с шести вечера до шести утра, но у тебя будет много перерывов, а если захочешь есть или пить — заказывай все что душе угодно. Только не налегай на горячительное. Пьяница-мультикордист мне не нужен, как бы он ни был хорош. Роза!

Он рывкнул еще раз, и из боковой двери вышла женщина в выцветшем халате, ее спутанные волосы неопытными лохмами свисали на плечи. Повернув к Баку смазливое личико, она вызывающе оглядела его.

— Мультикорд,— сказал Лэнки.— Покажи ему.

Роза поманила его, и Бак последовал за ней в глубину зала. Вдруг он остановился в изумлении.

— В чем дело? — спросила Роза.

— Здесь нет видеоскопа!

— Конечно! Лэнки говорит, что звездолетчики хотят смотреть на что-нибудь поинтересней, чем мыльная пена и аэромобили,— она хихикнула.— На что-нибудь вроде меня, например.

— Никогда не слышал о ресторанах без видеоскопа.

— Я тоже, пока не поступила сюда. Зато Лэнки держит нас троих, чтобы петь коммерсы, а вы будете нам аккомпанировать на мультикорде. Надеюсь, вы справитесь. У нас неделю не было мультикордиста, а без него трудно петь.

— Справлюсь,— сказал Бак.

Узкая эстрада тянулась вдоль стены зала там, где в других ресторанах Бак привык видеть экран видеоскопа.

Он заметил, что когда-то такой экран был и здесь. На стене еще виднелись дыры от винтов.

— Лэнки держал заведение на Венере, когда там еще не было видеоскопов,— пояснила Роза.— У него особые представления о том, как надо развлекать посетителей. Хотите посмотреть свою комнату?

Бак не ответил. Он разглядывал мультикорд. Это был старый разбитый инструмент, немало повидавший на своем веку и носивший следы не одной пьяной драки. Бак попробовал фильтры тембров и тихонько выругался про себя. Большинство их не работало. Только кнопки флейты были исправны. Итак, двенадцать часов в сутки он будет проводить за расстроенным и сломанным мультикордом.

— Хотите посмотреть свою комнату? — повторила Роза.— Еще только пять часов. Можете как следует отдохнуть перед работой.

Роза показала ему узкую каморку позади стойки. Он вытянулся на жесткой раскладушке и попытался расслабить мускулы. Очень скоро пробило шесть часов. В дверях появился Лэнки и поманил Бака пальцем.

Он занял свое место за мультикордом и сидел, перебирая клавиши. Волнения не было. В коммерсах он освоил все тонкости и за музыку не опасался. Но его смущала обстановка. Облака дыма стали гуще, глаза у него щипало, а пары спирта раздражали носоглотку при каждом глубоком вдохе.

Посетителей было еще мало — механики в перемазанной рабочей одежде, щеголи-пилоты, несколько штатских; все они предпочитали крепкие напитки и не обращали внимания на окружающее. И женщины. По две женщины на каждого мужчину в зале, заметил он.

Внезапно наступило оживление, слышались одобрительные возгласы, нетерпеливое постукивание. На эс-

траду поднялся Лэнки с Розой и другими певицами. Сначала Бак пришел в ужас: ему показалось, что девушки обнажены, но когда они подошли ближе, он разглядел их пластиковые миникостюмы. А Лэнки прав, подумал он. Звездолетчики предпочтут видеть их, а не инсценированные коммерсы на экране.

— Розу ты уже знаешь,— сказал Лэнки.— А это Занна и Мэй. Давайте начинать.

Он ушел, а девушки собрались у мультикорда.

— Какие коммерсы вы знаете? — спросила Роза.

— Я знаю все.

Она посмотрела на него с сомнением.

— Мы поем вместе, а потом по очереди. А вы... вы уверены, что знаете все?

Бак нажал педаль и взял аккорд.

— Вы себе пойте, а я не подведу.

— Мы начнем с коммерса о вкусном солоде. Он звучит вот так,— они тихонько напели мелодию.— Знаете?

— Я сам его написал,— сказал Бак.

Они пели лучше, чем он ожидал. Аккомпанировать им было нетрудно, и он мог следить за посетителями. Головы кивали в такт музыке. Он быстро уловил общее настроение и начал экспериментировать. Пальцы его сами изобрели раскатистое ритмичное сопровождение в басах. Нашупав ритм, он заиграл в полную силу. Основную мелодию он бросил, предоставив вести ее девушкам, а сам прошелся по всей клавиатуре, чтобы расцветить мощный ритмический рисунок.

В зале начали притопывать ногами. Девушки на сцене приплясывали, и Бак почувствовал, что он сам покачивается взад и вперед, захваченный безудержной музыкой. Девушки допели слова, но он продолжал играть, и они начали снова. Звездолетчики повскакали на ноги, захлопали в ладоши, стали приплясывать. Некоторые

подхватили своих дам и пошли танцевать в узких проходах между столиками. Наконец, Бак исполнил заключительный каданс и опустил голову, тяжело дыша и вытирая лоб. Одна из девушек свалилась без сил прямо на сцене, другие помогли ей подняться. Они убежали под бешеные аплодисменты.

Бак почувствовал чью-то руку у себя на плече. Лэнки. Без всякого выражения на изуродованном лице он взглянул на Бака, повернулся, чтобы разглядеть бесновавшихся посетителей, снова повернулся к Баку, кивнул и ушел.

Роза возвратилась одна, все еще тяжело дыша.

— Как насчет коммерса о духах «Салли Энн?»

— Скажите, какие там слова,— попросил Бак.

Она бесстрастно пробубнила слова. Трагическая история о том, как не задалась любовь у одной девушки, потому что она не употребляла «Салли Энн».

— Заставим их плакать? — предложил Бак. — Только сосредоточьтесь. История печальная, и пусть они поплачут.

Она встала у мультикорда и жалобно запела. Бак дал тихий проникновенный аккомпанемент и, когда начался второй куплет, симпровизировал затухающую контрмелодию. Звездолетчики тревожно притихли. Мужчины не плакали, но кое-кто из женщин громко всхлипывал, и когда Роза кончила, наступило напряженное молчание.

— Живо,— прошипел Бак. — Поднимем настроение. Пойте что-нибудь — что угодно!

Она затянула другой коммерс, и Бак безудержным ритмом своего аккомпанемента заставил звездолетчиков вскочить на ноги.

Одна за другой выступали девушки, а Бак рассеянно поглядывал на посетителей, потрясенный таинствен-

ной силой, исходившей из его пальцев. Импровизируя и экспериментируя, он переходил от одной эмоциональной крайности к другой и увлекал за собою людей. А в голове у него была лишь одна мысль...

— Пора сделать перерыв,—сказала наконец Роза.— Лучше возьмите да что-нибудь поешьте.

Семь тридцать. Полтора часа непрерывной игры. Бак почувствовал, что его силы и эмоции иссякли, равнодушно взял поднос с обедом и отнес в каморку, которую называли его комнатой. Голода он не ощущал. Он с сомнением принимался к еде, попробовал — и жадно проглотил. Настоящая еда — после долгих месяцев синтетической пищи!

Он немного посидел на койке, раздумывая, сколько времени отдыхают девушки между выступлениями. Потом пошел искать Лэнки.

— Не хочется мне зря сидеть,—сказал он.— Не возражаете, если я поиграю?

— Без девушек?

— Да.

Лэнки облокотился обеими руками на стойку, уткнулся подбородком в кулак и некоторое время сидел, глядя отсутствующим взглядом на противоположную стенку.

— Ты сам будешь петь? — спросил он наконец.

— Нет. Только играть.

— Без пения? Без слов?

— Да.

— Что же ты будешь играть?

— Коммерсы. Или, может, что-нибудь симпровизирую.

Долгое молчание. Потом:

— Думаешь, что сможешь играть, пока девушек нет?

— Конечно, смогу.

Лэнки по-прежнему сосредоточенно смотрел на про-

тивоположную стенку. Его брови сошлись, потом разошлись и снова сошлись.

— Ладно,— сказал он.— Интересно, как я сам до этого не додумался.

Бак незаметно занял свое место у мультикорда. Он тихо заиграл, создав неназойливый фон к шумным разговорам, наполнявшим зал. Когда он усилил звук, лица повернулись к нему.

Он размышлял о том, что думают эти люди, впервые в жизни слыша музыку, не имеющую отношения к коммерсу, музыку без слов. Он напряженно наблюдал и был доволен тем, что овладел вниманием публики. А теперь сумеет ли он поднять их с мест одними лишь звуками мультикорда без слов? Он придумал мелодии четкий ритмический рисунок, и в зале начали притопывать ногами.

Когда он снова усилил звук, Роза выскочила из-за двери и поспешила на сцену. На ее обычно бойком личике была написана растерянность.

— Все в порядке,— сказал ей Бак.— Я просто играю, чтобы развлечься. Не выходите, пока не будете готовы.

Она кивнула и ушла. Краснолицый звездолетчик около эстрады взглянул снизу на четкие контуры ее юного тела и ухмыльнулся. Как зачарованный, Бак впился в него глазами, впитывая грубую, требовательную похоть на его лице, а руки в поисках ее выражения бегали по клавиатуре. Так? Или так? Или...

Вот оно! Тело его раскачивалось, и он почувствовал, что сам попал под власть неумолимого ритма. Он нажал ногой регулятор громкости и отвернулся, чтобы посмотреть на посетителей.

Все глаза, как будто в гипнотическом трансе, были устремлены в его угол. Бармен застыл, наклонившись, разинув рот. Чувствовалось какое-то волнение, было слышно напряженное шарканье ног, нетерпеливый скрип

стульев. Нога Бака еще сильнее надавила на регулятор.

С ужасом наблюдал Бак за тем, что происходило внизу. Похоть исказила лица. Мужчины вскакивали, тянулись к женщинам, хватали их, лапали. С грохотом свалился стул, за ним стол, но никто, казалось, не замечал этого. С какой-то женщины в безумном вихре слетело на пол платье, преследуемые стали сами преследовать. А пальцы Бака все носились по клавишам, выйдя из-под его власти.

Невероятным усилием воли он оторвался от клавишей. В зале, точно гром, разразилось молчание. Он начал тихо наигрывать дрожащими пальцами что-то бесцветное. Когда он снова взглянул в зал, порядок был восстановлен. Стол и стул стояли на местах, и посетители сидели, явно чувствуя облегчение,— все, кроме одной женщины, которая, смущаясь, поспешно натягивала платье.

Бак продолжал играть спокойно, пока не вернулись девушки.

Шесть часов утра. Тело ломит от усталости, руки болят, ноги затекли. Бак с трудом спустился вниз. Лэнки стоял, поджидая его.

— Оплата по первому классу,— сказал он.— Будешь работать у меня, сколько хочешь. Но полегче с этим, ладно?

Бак подумал о Вэл, ютящейся в мрачной комнате, живущей на синтетической пище.

— Не будет считаться нарушением правил, если я попрошу аванс?

— Нет,— сказал Лэнки.— Не будет. Я сказал кассиру, чтобы выдал тебе сотню, когда будешь уходить. Считай это премией.

Утомленный долгой поездкой на движущемся тротуаре, Бак тихонько вошел в свою полутемную комнату и

огляделся. Вэл не видно — она еще спит. Он подсел к мультикорду и тронул клавиши.

Невероятно. Музыка без коммерсов, без слов заставляет людей смеяться и плакать, и танцевать, и сходить с ума.

И она же превращает их в разнузданных скотов.

Дивясь этому, он заиграл мелодию, которая вызвала такую откровенную похоть, играл ее все громче и громче.

И почувствовал руку у себя на плече, и обернулся, и увидел искаженное страстью лицо Вэл...

...Он пригласил Халси прийти послушать его выступление на следующий же вечер, а потом Халси сидел в его камерке, тяжело опустившись на раскладушку, и все содрогался.

— Это нечестно. Никто не должен иметь такой власти над людьми. Как ты это делаешь?

— Не знаю,— сказал Бак.— Я увидел парочку, которая там сидела, они были счастливы, и я ощутил их счастье. И когда я заиграл, все в зале были счастливы. А потом вошла другая пара, они ссорились — и я не успел опомниться, как всех разозлил.

— За соседним столиком чуть ли не начали драться,— сказал Халси.— А уж то, что ты устроил потом...

— Да, но вчера было еще сильнее. Посмотрел бы ты на это вчера!

Халси опять содрогнулся.

— У меня есть книга о греческой музыке,— сказал Бак.— Древняя Греция — очень давно. У них было нечто, что они называли «этос». Они считали, что каждый гармонический строй действует на людей по-своему. Музыка может делать человека печальным, или счастливым, или наполнять его восторгом, или сводить с ума. Греки даже утверждали, что один музыкант, по имени Орфей,

умел передвигать деревья и размягчать скалы своей музыкой. Теперь слушай. Я получил возможность экспериментировать и заметил, что моя игра действеннее всего, когда я не пользуюсь фильтрами. На этом мультикорде все равно работают только два фильтра — флейта и скрипка, — но когда я пускаю в ход хоть один, люди не реагируют так сильно. И я думаю, может быть, не гармонический строй, а сами музыкальные инструменты производили такой эффект. Может быть, тембр мультикорда без фильтров имеет что-то общее с тембром древнегреческой кифары или...

Халси фыркнул.

— А я думаю, что причина не в инструментах и не в гармоническом строе. Я думаю, причина в Эрлине Баке, и мне это не нравится. Надо было тебе оставаться музыкоделом.

— Я хочу, чтоб ты мне помог, — сказал Бак. — Хочу найти помещение, где можно собрать много народу — тысячу человек по крайней мере — не для того, чтобы есть и смотреть коммерсы, а чтобы просто слушать, как один человек играет на мультикорде.

Халси резко поднялся.

— Бак, ты опасный субъект. Будь я проклят, если стану доверять тому, кто заставил меня испытать такое, как ты сегодня. Не знаю, что ты собираешься затеять, но я в долю не иду.

Он вышел с таким видом, будто собирался хлопнуть дверью. Но мультикордист в ресторанчике Лэнки не заслуживал такой роскоши, как дверь в комнате. Халси нерешительно потоптался на пороге и исчез. Бак последовал за ним и стоял, глядя, как тот нетерпеливо пробирается между столиками к выходу.

Лэнки, смотревший на Бака из-за стойки, взглянул вслед уходящему Халси.

— Неприятности? — спросил он.

Бак устало отвернулся.

— Я знаю этого человека двадцать лет. Никогда не считал его другом. Но и не думал, что он мне враг.

— Бывает, — сказал Лэнки.

Бак тряхнул головой.

— Хочу отведать марсианского виски. Никогда не пробовал.

За две недели Бак стал достопримечательностью рестораника Лэнки. Зал был битком набит с того мига, как он приступал к работе, и до тех пор, пока утром не уходил домой. Когда он играл один, он забывал о коммерсах и исполнял все, что хотел. Как-то он даже сыграл посетителям несколько пьес Баха и был щедро награжден аплодисментами — хотя им и далеко было до неистового энтузиазма, обычно сопровождавшего его импровизации.

Сидя за стойкой, ужиная и наблюдая за посетителями, Бак смутно чувствовал себя счастливым. Впервые за много лет у него была куча денег. Да и работа ему нравилась.

Он начал думать о том, как бы совсем избавиться от коммерсов.

Отставив поднос в сторону, Бак увидел, как швейцар Бифф выступает вперед, чтобы приветствовать очередную парочку посетителей, но внезапно спотыкается и падает, остоленев от изумления. И не удивительно: вечерние туалеты в кабачке Лэнки!

Парочка прошла в зал; оба шурились в тусклом дымном свете, с любопытством оглядываясь кругом. Мужчина был бронзовый от загара и красивый, но никто не обратил на него внимания. Унылую обстановку метеором пререзала поразительная красота его спутницы. Женщи-

на двигалась в ореоле сверкающей прелести. Ее благоухание заглушило вонь табака и виски. Волосы у нее отливали золотом, мерцающее платье выгодно подчеркивало фигуру.

Бак взгляделся и вдруг узнал ее. Мэриголд, или «Утро с Мэриголд». Та, кого боготворят миллионы видеозрителей всей Солнечной системы. Как поговаривают, любовница Джемса Дентона, короля видеоскопа. Мэриголд Мэннинг.

Она поднесла руку к губам, притворяясь испуганной, и хрусталинки ее дразнящего смеха рассыпались среди очарованных звездолетчиков.

— Что за странное место! — сказала она. — И как ты только о нем прослышал?

— Я хочу марсианского виски, черт побери, — пробормотал мужчина.

— Как глупо, что в портовом баре уже ничего нет. Да еще столько кораблей прилетает с Марса. Ты уверен, что мы успеем вернуться вовремя? Ведь Джимми устроит скандал, если нас не будет, когда приземлится его корабль.

Лэнки тронул Бака за руку.

— Уже седьмой час, — сказал он, не спуская глаз с Мэриголд Мэннинг. — У них терпенье лопается.

Бак кивнул и направился к мультикорду. Увидев своего любимца, посетители разразились криками. Бак уселся не сразу и успел заметить, что Мэриголд Мэннинг и ее спутник глядят на него с разинутыми ртами. Внезапный взрыв энтузиазма удивил их, и они отвернулись от топающих и вопящих посетителей, чтобы посмотреть на невзрачного человека, который вызывает такой неистовый восторг.

Шум пререзало восклицание мисс Мэннинг:

— Какого дьявола!

Бак пожал плечами и начал играть. В конце концов мисс Мэннинг ушла, обменявшись с Лэнки несколькими словами, а ее спутник так и не получил марсианского виски.

На другой вечер Лэнки встретил Бака двумя пухлыми пачками телеграмм.

— Вот это да! Видел сегодня утром передачу этой дамочки Мэриголд?

— Ты думаешь, я хоть раз смотрел видеоскоп с тех пор, как начал здесь работать?

— Если тебя это интересует, знай, что ты был — как Мэриголд это назвала? — сенсацией сегодняшней передачи. Эрлин Бак, знаменитый музыкодел, теперь играет на мультикорде в занятом маленьком ресторанчике Лэнки. Если хотите насладиться удивительной музыкой, поезжайте в Нью-джерсийский космопорт и послушайте Бака. Не упускайте случая. Незабываемое впечатление, — Лэнки выругался и помахал телеграммами. — Она назвала нас занятыми. Теперь я получил десять тысяч предварительных заказов на столики, в том числе из Будапешта и Шанхая. А у нас пятьсот мест, если считать и стоячие. Черт бы побрал эту бабу! У нас и без нее дело шло так, что только поворачивайся.

— Вам бы нужно помещение побольше, — сказал Бак.

— Да, между нами говоря, я уже присмотрел большой склад. Он вместит не меньше тысячи человек. Мы его приведем в порядок. Я заключу с тобой контракт, будешь отвечать за музыку.

Бак покачал головой.

— А что если открыть большое заведение в городе? Это привлечет людей побогаче. Вы хозяйничаете, а я обеспечиваю посетителей.

Лэнки с торжественным видом погладил сплюснутый нос.

— Как делим?

— Попролам,— сказал Бак.

— Нет,— сказал Лэнки задумчиво.— Я играю честно, Бак, но попролам в таком деле будет несправедливо. Ведь я вкладываю весь капитал. Даю тебе треть, и занимайся музыкой.

Они оформили контракт у адвоката. Адвоката выбрал Бак. На этом настоял Лэнки.

В унылом полумраке раннего утра сонный Бак ехал домой на тротуаре, кишевшем людьми. Был час пик, люди стояли вплотную друг к другу и сердито ворчали, когда соседи наступали им на ноги. Казалось, что давка сегодня еще больше, чем обычно. Бак не обращал внимания на толчки и пинки локтями, погруженный в свои мысли.

Пора найти жилье получше. Пока он не мог позволить себе лучшую, его вполне устраивала их убогая квартира, но Вэл уже не первый год жалуется. А теперь, когда они могут снять роскошную квартирку или даже купить домик в Пенсильвании, Вэл отказывается. Говорит, что не хочет расставаться с друзьями.

Бак размышлял о женской непоследовательности и вдруг сообразил, что приближается к дому. Он начал проталкиваться к полосе торможения. Нажимая изо всех сил, пытаясь протиснуться между пассажирами, он заработал локтями — сначала осторожно, потом со злобой. Толпа вокруг него не подавалась.

— Прошу прощения,— сказал Бак, делая еще одну попытку.— Мне здесь сходить.

На сей раз дорогу ему преградили две мускулистые руки.

— Не сегодня, Бак. Тебя ждут в Манхэттене.

Бак бросил взгляд на окруживших его людей. Жесткие лица, мрачные ухмылки. Стремительным броском Бак попытался пробиться, он сопротивлялся изо всех сил, но его грубо оттащили обратно.

— В Манхэттен, Бак. А если хочешь на тот свет — твое дело.

— В Манхэттен, — согласился Бак.

У взлетной площадки они сошли с движущегося тротуара. Их ждал флаер — шикарная частная машина, номер которой свидетельствовал о праве на большие льготы.

Они быстро полетели к Манхэттену, пересекая воздушные зоны, и приготовились к посадке на крыше здания «Международного видеоскопа». Бака поспешно спустили на антигравитационном лифте, провели по лабиринту коридоров и не слишком вежливо втолкнули в кабинет.

Огромный кабинет. Мебели мало — письменный стол, несколько стульев, бар в уголке, экран видеоскопа немыслимой величины и мультикорд. Народу полно. Взгляд Бака пробежал по расплывшимся пятнам лиц и нашел одно знакомое: Халси.

Пухлый агент сделал два шага вперед и остановился, пристально глядя на Бака.

— Пришло время рассчитаться, Эрлин, — сказал он холодно.

Чья-то рука резко ударила по столу.

— Здесь всеми расчетами занимаюсь я, Халси! Садитесь, пожалуйста, мистер Бак.

Бак неловко примостился на стуле, который ему подставили. Он ждал, устремив глаза на человека за столом.

— Меня зовут Джемс Дентон. Дошла ли моя слава до такого захолустья, как ресторанчик Лэнки?

— Нет,— сказал Бак.— Но я о вас слышал.

Джемс Дентон. Царь «Международного видеоскопа». Безжалостный законодатель общественного вкуса. Человек не старше сорока. Смуглое красивое лицо, сверкающие глаза, и улыбка наготове.

Он медленно кивнул, постучал сигарой о край стола и не спеша поднес ее ко рту. С двух сторон к нему протянулись зажигалки. Он не глядя выбрал одну, снова кивнул и глубоко затянулся.

— Не стану утомлять вас, представляя вам собравшихся, Бак. Некоторые пришли сюда из деловых соображений. Некоторые — из любопытства. Впервые я услышал о вас вчера и подумал, что вы можете стать проблемой. Заметьте, я не утверждаю наверняка, вероятность этого я и хочу выяснить. Когда передо мной проблема, Бак, я делаю одно из двух: или решаю ее, или ликвидирую — и в любом случае не трачу много времени.— Он усмехнулся.— Вы могли в этом убедиться хотя бы потому, что вас привели ко мне сразу, как только вы оказались — ну, скажем, в пределах досягаемости.

— Этот человек опасен, Дентон,— выпалил Халси.

Дентон сверкнул улыбкой.

— Люблю опасных людей, Халси. Их полезно иметь около себя. Если мне пригодится то, чем владеет мистер Бак, что бы это ни было, я сделаю ему выгодное предложение. Уверен, что он примет его с благодарностью. Если же нет, я намерен сделать так, чтобы он, черт возьми, не причинял мне неудобств. Я выражаюсь ясно, Бак?

Бак молчал, уставясь в пол.

Дентон наклонился вперед. Его улыбка не исчезла, но глаза сузились, а голос вдруг стал ледяным.

— Да,— едва слышно пробормотал Бак.

Дентон ткнул большим пальцем в сторону двери, и половина присутствующих, включая Халси, торжественно

но покинула кабинет. Остальные ждали, переговариваясь шепотом, Дентон пыхтел сигарой. Внезапно селектор на столе у Дентона прохрипел одно-единственное слово: — Есть!

Дентон указал на мультикорд.

— Мы жаждем демонстрации вашего искусства, мистер Бак. И смотрите, чтоб это была настоящая демонстрация. Халси ведь слушает, и он нам скажет, если вы попытаетесь жульничать.

Бак кивнул и занял место у мультикорда. Он сидел, держа пальцы на клавишах, и усмехался прямо в обращенные к нему со всех сторон лица. Властители большого бизнеса, они в жизни не слышали настоящей музыки. Что касается Халси — да, Халси будет слушать, но через селектор Дентона, через систему связи, предназначенную только для передачи разговора!

Кроме того, у Халси скверный слух.

Все еще усмехаясь, Бак тронул фильтр скрипки, снова коснулся его и замер в нерешительности.

Дентон сухо рассмеялся.

— Я забыл поставить вас в известность, мистер Бак. По совету Халси мы отключили фильтры. Ну...

Бака охватил гнев. Он резко нажал ногой на регулятор громкости, вызывающе сыграл позывные видеоскопа и начал свой коммерс о тэмперском сыре. С налитым кровью лицом Дентон подался вперед и что-то сердито проворчал. Сидящие возле него беспокойно зашевелились. Бак перешел к другому коммерсу, симпровизировал несколько вариаций и начал присматриваться к лицам окружающих. Властители бизнеса. А забавно было бы, подумал он, заставить их танцевать и притопывать ногами. Его пальцы нащупали неотразимый ритм, и люди беспокойно задвигались в такт.

Он вдруг забыл об осторожности. Беззвучно смеясь

про себя, он дал волю могучему потоку звуков, от которых эти люди пошли в пляс. Все нарастающий взрыв эмоций приковал их к месту в нелепых позах. Потом он заставил их неистово притопывать, вызвал слезы у них на глазах, закончил мощным ударом — тем, что Лэнки называл «секс-музыкой». И застыл над клавиатурой в ужасе от собственной проделки.

Дентон вскочил, бледный, сжимая и разжимая кулаки.

— Господи боже! — бормотал он.

Потом проревел в селектор:

— Реакция?

— Отрицательная, — последовал немедленный ответ.

— Кончаем.

Дентон сел, провел рукой по лицу и обернулся к Баку с вежливой улыбкой:

— Впечатляющее исполнение, мистер Бак! Через несколько минут мы узнаем... а вот и они!

Те, кто прежде покинул кабинет, сейчас по одному возвращались в комнату. Несколько человек собрались кучкой, таинственно зашептались. Дентон поднялся из-за стола и зашагал по кабинету. Остальные присутствующие, включая и Халси, по-прежнему стояли в неловком ожидании.

Бак остался за мультикордом, с беспокойством оглядывая кабинет. Слегка изменив позу, он случайно задел клавишу, и эта единственная нота оборвала разговоры, заставила Дентона резко повернуться, а Халси — в испуге сделать два шага к двери.

— Мистеру Баку не терпится, — воскликнул Дентон. — Нельзя ли покончить с этим?

— Минутку, сэр!

Наконец они выстроились в два ряда перед столом Дентона. Возглавлявший их седовласый человек ученого

вида с нежно-розовым лицом самодовольно прокашлялся и выждал, когда Дентон даст знак начинать.

— Установлено,— сказал он,— что присутствующие подверглись сильному воздействию музыки. Те, кто слушал через селектор, не испытали ничего, кроме легкой скуки.

— Это-то всякий дурак мог установить,— буркнул Дентон.— А вот как он это делает?

— Мы можем предложить только рабочую гипотезу.

— Гадаете, значит? Ну, ваяйте!

— Эрлин Бак обладает способностью телепатически проецировать свои эмоциональные переживания. Когда эта проекция подкрепляется звуком мультикорда, находящиеся в непосредственной близости от него испытывают необычайное потрясение. Те, кто слушает его музыку на расстоянии, не ощущают ничего.

— А видеоскоп?

— Игра Бака не впечатлит видеозрителей.

— Понятно,— сказал Дентон. Он задумчиво нахмурился.— А долго ли он будет иметь успех?

— Это трудно предсказать...

— А вы попробуйте, черт возьми!

— Сначала новизна его манеры привлечет внимание. Со временем у него, вероятно, появится группа приверженцев, для которых эмоциональные переживания, связанные с его игрой, будут чем-то вроде наркотика.

— Благодарю, джентльмены,— сказал Дентон.— У меня все.

Кабинет быстро опустел. Халси задержался на пороге, с ненавистью посмотрел на Бака и вышел.

— Значит, вы мне не пригодитесь, Бак,— сказал Дентон.— Но вы, кажется, не представляете собой проблемы. Я знаю, что вы с Лэнки затеваете. Скажи я хоть слово, никогда бы вам не найти помещения для нового

ресторана. Я мог бы закрыть его ресторанчик сегодня же вечером. Но не стоит возиться. Я даже не настаиваю на том, чтобы в вашем новом ресторане был экран видеоскопа. Если создадите свой культ — что ж, может быть, это отвратит ваших приверженцев от чего-нибудь похуже. Видите, я сегодня великодушен, Бак. А теперь вам лучше уйти, пока я не передумал.

Бак кивнул и поднялся. В эту минуту в комнату вошла Мэриголд Мэннинг. Она сияла красотой, источала аромат экзотических духов, ее сверкающие светлые волосы были зачесаны кверху по последней марсианской моде.

— Джимми, милый, — ой!

Она уставилась на Бака, на мультикорд и растерянно пробормотала:

— Как, вы... Да вы же Эрлин Бак! Джимми, почему ты мне не сказал?

— Мистер Бак оказал мне честь исполнением лично для меня, — грубовато отрезал Дентон. — Надеюсь, мы друг друга понимаем, Бак. Всего хорошего.

— Ты хочешь, чтобы он выступил по видеоскопу! — воскликнула мисс Мэннинг. — Джимми, это чудесно! А можно сначала мне? Я могу включить его в сегодняшнюю передачу.

Дентон медленно покачал головой.

— Очень жаль, дорогая, но мы установили, что талант мистера Бака... не совсем подходит для видеоскопа.

— Но я могу пригласить его хотя бы как гостя. Вы будете моим гостем, правда, мистер Бак? Ведь ничего не случится, если он выступит как гость, правда, Джимми?

Дентон усмехнулся.

— Конечно. После всего шума, который ты подняла,

будет неплохо, если ты его пригласишь. Поделом тебе, если он провалится!

— Он не провалится. Он будет чудесен на видеоэкране. Вы придете сегодня, мистер Бак?

— Пожалуй...— начал Бак. Дентон выразительно кивнул.— Мы скоро открываем новый ресторан,— продолжал Бак.— Я бы не возражал против того, чтобы быть вашим гостем в день открытия.

— Новый ресторан? Чудесно! Кто-нибудь уже знает? А то я выдам это в сегодняшней передаче как сенсацию!

— Это еще не окончательно,— сказал Бак извиняющимся тоном,— мы пока не нашли помещения.

— Вчера Лэнки подыскал помещение,— сказал Дентон.— Сегодня он подпишет договор об аренде. Только сообщите мисс Мэннинг день открытия, Бак, и она организует ваше выступление. А теперь, если вы не возражаете...

Бак потратил полчаса на то, чтобы разыскать выход из здания: он упорно бродил наугад по коридорам, не желая спрашивать дорогу. Он напевал про себя и время от времени смеялся.

Властители большого бизнеса и их ученые ничего не знают о существовании обертонов.

— Так вот оно что,— сказал Лэнки.— По-моему, нам повезло, Бак. Дентон должен был сделать ход, пока у него была возможность, пока я ничего не ожидал. А когда он поумнеет, я постараюсь, чтоб было уже поздно.

— Что же мы предпримем, если он действительно решит закрыть наше дело?

— У меня и у самого есть кое-какие связи, Бак. Правда, эти люди не возвращаются в высшем свете, как Дентон, но они ничуть не менее бесчестны. А у Дентона куча врагов, они нас охотно поддержат. Он сказал, что

ему ничего не стоит закрыть меня сегодня же, а? Забавно. Вряд ли мы сможем чем-нибудь повредить Дентону, но в наших силах сделать многое, чтобы он не вредил нам.

— Думаю, что мы и сами повредим Дентону,— сказал Бак.

Лэнки отошел к стойке и вернулся с высоким стаканом розовой пенящейся жидкости.

— Выпей,— сказал он.— У тебя был тяжелый день, ты уже заговариваешься. Как это мы можем повредить Дентону?

— Коммерсы. Видеоскоп зависит от коммерсов. Мы покажем людям, что можно развлекаться без них. Мы сделаем нашим девизом «Никаких коммерсов в ресторане Лэнки».

— Здорово,— протянул Лэнки.— Только я вложил тысячу в модные костюмы для девушек,— на новом месте не выступать же им в пластиковых штуках, ты ж понимаешь.— Или ты решил обойтись без их пения?

— Ни в коем случае, они будут петь.

Лэнки склонил голову и погладил нос.

— И никаких коммерсов? Что же тогда они будут петь?

— Я взял кое-какие тексты из старых школьных учебников моего деда. Это называлось стихами, а я пишу на них музыку. Хотел попробовать их здесь, но Дентон может прослышать, а нам ведь не стоит ввязываться в неприятности раньше времени.

— Да. Прибереги эти стихи для нового помещения. Вот будешь участвовать в передаче «Утро с Мэриголд» в день открытия. А ты точно знаешь насчет этих самых обертонов, Бак? Понимаешь, может, ты и в самом деле проецируешь эмоции? В ресторане-то, конечно, это все равно, а вот по видеоскопу...

— Я знаю точно. Когда у нас открытие?

— Новое помещение перестраивают, работа идет в три смены. Мы усадим 1200 человек, и еще останется место для хорошей танцплощадки. Все должно быть готово через две недели. Но я не уверен, что затея с видеоскопом разумна, Бак.

— Я так хочу.

Лэнки опять отошел к стойке и налил себе стаканчик.

— Ладно. Так и делай. Если номер пройдет, заварится каша, и мне бы надо к этому подготовиться.— Он ухмыльнулся.— Но будь я проклят, если это не пойдет нам на пользу!

Мэриголд Мэннинг сменила прическу на последнюю модель Занны из Гонконга и десять минут раздумывала, каким боком повернуться к съемочным аппаратам. Бак терпеливо ждал, чувствуя себя чуть неловко в новом костюме: такого дорогого костюма у него никогда не было. Интересно, а вдруг он и в самом деле проецирует эмоции?

— Я встану так,— сказала наконец мисс Мэннинг, бросив последний испытующий взор на контрольный экран.— А вы, мистер Бак? Что мы с вами будем делать?

— Просто посадите меня за мультикорд,— сказал Бак.

— Но вы же будете не только играть. Вы должны что-нибудь сказать. Я объявляла об этом ежедневно всю неделю, у нас будет самая большая аудитория за много лет, и вы просто должны что-нибудь сказать.

— С радостью,— согласился Бак.— Можно, я буду говорить о ресторане Лэнки?

— Конечно, глупый вы человек. Для того-то вас и пригласили. Вы расскажете о ресторане Лэнки, а я расскажу об Эрлине Баке.

— Пять минут,— четко объявил чей-то голос.

— О боже,— сказала она.— Я всегда так нервничаю перед самым началом.

— Хорошо, что не во время передачи,— ответил Бак.

— Верно. Джимми только смеется надо мной, но нужно быть артистом, чтобы понять другого артиста. А вы нервничаете?

— Во время игры мне не до того.

— Вот и мне тоже. Когда у меня начинается передача, я слишком занята.

— Четыре минуты.

— О господи! — она опять повернулась к экрану.— Может, мне лучше повернуться?

Бак уселся за мультикорд.

— Вы и так само совершенство.

— Серьезно? Во всяком случае, очень мило, что вы так говорите. Интересно, найдется ли у Джимми время посмотреть?

— Уверен, что найдется.

— Три минуты.

Бак включил усилитель и взял аккорд. Теперь он нервничал. Он понятия не имел, что будет играть. Он намеренно не хотел готовиться заранее, потому что именно его импровизации так странно действовали на людей. Только одно он знал точно: секс-музыки не будет. Об этом его просил Лэнки.

В задумчивости он пропустил мимо ушей последнее предупреждение и, вздрогнув, поднял голову, когда услышал голос мисс Мэннинг:

— Здравствуйте! Начинаем «Утро с Мэриголд»!

Звонкий голос не умолкал. Эрлин Бак. Его карьера музыканта. Поразительное открытие Мэриголд, что он играет в ресторанчике Лэнки. Она дала в записи коммерс, посвященный тэмперскому сыру. Наконец все

было доложено и она рискнула показать свой безупречный профиль, чтобы посмотреть в сторону Бака.

— Леди и джентльмены! С восхищением, с гордостью, с удовольствием представляю вам сенсацию Мэриголд — Эрлина Бака!

Бак нервно усмехнулся и смущенно постучал по клавише пальцем.

— Это моя первая речь, — сказал он. — Возможно, она будет последней. Сегодня открывается новый ресторан «У Лэнки» на Бродвее. К несчастью, я не могу пригласить вас туда, потому что благодаря великодушным отзывам мисс Мэннинг за последнюю неделю все места на ближайшие два месяца заказаны. Потом мы будем оставлять ограниченное число мест для приезжих издалека. Садитесь в ракету и летите к нам!

У Лэнки вы найдете кое-что не совсем обычное. Там нет экрана видеоскопа. Может быть, вы об этом слышали. У нас есть привлекательные молодые дамы, они вам будут петь. Я играю на мультикорде. Мы уверены, что вам понравится наша музыка, ведь у Лэнки вы не услышите коммерсов. Запомните это! Никаких коммерсов у Лэнки! Никаких флаеров к бифштексам! Никаких коммерсов! Только хорошая музыка для вашего удовольствия — вот такая!

Он опустил руки на клавиши.

Было странно играть без слушателей — или почти без слушателей. В комнате были только мисс Мэннинг да операторы видеоскопа, и Бак внезапно ощутил, что своим успехом он всегда был обязан слушателям. Он всегда видел перед собой множество лиц и играл в соответствии с их реакцией. Теперь его слушают люди по всему Западному полушарию. А потом это будет вся Земля и вся Солнечная система. Будут ли они хлопать и притоптывать? Подумают ли они с благоговением: «Так вот что

такое музыка без слов, без коммерсов!»? Или он вызовет у них легкую скуку?

Бак бросил взгляд на бледное лицо мисс Мэннинг, на операторов, стоящих с разинутыми ртами, и подумал, что, вероятно, все в порядке. Музыка захватила его, и он играл неистово.

Он продолжал играть и после того, как почувствовал что-то неладное. Мисс Мэннинг вскочила и бросилась к нему. Операторы бестолково засуетились, а контрольный экран вдали погас.

Бак замедлил темп, потом вовсе перестал играть.

— Нас отключили,— сказала мисс Мэннинг со слезами в голосе.— Кто мог это сделать? Никогда, никогда за все время, что я выступаю по видеоскопу... Джордж, кто нас отключил?

— Приказ.

— Чей приказ?

— Мой приказ! — К ним стремительно подошел Джемс Дентон, на сей раз он не улыбался. Губы его были сжаты, лицо бледно, в глазах затаились жестокость и смертельная угроза.

— Ты ушлый парень, а? — обратился он к Баку.— Не знаю, как ты ухитрился разыграть меня, но никто не одурачивает Джемса Дентона дважды. Теперь ты стал проблемой, и я не собираюсь затруднять себя ее решением. Считаю, что ты ликвидирован.

— Джимми! — взмолилась мисс Мэннинг.— Моя программа отключена! Как ты мог?

— Заткнись, к черту! Могу предложить тебе, Бак, любое пари, что Лэнки сегодня не откроется. Хотя тебе это будет уже безразлично.

Бак мягко улыбнулся.

— Я думаю, вы проиграли, Дентон. Я думаю, музыка звучала достаточно долго, и вы побеждены. Держу

пари на что угодно: к завтрашнему дню вы получите несколько тысяч жалоб. И правительство тоже. И тогда вы увидите, кто настоящий хозяин «Международного видеоскопа».

— Я хозяин «Международного видеоскопа».

— Нет, Дентон. Он принадлежит народу. Люди долго смотрели на все сквозь пальцы и довольствовались вашим выбором. Но если они поймут, что им нужно, они этого добьются. Я знаю — я дал им по крайней мере три минуты того, что им нужно. Это больше, чем я надеялся.

— Как тебе удалось провести меня там, в кабинете?

— Вы сами себя провели, Дентон, потому что ничего не знаете об обертонах. Ваш селектор не годится для передачи музыки. Он совсем не передает высоких частот, так что мультикорд звучал безжизненно для людей, находившихся в другой комнате. Но у видеоскопа достаточно широкая полоса частот. Поэтому он передает живой звук.

Дентон кивнул.

— Остроумно. За это я поотрываю головы некоторым ученым. Да и тебе тоже, Бак.

Он надменно вышел, и как только дверь автоматически закрылась за ним, Мэриголд Мэннинг схватила Бака за руку:

— Живо! За мной!

Бак заколебался, и она прошипела:

— Да не стойте, как идиот! Вас убьют!

Она вывела его через операторскую в маленький коридорчик. Они пробежали по нему, проскочили приемную с удивленной секретаршей и через заднюю дверь выбрались в другой коридор. Она втащила его за собой в антигравитационный лифт, и они взмыли вверх. На крыше здания они подбежали к взлетной площадке для флаеров, и здесь она оставила его в дверях.

— Когда я подам сигнал, выходите,— сказала она.— Только не бегом, идите спокойно.

Она хладнокровно вышла, и Бак услышал удивленное приветствие служителя.

— Как вы рано сегодня кончили, мисс Мэннинг!

— Мы передаем много коммерсов,— сказала она.— Мне нужен большой вэйринг.

— Сейчас подадим.

Из-за угла Бак увидел, как она вошла во флаер. Едва служитель отвернулся, она отчаянно замахала. Бак осторожно подошел к ней, стараясь, чтобы вэйринг все время оставался между ним и служителем. Через минуту они уже неслись вверх, а внизу слабо прозвучала сирена.

— Успели! — воскликнула она, задыхаясь.— Если бы вы не выбрались до того, как прогудела тревога, вам бы совсем не уйти.

Бак глубоко вздохнул и оглянулся на здание «Международного видеоскопа».

— Что ж, спасибо,— сказал он.— Но я убежден, что такой необходимости не было. Это же цивилизованная планета.

— Зато «Международный видеоскоп» — не цивилизованное предприятие,— отрезала она.

Он посмотрел на нее с удивлением. Ее лицо разгорелось, глаза расширились от страха, и впервые Бак увидел в ней человека, женщину, красивую женщину. Она отвернулась и разразилась слезами.

— Теперь Джимми убьет и меня. А куда мы поедем?

— К Лэнки,— сказал Бак.— Смотрите, его отсюда видно.

Она направила флаер к свежевыкрашенным буквам на посадочной площадке на крыше нового ресторана, и Бак, оглянувшись, увидел, что на улице возле «Международного видеоскопа» собирается толпа.

Лэнки придвинул письменный стол к стене и удобно откинулся назад. На нем был нарядный вечерний костюм, и он тщательно подготовился к роли радушного хозяина, но у себя в кабинете он был все тем же неуклюжим Лэнки, как тогда, в первый вечер, когда Бак увидел его за стойкой.

— Я тебе говорил, что заварится каша,— сказал он спокойно.— Пять тысяч человек у здания «Международного видеоскопа» требуют Эрлина Бака. И толпа все растет.

— Я играл не больше трех минут,— сказал Бак.— Я подумал, что многие, наверно, напишут жалобы на то, что меня отключили, но ничего подобного не ожидал.

— Не ожидал, а? Пять тысяч человек. Теперь уже, может быть, и все десять, и никто не знает, когда все это кончится. А мисс Мэннинг рискует головой, чтобы увезти тебя оттуда,— спроси ее, почему, Бак?

— Да,— сказал Бак.— Зачем вам было ввязываться в это из-за меня?

Она вздрогнула.

— Ваша музыка так на меня действует!

— Еще как,— подхватил Лэнки.— Бак, дурень ты этакий, ты же устроил для четверти земного населения три минуты секс-музыки!

Ресторан Лэнки открылся в тот вечер, как и было объявлено. Толпа заполнила всю улицу и ломилась до тех пор, пока оставались стоячие места. Хитрый Лэнки взимал плату за вход. Стоявшие посетители ничего не заказывали, и Лэнки не мог допустить, чтобы музыка досталась им бесплатно, даже если они согласны слушать ее стоя.

В последнюю минуту была произведена только одна замена. Лэнки решил, что посетители предпочтут старо-

му хозяину с расплюснутым носом очаровательную хозяйку — Мэриголд Мэннинг. Она легко скользила по залу, и голубизна изысканно задрапированного платья оттеняла золотистые волосы.

Когда Бак занял свое место за мультикордом, бешеная овация продолжалась минут двадцать.

В середине вечера Бак разыскал Лэнки.

— Дентон что-нибудь предпринял?

— Ничего. Все идет как по маслу.

— Странно. Он поклялся, что мы сегодня не откроемся.

Лэнки хмыкнул.

— У него достаточно своих забот. Власти хватают его за горло из-за сегодняшней заварухи. Я боялся, что будут обвинять тебя, но обошлось. Дентон включил тебя в программу, он же тебя и отключил, и считается, что виноват он. По моим последним сведениям, «Международный видеоскоп» получил больше десяти миллионов жалоб. Не беспокойся, Бак. Скоро мы услышим о Дентоне, да и о союзах тоже.

— О союзах? При чем тут союзы?

— Союз музыкоделов взьется на тебя за то, что ты хочешь покончить с коммерсами. Союз текстовиков будет заодно с ними из-за коммерсов и еще потому, что твоей музыке не нужны слова. Союзу исполнителей ты придешься не по вкусу, потому что вряд ли кто-нибудь из них хоть немного умеет играть. К завтрашнему утру, Бак, ты станешь самым популярным человеком в Солнечной системе, и тебя возненавидят все заказчики, все работники видеоскопа и все союзы. Я приставлю к тебе телохранителя на круглые сутки. И к мисс Мэннинг тоже. Я хочу, чтоб ты вышел из этой заварухи живым.

— Ты в самом деле думаешь, что Дентон может...

— Дентон может:

На следующее утро Союз исполнителей занес ресторан Лэнки в черный список и предложил всем музыкантам, включая Бака, прекратить с ним всякие отношения. Музыканты вежливо отклонили предложение и к полудню тоже оказались в черном списке. Лэнки вызвал адвоката — более зловещего, вороватого и подозрительного на вид человека Бак еще не встречал.

— Они должны предупредить нас за неделю, — сказал Лэнки. — И дать нам еще неделю, если мы будем жаловаться. Я им предъявлю иск на пять миллионов.

В ресторан зашел уполномоченный по общественному порядку, затем уполномоченный по контролю за торговлей спиртным. После недолгих переговоров с Лэнки оба с мрачным видом удалились.

— Поздно же Дентон зашевелился, — весело сказал Лэнки. — Я был у них обоих на прошлой неделе и записал на пленку наши разговоры. Они не осмелятся действовать.

В этот вечер перед рестораном Лэнки происходили беспорядки. У Лэнки на этот случай был наготове свой отряд, и посетители ничего не заметили. По сведениям осведомителей Лэнки, «Международный видеоскоп» получил свыше пятидесяти миллионов жалоб. Началась стихийная демонстрация против коммерсов, а в манхэттенских ресторанах разбили пятьсот видеоскопов.

Ресторан Лэнки беспрепятственно завершил первую неделю своего существования. Зал постоянно был переполнен. Заявки на места рекой текли даже с Венеры и Марса. Бак выписал из Берлина второго мультикордиста, который бы его подменял, и Лэнки надеялся, что к концу месяца ресторан будет работать по двадцать четыре часа в сутки.

В начале второй недели Лэнки сказал Баку:

— Мы утерли Дентону нос. Я мог только отвечать на

каждый его ход, а теперь мы сами сделаем несколько ходов. Ты опять выступишь по видеоскопу. Сегодня я сделаю заявку. У нас законное предприятие, и мы имеем такое же право покупать время, как и другие. Если он нам откажет, я на него в суд подам. Не посмеет он отказать.

— Где же ты взял деньги? — спросил Бак.

Лэнки усмехнулся.

— Скопил. И получил небольшую поддержку от людей, которые не любят Дентона.

Дентон не отказал. Выступление Бака транслировалось прямо из ресторана по всеземной программе, а вела передачу Мэриголд Мэннинг. Секс-музыки он не исполнял.

Ресторан пора было закрывать. Усталый Бак переодевался у себя в уборной. Лэнки ушел, чтобы рано утром встретиться со своим адвокатом. Надо же предугадать очередной ход Дентона.

Бак был неспокоен. Ведь он всего-навсего музыкант, говорил он себе, не разбирающийся ни в юридических проблемах, ни в запутанном клубке связей и влияний, которым Лэнки так легко управляет. Он знал, что Джемс Дентон — олицетворение зла. Он знал также, что у Дентона достаточно денег, чтобы тысячу раз купить Лэнки. Или заплатить за убийство любого, кто стоит у него на дороге. Чего он ждет? Ведь Бак, дайте ему только время, нанесет смертельный удар всей системе коммерсов. Дентон должен это знать.

Так чего же он ждет?

Дверь распахнулась, и вбежала бледная, полуодетая Мэриголд Мэннинг. Она захлопнула дверь и прислонилась к ней. Все ее тело сотрясилось от рыданий.

— Опять Джимми, — сказала она, задыхаясь. — Я по-

лучила записку от Кэрол — это его секретарша. Мы с ней дружили. Она сообщает, что Джимми подкупил наших телохранителей, и они убьют нас сегодня по дороге домой. Или позволят людям Джимми нас убить.

— Я вызову Лэнки,— сказал Бак.— Беспокоиться не о чем.

— Нет! Если они что-нибудь заподозрят, они не станут ждать. У нас не будет никакой надежды.

— Тогда мы просто дождемся, когда вернется Лэнки.

— Вы думаете, ждать безопасно? Они же знают, что мы собирались уходить.

Бак тяжело опустился на стул. Как раз такого хода он и ожидал от Дентона. Он знает, что Лэнки тщательно подбирал людей, но у Дентона достаточно денег, чтобы перекупить любого. И все же...

— Может, это ловушка,— сказал он.— Может, записка подложная.

— Нет. Я видела, как этот жирный коротышка Халси говорил вчера с одним из наших телохранителей, и сразу поняла, что Джимми затевает недоброе.

Так вот оно что! Халси.

— Что же делать? — спросил Бак.

— Нельзя ли выйти через черный ход?

— Не знаю. Придется миновать по крайней мере одного телохранителя.

— Может, попробуем?

Бак колебался. Она испугана. Она не владеет собой от страха. Но она более опытна в таких вещах. И она знает Джемса Дентона. Без ее помощи Бак никогда бы не выбрался из «Международного видеоскопа».

— Если вы считаете это необходимым — попробуем.

— Мне надо одеться.

— Одевайтесь. И дайте мне знать, когда будете готовы.

Она осторожно выглянула за дверь и сразу вернулась: страх пересилил стыдливость.

— Нет. Идемте.

Бак и мисс Мэннинг не спеша прошли по коридору к запасному выходу, кивнули двум телохранителям, которые сидели наготове, внезапно бросились к двери и побежали. Сзади раздался удивленный возглас — и ничего больше. Они изо всех сил помчались по переулку, свернули, добежали до следующего перекрестка и остановились в нерешительности.

— Движущийся тротуар в той стороне,— задыхаясь, шепнула она.— Если мы добежим до него...

— Пошли!

И они побежали дальше, держась за руки. Переулок впереди упирался в улицу. С беспокойством Бак поискал глазами флаеры — не догоняют ли,— но не увидел ни одного. Он не знал точно, куда они попали.

— Погони нет?

— Кажется, нет. Ни одного флаера, и я никого не заметил позади, когда мы останавливались.

— Значит, удрали!

Футах в тридцати от них из рассветных теней вдруг выступил человек. Охваченные паникой, они остановились, а он шагнул к ним. Шляпа низко надвинута на лоб, но эту улыбку нельзя не узнать. Джемс Дентон.

— Доброе утро, красавица,— произнес он.— «Международный видеоскоп» много потерял без тебя. Доброе утро, мистер Бак.

Они стояли молча. Мисс Мэннинг вцепилась в плечо Бака, и ногти ее через рубашку вонзились ему в тело. Он не шевелился.

— Я знал, что ты попадешься на эту маленькую хитрость, красавица. Я знал, что ты уже достаточно напугана, чтобы на нее поддаться. У каждого выхода мои

люди, но я благодарен тебе за то, что ты выбрала именно этот. Очень благодарен. Я предпочитаю лично сводить счета с предателями.

Вдруг он повернулся к Баку и прорычал:

— Убирайся отсюда, Бак! Твоя очередь еще не подошла. Насчет тебя у меня другие планы.

Бака словно приковало к влажному тротуару.

— Шевелись, Бак, пока я не передумал!

Мисс Мэннинг отпустила его плечо. Ее голос сорвался на прерывистый шепот.

— Идите! — сказала она.

— Бак!

— Идите, живее! — снова шепнула она.

Бак нерешительно сделал два шага.

— Бегом! — заорал Дентон.

Бак побежал. Позади раздался зловеющий хлопок выстрела, крик — и наступила тишина. Бак остановился, увидел, что Дентон смотрит ему вслед, и снова побежал.

— Так вот, я трус, — сказал Бак.

— Нет, Бак, — Лэнки медленно покачал головой. — Ты смелый человек, иначе бы ты не ввязался в эту историю. Пытаться что-нибудь там сделать — вовсе не смелость, а просто глупость. Виноват я. Я-то думал, что он прежде всего займется рестораном. Теперь я кое-что должен за это Дентону, Бак, а я из тех, кто платит свои долги.

Обезображенное лицо Лэнки озабоченно нахмурилось. Он как-то странно посмотрел на Бака и почесал лысую голову.

— Она была красивая и храбрая женщина, Бак. Но я не понимаю, почему Дентон отпустил тебя.

Трагедия, нависшая над рестораном Лэнки в тот вечер, никак не сказалась на посетителях. Они встретили

Бака, вышедшего к мультикорду, громом оваций. Когда он остановился, нерешительно кланяясь, его окружили три полисмена.

— Эрлин Бак?

— Да.

— Вы арестованы.

Бак усмехнулся. Дентон не заставил ждать своего следующего хода.

— В чем меня обвиняют? — спросил он.

— В убийстве.

В убийстве Мэриголд Мэннинг.

Опечаленное лицо Лэнки прижалось к решетке, и он неторопливо заговорил.

— У них есть свидетели, честные свидетели, которые видели, как ты выбежал из переулка. У них есть несколько лжесвидетелей, которые видели, как ты стрелял. Один из них — твой друг Халси, ему как раз посчастливилось совершать утренний моцион по той аллее — во всяком случае, он в этом присягнет. Дентон, наверное, не пожалел бы миллиона, чтобы засадить тебя, но в этом нет нужды. Нет нужды даже подкупать присяжных. Настолько убедительны улики против тебя.

— А как насчет пистолета? — спросил Бак.

— Его нашли. Конечно, без отпечатков пальцев. Но кто-нибудь заявит, что ты был в перчатках, или окажется, что видели, как ты обтирал пистолет.

Бак кивнул. Теперь он уже не в силах что-нибудь изменить. Все кончено. Он служил делу, которого никто не понимает, может быть, и он сам не понимал. И проиграл.

— Что же будет дальше?

Лэнки покачал головой.

— Не умею я скрывать плохие вести. Это означает только один приговор: пожизненная ссылка на Ганимедские рудники.

— Понятно,— сказал Бак. И добавил с беспокойством: — А ты будешь продолжать наше дело?

— А чего ты, собственно, хотел добиться, Бак? Ты ведь работал не только на ресторан Лэнки. Я никак не мог в этом разобраться, но я-то был с тобой потому, что ты мне нравишься. И мне нравится твоя музыка. Так чего же ты хотел?

— Не знаю.

Концерт? Тысяча человек, собравшихся слушать музыку? Этого он хотел?

— Музыки, наверное,— сказал он.— Избавиться от коммержсов — или хоть от части коммержсов.

— Да. Да, кажется, я теперь понял. Ресторан Лэнки будет жить, пока я жив. Этот новый мультикордист не так уж плох. Конечно, не то, что ты, но ведь такого, как ты, больше никогда не будет. Мы по-прежнему не можем удовлетворить все заявки на места. Еще несколько ресторанов покончили с видеоскопом и пытаются нам подражать, но мы далеко впереди. Мы будем продолжать то, что начал ты, а твоя треть дохода пойдет тебе. Ее будут начислять на твой счет. Ты станешь богатым человеком, когда вернешься.

— Когда вернусь?

— Ну, пожизненное заключение не обязательно означает заключение на всю жизнь. Смотри, веди себя как следует.

— А как же Вэл?

— О ней позаботятся. Я дам ей какую-нибудь работу, чтобы занять ее.

— Может, я смогу посылать тебе музыку для ресторана,— сказал Бак.— У меня будет много времени.

— Боюсь, что нет. От музыки-то они и хотят держать тебя подальше. Так что сочинять тебе не придется. И к мультикорду тебя не подпустят. Они думают, что ты сразу загипнотизируешь стражу и освободишь всех заключенных.

— А разрешат мне взять с собой коллекцию пластинок?

— Боюсь, что нет.

— Понятно. Что ж, если так...

— Да, так. Теперь за мной уже второй долг Дентону.

У Лэнки, обычно не склонного к проявлениям чувств, стояли слезы в глазах. Он отвернулся.

Присяжные совещались восемь минут и вынесли обвинительный приговор: пожизненное заключение. Комментаторы видеоскопа выражали недовольство: известно, что жизнь на рудниках Ганимеда частенько оказывается слишком короткой.

Среди простых людей все шире распространялся слух, что этот приговор был оплачен заказчиками и хозяевами видеоскопа. Говорили, что Эрлину Баку пришили дело за музыку, которую он подарил народу.

В тот день, когда Бака отправили на Ганимед, было объявлено о публичном выступлении мультикордиста Х. Вэйла и скрипача Б. Джонсона. Вход — один доллар.

Лэнки старательно собрал материал, перекупил одного из подкупленных свидетелей и подал кассационную жалобу. Ее не удовлетворили. Один за другим потянулись годы.

Был организован Нью-Йоркский симфонический оркестр из двадцати инструментов. Роскошный аэромобиль Джемса Дентона разбился, сам Дентон погиб. Несчастный случай. Миллионер, который однажды слышал по видеоскопу игру Эрлина Бака, основал десяток консерваторий. Они должны были носить имя Бака, но один

историк музыки, который ничего не слышал о Баке, переименовал его имя на Баха.

Лэнки умер, и его зять продолжал завещанное ему дело. Была проведена подписка на строительство нового концертного зала для нью-йоркского симфонического оркестра, который теперь насчитывал сорок инструментов. Интерес к этому оркестру рос как лавина, и наконец место для нового зала выбрали в Огайо, чтобы туда легко можно было добраться из любой части Североамериканского континента. Соорудили зал Бетховена на сорок тысяч человек. За первые же двое суток продажи были разобраны все абонементы на первую серию концертов.

Впервые за двести лет по видеоскопу передавали оперу. Там же, в Огайо, был выстроен оперный театр, а потом Институт искусств. Центр рос — сначала на частные пожертвования, потом на правительственную субсидию. Зять Лэнки умер, управление рестораном перешло к его племяннику вместе с делом освобождения Эрлина Бака. Прошло тридцать лет, потом сорок.

Через сорок девять лет, семь месяцев и девятнадцать дней после того, как Баку был вынесен приговор, его помиловали. Ему все еще принадлежала треть дохода самого процветающего ресторана в Манхэттене, и капитал, так долго копившийся, сделал его богатым человеком. Ему было девяносто шесть лет.

Зал Бетховена снова переполнен. Отдыхающие со всей Солнечной системы, любители музыки — владельцы абонементов, старики, которые доживают свой век в Центре, — вся сорокатысячная толпа нетерпеливо колыбалась в ожидании дирижера. Когда он вышел, со всех двенадцати ярусов грянули аплодисменты.

Эрлин Бак сидел на своем постоянном месте в задних рядах партера. Он навел бинокль и разглядывал оркестр,

снова размышляя о том, на что могут быть похожи звуки контрабаса. Все его горести остались на Ганимеде. Жизнь его в Центре стала нескончаемым потоком чудесных открытий.

Разумеется, никто не помнит Эрлина Бака, музыкодела и убийцу. Уже целые поколения людей не помнят коммерсов. И тем не менее Бак чувствовал, что всего этого добился он,— как если бы он построил это здание и сам Центр собственными руками. Он вытянул перед собой руки, изуродованные за многие годы в рудниках. Его пальцы были расплющены, тело изувечено обвалами. Он не жалел ни о чем. Он сделал свое дело, и сделал хорошо.

В проходе позади него стояли два билетера. Один указал на него пальцем и прошептал:

— Ну и тип! Ходит на все концерты. Ни одного не пропустит. Просто сидит тут в заднем ряду да разглядывает людей. Говорят, он был одним из музыкоделов много-много лет назад.

— Может, он любит музыку? — сказал другой.

— Да нет. Прежние музыкоделы ничего не смыслили в музыке. И потом — он ведь глух как тетерев.

Аурел Кришан подтянул крошечный болтик, потом, с удовлетворением оглядев странный прибор, который был детищем его рук, обратился к своему молодому гостю, продолжая прерванный разговор.

— Ты не хочешь меня понять, Дорин... Я говорю не о времени, как его понимал Эйнштейн, а совсем о другом: о длительности. Вот, например, сон длится всего долю секунды, а нам требуется несколько минут, чтобы рассказать его, описать многочисленные и даже логически связанные события, которые молниеносно сменяются одно другим: мозг воспринял их в ритме реальных событий. Тебе, конечно, знакома техника «лупы времени» в кино...

Инженер остановился, видя, что его не слушают. Молодой пианист Дорин Поэнару был занят: он с нескрываемым интересом разглядывал множество приборов, которыми были заполнены обе комнаты.

— Я вижу, ты превратил свою квартиру в мастерскую или лабораторию... Они тебе не мешают?

— Что? Приборы? Нисколько. Напротив, только среди них я чувствую себя хорошо и по-настоящему как дома... Если бы я ими не увлекался, что бы мне оставалось делать в свободное время?!

Поэнару, зная, что свободное время можно занять и чем-нибудь другим, легонько похлопал друга по плечу и улыбнулся:

— Ты совсем не изменился, Аурел: такой же чудаки и

выдумщик, как и всегда... Помнишь, как называли тебя товарищи в школе? Колдуном! Из-за маленьких фокусов, которые ты придумывал почти каждый день. А сейчас, при виде всех этих странных аппаратов, я думаю, что ты еще больше преуспел в колдовстве...

Инженер опустил в кресло, закурил сигару и, отгородившись облаком дыма, задумчиво произнес:

— Гм... Действительно, мне кажется, что я похож на колдуна. Только не на такого, как Мерлин, скорее, как Эдисон... Ты знаешь, современники тоже называли его колдуном. Так вот, с помощью своих аппаратов я могу вершить такие чудеса, какие раньше полагалось делать только колдунам.

Пианист засмеялся.

— Вот как? А у меня тоже есть аппарат, с помощью которого я могу околдовывать людей: мой роаль!

На мгновение ему показалось, что инженер обиделся, но тот продолжал спокойно курить.

— Ты прав,—ответил он наконец.—По-своему ты тоже колдун. Я понял это вчера на концерте.—Он смял в пепельнице докуренную до половины сигарету и добавил:—А я не узнал тебя; правда, прошло уже столько лет с тех пор, как мы расстались...

— Но ты ведь знал, что я живу в этом же городе!.. Действительно, если бы я не встретил тебя вчера на концерте и сегодня не пришел к тебе... Кстати, ты хотел показать мне что-то интересное.

Аурел Кришан словно не слышал его.

— Так, значит, ты пианист... гм! И довольствуешься тем, что исполняешь музыку? Ты никогда не сочинял сам?

— Сочинять? — Поэнару снова улыбнулся.—Я пробовал; все музыканты пробуют.

Инженер с отверткой в руке снова хлопотал у аппарата.

— Я люблю музыку, хотя в сущности я не меломан.— Он положил отвертку на стол и пристально поглядел на своего друга.— Особенно мне нравится «Кастильская серенада» Пабло Суареса; я мог бы слушать ее целыми часами...

— «Кастильская серенада»? — Пианист призадумался на минуту.— Не знаю; напomini; возьми несколько аккордов.

Инженер в свою очередь улыбнулся:

— Не решусь; я умею слушать, но не играть.

Он подошел к аппаратам, громоздившимся на столике в углу комнаты.

— Поскольку речь зашла о музыке, я хочу показать тебе один из моих приборов; уверен, что он тебя заинтересует. Это мое последнее изобретение, и не удивительно, если оно найдет применение только в твоей области. Собственно, я и пригласил тебя именно затем, чтобы показать...

Пианист подошел: ему было интересно, хотя он не мог ничего понять в хитросплетении катушек, сопротивлений, конденсаторов, транзисторов, ламп, причудливых стеклянных трубок и других бесчисленных деталей, соединенных между собой путаницей разноцветных проводов.

— Не буду докучать тебе специальными объяснениями, но кое-что сказать все-таки нужно. Этот аппарат предназначен для того, чтобы слушать,— он вполне может заменить ухо. Ты знаешь, конечно, что у наших органов чувств есть специальные центры в мозгу... Нет, не пугайся: я не собираюсь читать тебе лекцию по анатомии и физиологии нервной деятельности; хочу только напомнить, что на эти центры можно воздействовать и другими способами, кроме обычных, вызывая или изменяя специфические ощущения. Резкая боль, удар, особенно

по темени, вызывают ощущение световой вспышки, когда «искры сыплются из глаз»; человеку, отравленному сантонином, все кажется фиолетовым, так как это вещество действует на зрительные центры...

Так вот, я нашел способ воздействовать на слуховые центры через осязание. Погоди, не спеши; делать замечания будешь после. Сначала я докажу тебе, что говорю сущую правду. Ну-ка, садись сюда. Теперь положи руки на эту пластину, вот так... ладони плотно прижаты, пальцы вытянуты... хорошо! Любуешься узором? Пластина неоднородна: она состоит из множества шестиугольных ячеек. Теперь включим аппарат; будь внимателен и говори мне, что услышишь.

С этими словами инженер нажал тумблер. Скорее от изумления, чем от неприятного ощущения, пианист тотчас же отдернул руки.

— Не снимай рук, Дорин, и говори мне обо всем, что слышишь. Не бойся, оно не кусается.

Поколебавшись немного, пианист снова положил руки на пластину прибора.

— Ну? Ты слышишь что-нибудь?

— Да, вальс из «Коппелии», исполняемый на рояле.

Дорин Познару приподнял одну руку, потом другую, потом положил их снова, стараясь понять, каким образом он слышит музыку, прикасаясь ладонями к пластине.

— Можно прикасаться где угодно, «слышать» будет только акустический аппарат.— Инженер протянул Дорину кусок воска, который уже несколько минут разминал в пальцах.— Вот, заткни себе уши.

Пианист пожал плечами и взял воск.

— Попробую...

Он никогда еще не затыкал себе уши воском, так что не очень доверял своему умению; но, сверх всякого ожидания, это ему удалось.

— Действительно, я ничего не слышу!

Он снова сел и, вытянув пальцы, прижал к пластине руки.

— А теперь я слышу «Балладу» Чиприана Порумбеску в скрипичном исполнении...

По движению губ он видел, что его друг что-то говорит.

— Я не слышу. погоди, выну воск из ушей.

С помощью Кришана он проделал это очень быстро.

— Замечательно, Аурел! Этим аппаратом смогут пользоваться и глухие?

— Если у них нет серьезных повреждений слухового центра в мозгу, то да.

— Значит, ограничения есть?..

— Э, в сравнении с тем, что было до сих пор... Подумай: слуховые протезы, какими бы совершенными они ни были, помогают только тем, у кого пониженный слух: они усиливают звук и приближают его к воспринимающему органу; а с моим аппаратом можно обойтись совсем без ушей и без слухового нерва. Разве это не прогресс?

Положив руки на пластинку аппарата, глядя куда-то вдаль, Познару глубоко задумался, а инженер внимательно наблюдал за ним.

— Ну?

Пианист даже вздрогнул.

— Сейчас исполняют «Вечернюю звезду».

— И как, тебе нравится?

— Гм! Разве об этом скажешь! Но все-таки я не понимаю: я думал, что органы чувств отвечают на специфические раздражители...

— Обычно так и бывает, но может случиться иначе; доказательство — неадекватные раздражители.

— Ах, да! Кажется, ты приводил два примера...

— Я мог бы привести и двадцать два. Знаешь ли ты, что нервные окончания в коже чувствительны к свету и звуку? Но нервный ток, возникающий при этом, слишком слаб и никогда не достигает порога ощущения. Так вот, по крайней мере в отношении звука, мне удалось усилить его; получился искусственный нервный ток, бегущий по нервам, как по проводам...

— Искусственный нервный ток? Но я слышал...

— Ты ничего не мог слышать; я говорю о потоке нейротропных ионов со специфическим сродством к слуховым центрам мозга. Если ты меня понял...

— Ты обещал не надоедать мне техническими подробностями!

Инженер расхохотался.

— Но ты ведь сам хотел знать...

— Послушай, на сегодня с меня довольно теорий; я предпочитаю что-нибудь практическое.

Больше двух часов занимались друзья необычайным прибором — изобретением Аурела Кришана. Инженер проводил различные испытания, требуя от Познару, чтобы тот рассказывал или напевал все, что услышит «через пальцы». Эта игра захватила их настолько, что они забыли о времени; только когда инженер зажег свет, пианист увидел, что уже настали сумерки.

— Я должен идти, Аурел.— Он снова взглянул на аппарат и добавил: — Знаешь, твое изобретение очень заинтересовало меня. Это не удивительно: ведь мое искусство обращается к человеку с помощью звука. Возможность проникнуть в глубину души слушателя, обогатить его чувства эмоциями, ранее для него недоступными, передать ему то, что выражает музыка Бетховена и Баха, Чайковского и Шопена... что может быть чудеснее? Ты позволишь мне время от времени навещать тебя?

Инженер сжал его руку.

— Я даже прошу об этом. Я только о том и мечтал, чтобы принести людям пользу. Правда, я имел в виду глухих, не могущих пользоваться слуховыми протезами; моим первым стремлением было разрушить стену молчания, отделяющую их от мира звуков, но я не думал о том, чтобы использовать музыку. Конечно, приходи ко мне; я всегда буду рад тебя видеть. Обычно я сразу иду с работы домой, вот только вчера был на концерте...

На пороге Кришан снова задержал его.

— Знаешь, почему я спросил, сочиняешь ли ты музыку? Мне хотелось провести еще один опыт. Для этого необходимо записать мелодию в присутствии ее автора...

— Не знаю, зачем тебе автор, но могу рекомендовать одного композитора: я знаю даже...

Инженер поспешно прервал его:

— Нет, нет, не нужно! Пожалуйста, вообще не говори никому о моем аппарате. Обещаешь? Сочини что-нибудь сам, хотя бы самое простое; я уверен, ты сможешь.

И он добавил с улыбкой:

— Может быть, у тебя есть любимая девушка? Посвяти мелодию ей: любовь — вечный источник вдохновения для артистов.

Поэнару весело хлопнул друга по плечу и крепко стиснул ему руку.

— Хорошо, я попробую!

По пути домой Поэнару размышлял о необычности того, что он увидел; он не мог отделаться от мыслей о Кришане и его аппаратах.

Они с Кришаном были товарищами по лицу, но потом пути их разошлись; каждый остался верен своему

призванию. Дорин Поэнару уже стал известным пианистом, хотя ему было только 28 лет, и перед ним открылось блестящее будущее.

Прежнего своего товарища он узнал сразу же, хотя тот изменился. Инженер Кришан был высок и худощав, его лицо, однажды увидев, нельзя было забыть: лоб выпуклый, высокий; длинный и тонкий орлиный нос, взгляд пристальный, губы полные, немного чувственные, подбородок энергичный. Аурела Кришана, умного и изобретательного человека, ценили на работе, хотя он держался замкнуто и друзей у него было немного; он не чуждался людей, но был целиком поглощен занятиями, которым отдавал почти все свободное время. На предприятии он внедрял ценные изобретения и усовершенствования вместе с коллективом сотрудников; но дома у него были приборы, над которыми он работал в одиночку, тратя на них значительную часть зарплаты.

— На предприятии я работаю, а дома развлекаюсь,— обычно говорил он.

Дорин Поэнару не знал обо всех его делах; но, увидев своего прежнего друга в привычной обстановке, он невольно вспомнил данное ему когда-то прозвище. И действительно, манипуляции Кришана с его приборами раньше сочли бы колдовством. Слышать через осязание!.. Молодой пианист знал, что некоторые звуковые вибрации можно воспринимать на ощупь, например вибрацию скрипичной струны под пальцем. Но отсюда до восприятия целых мелодий с помощью осязания — дистанция огромного размера. Это казалось ему чем-то совершенно фантастичным; последствий такого изобретения нельзя было предвидеть, так как оно открывало перед познанием новые пути и расширяло спектр ощущений. Дорина, разумеется, интересовало прежде всего искусство. Что нового он может внести в эту область?!

Изобретению Аурела очень обрадуются многие глухие: перед ними раскроется чудесный мир звуков и все сокровища искусства, вдохновляемого музыкой Эвтерпой. Ну а как понять желание Кришана записать мелодию в присутствии автора? Конечно, звуки можно запечатлеть на ленте, вроде магнитофонной; прибор преобразует их в электрический ток или другую форму энергии, которую передаст на пластину с тонкой шестиугольной мозаикой, а там осязательные окончания в коже воспримут их. Все это вполне понятно; но присутствие композитора... Ну, в конце концов увидим... Да, он сочинит мелодию; попытается еще раз, хотя, конечно, не будет особенно настойчивым: он ведь целиком посвятил себя исполнительскому искусству...

Погруженный в свои мысли, Дорин Поэнару подошел к дому. Квартира у него была комфортабельная, хотя комфорт сам по себе мало что для него значил. Главенствующее положение в доме занимал рояль, и Дорин остановился перед ним, едва войдя. Здесь же, на рояле, была и Кармен, улыбавшаяся ему со стереофотографии. Он взял снимок и тоже улыбнулся, разглядывая его. Может быть, Кришан догадался, что он влюблен? Может быть, не случайно сказал, что мысль о любимой женщине — это источник вдохновения? Он поставил снимок на место и подсел к роялю. Его тонкие, искусные пальцы легко пробежали по клавиатуре из конца в конец, туда и обратно, снова и снова, наполняя комнату каскадом причудливых звуков. И вдруг руки замерли в воздухе, он прислушался, словно ловя где-то в глубине себя интересный аккорд; попытался воспроизвести его, сначала неуверенно, потом все с большей свободой, а потом к этому аккорду присоединился другой, словно поджидавший рядом. Взгляд его упал на портрет, и он снова улыбнулся. Какая Кармен красавица!

Похожа на... Да, но на кого же она похожа? Перед его внутренним взором промелькнуло множество знаменитых актрис театра и кино. Нет, Кармен ни на одну из них не похожа. Конечно, она напоминает испанку! Он прищурил глаза, и ему показалось, что лицо на портрете улыбается ему из-под кружевного веера, в пируэте болеро. Но руки продолжали свое дело: за первыми двумя аккордами последовали другие, и Поэнару вдруг понял, что они могут стать началом мелодии.

— Кармен и вправду вдохновляет меня! — воскликнул он, поспешно хватая бумагу и карандаш. На обороте подвернувшейся под руку партитуры появились первые такты нового произведения. — Кармен вдохновляет, это несомненно: в мелодии определенно есть испанский оттенок.

Дорин Поэнару еще долго оставался за роялем, записывая ноты; они рождались одна за другой; ему казалось, что мелодия сама собой возникает у него в мозгу, как будто он давно знал ее. Но она была новой и своеобразной. Пианист, обладающий широкой музыкальной культурой, он понимал, что речь идет о настоящем новом произведении — может быть, не последнем крике моды, но далеко не лишенном ценности.

Выведя две заключительные ноты, усталый Дорин Поэнару с удовлетворением произнес:

— Кришан, конечно, удивил меня, но и я удивлю его не меньше: он просто рот разинет, когда увидит, как быстро и легко я сочиняю музыку! Кажется, только сегодня я открыл свое настоящее призвание: отныне я посвящу всю свою жизнь композиции.

Аурел Кришан с отверткой в руке встретил своего друга на пороге.

— Я не помешал? Как видишь, я, не откладывая в долгий ящик, воспользовался твоим приглашением, и вот...— Пианист запнулся.

— Ты мне не мешаешь: я даже ждал тебя.

— Ждал?— с невольным удивлением спросил пианист. Инженер слегка смутился.

— То есть... я думал, что ты придешь: я ведь приглашал тебя.

С этими словами он подвел гостя к креслу.

— Садись, пожалуйста.

— Спасибо. Но я вижу, ты занят...

— Э! Не обращай внимания: я всегда бываю занят.

Они обменялись еще несколькими банальными фразами, потом Дорин Поэнару перешел к делу.

— Знаешь, я вчера от нечего делать решил сочинить музыку, и, насколько я понимаю...

Инженер вздрогнул.

— Тебе это удалось?

Пианист притворно-скромно протянул ему несколько листов бумаги.

— Вот, я сочинил кое-что; ты сказал, чтобы я сделал что-нибудь, и это словно вдохновило меня...

Аурел Кришан взял листки, пробежал их глазами, потом направился к шкафчику и, достав оттуда нотную тетрадку, подал Поэнару. Тот вопросительно взглянул на него и, увидев, как Аурел кивнул, взял ноты. Но едва он прочитал первые такты, как вскочил, бледный, обуреваемый смятением.

— Что это значит?

В противоположность ему инженер оставался совершенно спокойным.

— Что значит?— повторил он.— Как видишь, одна и та же вещь: но вот эта называется «Кастильская сере-

нада» Пабло Суареса, а эта — «Испанская фантазия», подписанная Дорином Поэнару.

Пианист вырвал ноты из рук Кришана, сравнил их со своей рукописью, вертел так и этак, но перед лицом очевидности должен был сдаться. Он упал в кресло, разбитый и недоумевающий, и лишь через некоторое время нашел в себе силы пробормотать несколько слов.

— Что за шутка, боже мой, что за шутка!.. Хорошо, что я не известил Кармен...

В душе у него досада смешалась с горечью, разочарованием, недоумением. Но вместе с тем он не мог не восхищаться своим другом, который, быть может, случайно, оказался замешанным в эту странную историю. Дрожащими пальцами он ослабил узел галстука, пока Кришан, скрестив руки, смотрел на него спокойно, почти изучающе. Его спокойствие вывело Дорина из себя, и он взорвался:

— Что это значит? Говори сейчас же, как ты это сделал... колдун!

— Если ты хочешь знать...

— Хочу ли! Разве ты не видишь, что я умираю от нетерпения?

— Ну так вот: признай прежде всего, что «Кастильскую серенаду» написал не ты, а Суарес больше века назад.

— Признаю; что же дальше?

— Вчера, когда ты сказал, что не знаешь этой вещи, я без твоего ведома играл ее тебе с помощью моего аппарата.

— Без моего ведома?

— Вот именно. Таким образом, сам того не сознавая, ты выучил «Кастильскую серенаду» наизусть, запомнил и мою просьбу сочинить что-нибудь, как только придешь домой, а на следующий день принести мне.

— Это похоже на гипноз, на внушение; я кое-что об этом знаю, но не помню, чтобы ты вчера гипнотизировал меня.

Аурел Кришан сел рядом с ним.

— Сходные результаты можно получить разными путями. Например, внушения, получаемые в гипнотическом сне, запечатлеваются в нервных центрах помимо нашего сознания, хотя мы воспринимаем их органами чувств. Так вот, незаметно для тебя, контрабандой я передал тебе эту мелодию. Как я это сделал? Сейчас объясню.

Он встал и привел в действие аппарат, оказавшийся очень усовершенствованным магнитофоном.

— Здесь находится вся программа, которую ты вчера «слушал пальцами»; сейчас ты можешь воспринимать ее обычным путем. Послушай и, пожалуйста, скажи, замечаешь ли ты что-нибудь?

Минут 10—15 Дорин Поэнару слушал звуки различных инструментов, музыкальные фразы и знакомые шумы.

— Ну?

— Ничего не замечаю...

— Хочешь, я помогу тебе? Прислушайся: время от времени, через определенные интервалы, слышится какой-то короткий, резкий звук. Верно?

Пианист прислушался; действительно, что-то короткое и резкое по временам вклинивалось между двумя нотами мелодии или двумя словами фразы.

— Это «Кастильская серенада» в «концентрированном» виде и моя просьба сочинить что-нибудь. Погоди, я включу замедлитель.

Инженер чуть повременил, а затем повернул переключатель. Звуки исполняемой мелодии становились все ниже и протяжнее, а потом и вовсе умолкли, сме-

нившись «Кастильской серенадой», играемой в очень быстром темпе и на самых высоких нотах. Продолжая поворачивать верньер, Кришан добился нормальной тоналности и темпа.

— Видишь? Нервные центры воспринимают эту музыку в очень сконцентрированной форме, у порога длительности ощущения, а передают в сознание в нормальном темпе. Подобное же происходит и во сне, когда нервные центры регистрируют события за долю секунды — столько времени обычно занимает приснившийся сон.

Вид у Поэнару был довольно жалкий, и он не мог придумать ничего более остроумного, чем спросить:

— И ты каждый раз проигрывал с начала до конца?

— Разумеется; ты ведь должен был ее запомнить. За эти два часа ты слушал ее раз шестьдесят.

Он помолчал немного, потом снова заговорил.

— Ты, вероятно, знаешь, что этот способ совсем не новый и не оригинальный. В середине XX века, когда в отдельных странах существовали капиталистические порядки, некоторые западные фирмы помещали свои рекламы между двумя кадрами кинофильма. Реклама шла так быстро, что глаз не успевал ее увидеть; однако она регистрировалась нервными центрами мозга, оставалась в подсознании и влияла на решение покупателей в пользу рекламируемых товаров. Способ был признан нечестным и заклеен.

Дорин Поэнару встал, готовясь уйти.

— Я стал жертвой мистификации, но не в обиду на тебя: зато я познакомился с изобретением...

— Дорин, прости меня, — прервал его инженер. — Мне необходимо было провести на ком-нибудь этот опыт. Встретив тебя, вспомнив о нашей прежней дружбе, я решил возобновить ее и показать тебе кое-какие из моих

работ. Что из этого получилось, тебе известно. Но если хочешь знать... мне очень нужна твоя помощь.

Пианист изумленно взглянул на него:

— Не понимаю.

— Сейчас объясню. В сегодняшнем эксперименте ты видишь только шутку, мистификацию, на самом деле он был необходим для того, чтобы сделать еще один шаг к созданию слухового аппарата. Цель моих исследований — совсем не в том, чтобы сконцентрировать музыкальную фразу, насколько это возможно, и в таком виде передать ее нервным центрам. С помощью вот этого аппарата я записывал всевозможные шумы, визги, скрипы, щебеты, какие встречаются в природе, и анализировал их в «замедлителе». Так вот, выяснилось, что многие из них содержат поразительные аккорды. И знаешь, к какому выводу я пришел? Природа оказывает на творчество человека гораздо более непосредственное воздействие, чем мы до сих пор думали: в ропоте воды, в шуме ветра, в шорохе листьев, в стрекоте кузнечиков сконцентрированы музыкальные элементы; слуховые центры некоторых людей, одаренных особой чувствительностью, воспринимают их, а потом, пройдя через фильтр сознания, они возвращаются к нам в виде музыкальных композиций.

Не много найдется таких людей, чье ухо чувствительно к гармонии природных шумов, и даже музыка не так насыщена этой гармонией, как могла бы быть. Но слуховой аппарат, более чуткий, чем ухо, и основанный на других принципах, может заполнить этот пробел в человеческой природе. Послушай, я отобрал ряд шумов, содержащих не известные тебе музыкальные элементы; правда, здесь множество диссонансов, но это ничего. Я хочу дать их тебе прослушать с помощью слухового аппарата, как сделал с «Кастильской серенадой», а ты

попробуешь написать музыку на их основе; так мы проверим гипотезу, которую я тебе изложил. Хочешь? Ну, соглашайся же!.. Каждый из людей в одиночку может хорошо выполнить часть какого-либо дела: но чтобы выполнить все, люди должны объединить усилия, должны сотрудничать. Действуя вместе, мы поможем человечеству овладеть еще одной из бесчисленных тайн природы и обогатить самое популярное из искусств...

Пианист решил принять предложение своего друга, хотя у него еще оставались сомнения. Подойдя к слуховому аппарату, он долго смотрел на него.

— Не знаю, возможно ли и осуществимо ли то, о чем ты мне говорил, или это лишь фантазия мечтателя. Одно только скажу наверняка: глухие будут тебе благодарны.

— Ах да, хорошо, что ты мне напомнил...— И инженер, схватив отвертку, вернулся к аппарату, над которым работал перед приходом друга. Пианист с интересом следил за его движениями.

— Садись; я могу и работать и разговаривать.

— А что ты делаешь?

— Черт побери! Я думаю, что должен порадовать и слепых; уж не хочешь ли ты, чтобы они завидовали глухим?

Возвращаясь вечером домой, Дорин Поэнару словно продолжал видеть перед собой своего друга — его высокую фигуру, четкий профиль; обернувшись, он не удержался и снова прошептал:

— Колдун!

Внезапно он вспомнил свою смерть. Однако он увидел ее как бы отодвинутой на двойное расстояние: будто вспоминал о воспоминании, а не о событии, будто на самом деле он не был там действующим лицом.

И все же воспоминание было его собственным, а вовсе не воспоминанием какой-нибудь сторонней бестелесной субстанции, скажем, его души. Отчетливее всего он помнил, как неровно, со свистом втягивал воздух. Лицо врача, расплываясь, склонилось, замаячило над ним, приблизилось — и исчезло из его поля зрения, когда врач прижался головой к его груди, чтобы послушать легкие.

Стремительно сгустилась тьма, и тогда только он осознал, что наступают последние минуты. Он изо всех сил пытался выговорить имя Полины, но не помнил, удалось ли это ему; помнил лишь свист и хрип да черную дымку, на какой-то миг заставшую глаза.

Только на миг — и воспоминание оборвалось. В комнате снова было светло, а потолок, заметил он с удивлением, стал светло-зеленым. Врач уже не прижимал голову к его груди, а смотрел на него сверху вниз.

Врач был не тот: намного моложе, с аскетическим лицом и почти остановившимся взглядом блестящих глаз. Сомнений не было: это другой врач. Одной из его последних мыслей перед смертью была благодарность судьбе за то, что при его кончине не присутствовал врач, который тайно ненавидел его за былые связи. Нет,

выражение лица у того лечащего врача наводило на мысль о каком-нибудь светиле швейцарской медицины, призванном к смертному одру знаменитости: к волнению при мысли о потере столь знаменитого пациента при-мешивалась спокойная уверенность в том, что благодаря возрасту больного никто не станет винить в его смерти врача. Пенициллин пенициллином, а воспаление легких в восемьдесят пять лет — вещь серьезная.

— Теперь все в порядке,— сказал новый доктор, освобождая голову пациента от сетки из серебристых проволочек.— Полежите минутку и постарайтесь не волноваться. Вы знаете свое имя?

С опаской он сделал вдох. Похоже, что с легкими все в порядке. Он чувствовал себя совершенно здоровым.

— Безусловно,— ответил он, немного задетый.— А вы свое?

Доктор криво улыбнулся.

— Характер у вас, кажется, все тот же,— сказал он.— Мое имя Баркун Крис; я психоскульптор. А ваше?

— Рихард Штраус. Композитор.

— Великолепно,— сказал доктор Крис и отвернулся.

Мысли Штрауса, однако, были заняты уже другим странным явлением. По-немецки Strauss не только имя, но и слово, имеющее много значений (битва, страус, букет), и фон Вольцоген в свое время здорово повеселился, всячески обыгрывая это слово в либретто оперы «Feuersnot*». Это было первое немецкое слово, произнесенное им с того, дважды отодвинутого мига смерти! Язык, на котором они говорили, не был ни французским, ни итальянским. Больше всего он походил на английский, но не на тот английский, который знал

* «Без огня» (нем.).

Штраус; и тем не менее говорить и даже думать на этом языке не составляло для него никакого труда.

«Что ж,—подумал он,—теперь я могу дирижировать на премьере «Любви Данаи». Не каждому композитору дано присутствовать на посмертной премьере своей последней оперы». И однако во всем этом было что-то очень странное, и самой странной была не покидавшая его мысль, что мертвым он оставался совсем недолго. Конечно, медицина движется вперед гигантскими шагами, это известно каждому, однако...

— Объясните мне все,—сказал он, приподнявшись на локте. Кровать тоже была другая, далеко не такая удобная, как его смертное ложе (удивительно, до чего легко пришло к нему это слово!). Что до комнаты, то она больше походила на электромеханический цех, чем на больничную палату. Неужто современная медицина местом воскрешения мертвых избрала цеха завода Сименс-Шукерт?

— Минуточку,—сказал Крис. Он был занят: откатывал какую-то машину туда, где, раздраженно подумал Штраус, ей и следовало быть. Покончив с этим, врач снова подошел к койке.

— Прежде всего, доктор Штраус, многое вам придется принять на веру, не понимая и даже не пытаясь понять. Не все в сегодняшнем мире объяснимо в привычных для вас терминах. Пожалуйста, помните об этом.

— Хорошо. Продолжайте.

— Сейчас,—сказал доктор Крис,—2161 год по вашему летоисчислению. Иными словами, после вашей смерти прошло 212 лет. Вы, конечно, понимаете, что от вашего тела за это время остались только кости, которые мы не стали тревожить. Ваше нынешнее тело предоставлено вам добровольно. Сходство его с вашей

прежней телесной оболочкой совсем небольшое. Прежде, чем вы посмотрите на себя в зеркало, знайте, что физическое различие между нынешним телом и прежним целikom в вашу пользу. Ваше нынешнее тело в добром здравии, довольно приятно на вид, его физиологический возраст — около пятидесяти, а в наше время это поздняя молодость.

Чудо? Нет, теперь чудес не бывает — просто достижение медицины. Но какой медицины!

— Где мы находимся? — спросил композитор.

— В Порт-Йорке, части штата Манхэттен, в Соединенных Штатах. Вы обнаружите, что в некоторых отношениях страна изменилась меньше, чем вы, может быть, ожидаете. Другие перемены, конечно, покажутся вам разительными, но мне трудно предвидеть, какие именно произведут на вас большее впечатление. Неплохо, если вы выработаете в себе известную гибкость.

— Понимаю, — сказал Штраус, садясь в постели. — Еще один вопрос. Может ли композитор заработать себе на жизнь в этом столетии?

— Вполне, — с улыбкой ответил доктор Крис. — Как раз этого мы от вас и ожидаем. Это одна из причин, почему мы... вернули вас.

— Значит, — голос Штрауса зазвучал несколько суше, — моя музыка по-прежнему нужна? В свое время кое-кто из критиков...

— Дело обстоит не совсем так, — перебил его доктор Крис. — Насколько я понимаю, некоторые из ваших произведений исполняются до сих пор, но, откровенно говоря, о вашей нынешней популярности я знаю очень мало. Меня интересует скорее...

Где-то отворилась дверь, и появился еще один человек. Он был старше и солиднее Криса, в нем было что-то академическое, но, как и Крис, он носил хирургиче-

ский халат странного покроя и смотрел на пациента горящим взглядом художника.

— Удача, Крис? — спросил он. — Поздравляю.

— Повремени, — сказал доктор Крис. — Важно завершающее испытание. Доктор Штраус, если вы не чувствуете слабости, мы с доктором Сейрдсом хотели бы задать вам несколько вопросов. Нам хотелось бы проверить ясность вашей памяти.

— Конечно. Пожалуйста!

— По нашим сведениям, — сказал доктор Крис, — вы были когда-то знакомы с человеком, чьи инициалы — Р.К.Л.; вы тогда были дирижером венской Staatsoper. — Произнося это слово, он протянул двойное «а» по меньшей мере вдвое дольше, чем следовало, как будто немецкий язык был мертвым и Крис старался правильно воспроизвести классическое произношение. — Как его звали, и кто это такой?

— Должно быть, Курт Лист: его первое имя было Рихард, но его так никогда не называли. Он был ассистентом режиссера. И не бесталанным; он же учился у того ужасного молодого человека, Берга... Альбана Берга.

Врачи переглянулись.

— Почему вы вызвались написать увертюру к «Женщине без тени» и подарили городу Вене ее рукопись?

— Чтобы избежать уплаты налога за уборку мусора на вилле Марии-Терезы, которую подарил мне город.

— На заднем дворе вашего имения в Гармиш-Партенкирхене был могильный камень. Что на нем вырезано?

Штраус нахмурился. Он бы с радостью не ответил на этот вопрос. Даже если тебе вдруг взбрело в голову по-ребячески подшутить над самим собой, лучше все же не увековечивать шутку в камне, тем более там, где она

у тебя перед глазами всякий раз, когда ты чинишь свой мерседес.

Он ответил устало:

— Там вырезано: «Посвящается памяти Гунтрама, миннезингера, злодейски убитого собственным симфоническим оркестром его отца».

— Когда состоялась премьера «Гунтрама»?

— В... минуточку... по-моему, в 1894 году.

— Где?

— В Веймаре.

— Как звали примадонну?

— Полина де Ана.

— Что с ней потом случилось?

— Я женился на ней.— Штраус разволновался.— А ее тоже?..

— Нет,— сказал Крис.— Мне жаль, доктор Штраус, но, для того чтобы воссоздавать более или менее заурядных людей, нам не хватает о них данных.

Композитор вздохнул. Он не знал, горевать ему или радоваться. Конечно, он любил Полину. Но, с другой стороны, для него начинается новая жизнь. И вообще-то приятно, если, входя в дом, не надо обязательно разуваться только ради того, чтобы не поцарапать полированного паркета. И наверное, будет приятно, если в два часа дня ему не придется больше слышать магическую формулу, которой Полина разгоняла гостей: «Richard jetzt komponiert!» *

— Следующий вопрос,— сказал он.

По причинам, не ведомым Штраусу, но принятым им как должное, ему пришлось расстаться с докторами Крисом и Сейрдсом сразу же после того, как оба они

* «Ричард сочиняет музыку!» (нем.).

с удовлетворением убедились в том, что память его надежна и сам он здоров. Имение его, как ему дали понять, давным-давно превратилось в руины (такова была печальная участь того, что было когда-то одним из крупнейших частных владений в Европе), но денег ему дали достаточно: он мог обеспечить себя жильем и вернуться к активной жизни. Ему также помогли завязать полезные деловые знакомства.

К переменам в одной лишь музыке ему пришлось приспособливаться дольше, чем он ожидал. Музыка, как он вскоре заподозрил, превратилась в умирающее искусство, которому в ближайшем будущем суждено было оказаться примерно в том же положении, в каком искусство составлять букеты находилось в XX веке. Тенденция к дроблению, отчетливо наметившаяся еще в период его первой жизни, в 2161 году почти достигла логического завершения.

Нынешним американским популярным песням он уделял так же мало внимания, как их предшественницам в своей прежней жизни. Однако было совершенно ясно, что поточные методы, которыми они создаются (ни один теперешний автор баллад не скрывал того, что пользуется похожим на логарифмическую линейку устройством, называвшимся «шлягер-машинка»), применяются теперь почти во всей серьезной музыке.

Консерваторами, например, считали теперь композиторов-додекафонистов. По мнению Штрауса, они всегда были сухой и умствующей кастой, но не в такой степени, как теперь. Их кумиры (Шенберг, Берг, фон Веберн) в глазах любителей музыки были великими мастерами, пусть не очень доступными, но достойными такого же поклонения, как Бах, Брамс или Бетховен.

Было, однако, крыло консерваторов, перещеголявшее додекафонистов. То, что писали эти люди, называлось

«стохастической музыкой», там выбор каждой отдельной ноты осуществлялся по таблицам случайных чисел. Библией этих композиторов, их манифестом был том, озаглавленный «Операциональная эстетика», а его в свою очередь произвела на свет научная дисциплина, именуемая «теория информации», и было ясно, что книга эта ни единым словом не касается методов и приемов композиции, известных Штраусу. Идеалом, к которому стремилась эта группа, была «всеобъемлющая» музыка, где и следа не осталось бы от композиторской индивидуальности, этакое музыкальное выражение всеобъемлющих законов случая. По-видимому, законам случая свойствен собственный, характерный только для них стиль, но, по мнению Штрауса, это стиль игры малолетнего идиота, которого учат барабанить по клавишам расстроенного рояля, только бы он не занялся чем-нибудь похуже.

Но подавляющее большинство создаваемых музыкальных произведений относилось к категории, явно незаслуженно именовавшейся «научная музыка». Это название отражало лишь темы произведений: в них речь шла о космических полетах, путешествиях во времени и тому подобных романтических или фантастических предметах. В самой музыке не было и тени научности — лишь мешанина штампов, подражаний и записей естественных шумов (часто настолько искаженных, что невозможно было угадать их происхождение), а также стилизованных трюков, причем Штраус, к своему ужасу, часто узнавал собственную искаженную временем и разбавленную водичкой манеру.

Самой популярной формой научной музыки была девятиминутная композиция, так называемый концерт, хотя ничего общего между ним и классическим концертом не было; скорее это напоминало свободную рап-

содию в духе Рахмаинова, но Рахманинова безбожно перевернутого. Типичным для этого жанра был концерт «Песнь дальнего космоса», написанный неким Х. Вальерионом Крафтом. Концерт начался громким неистовством тамтама, после чего все струнные тотчас же в унисон понеслись вверх по хроматической гамме; за ними, на почтительном расстоянии, следовали параллельными кварт-секст-аккордами арфа и одинокий кларнет. На самой вершине гаммы загремели цимбалы, *forte possibile*, и оркестр, весь целиком, излился в мажорно-минорном вопле — весь, кроме валторн, которые ринулись вниз по той же гамме (это должно было означать контртемпу). Солирующая труба с явным намеком на тремоло подхватила контртемпу, оркестр до нового всплеска впал в клиническую смерть, и в этот миг, как мог бы предсказать любой младенец, вступил со второй темой рояль.

Позади оркестра стояли тридцать женщин, готовые хором пропеть песню без слов, чтобы создать ощущение жути космических пространств; но Штраус уже научился вставать и уходить, не дожидаясь этого момента. После нескольких таких демонстраций он мог быть уверенным, что в фойе его поджидает Синди Ханесс, агент, с которым его свел доктор Крис. Синди Ханесс взял на себя сбыт творческой продукции возрожденного к жизни композитора — сбыт того немногого, что успело за это время появиться. Синди уже перестали удивлять демонстрации клиента, и он терпеливо ждал, стоя под бюстом Джан-Карло Менотти: но эти выходы нравились ему все меньше и меньше, и последнее время он отвечал на них тем, что попеременно краснел и бледнел, как рекламные неоновые огни.

— Не надо было этого делать, — взорвался он после случая с «Песней дальнего космоса». — Нельзя

просто так вот покинуть зал во время нового краффовского концерта. Как-никак, Краффт — президент Межпланетного общества современной музыки. Как мне убедить их в том, что вы тоже современный, если вы все время щелкаете их по носу?

— Какое это имеет значение? — возразил Штраус. — В лицо они меня все равно не знают.

— Ошибаетесь. Они знают вас очень хорошо и следят за каждым вашим шагом. Вы первый крупный композитор, за которого рискнули взяться психоскульпторы, и МОСМ был бы рад случаю избиваться от вас.

— Почему?

— О, — сказал Синди, — по тысяче причин. Скульпторы — снобы. Ребята из МОСМа — тоже. Одни хотят доказать другим, что их искусство важнее всех прочих. А потом ведь существует и конкуренция: проще отделаться от вас, чем допустить вас на рынок. Поверьте мне, будет лучше, если вы вернетесь в зал. Я бы придумал какое-нибудь объяснение...

— Нет, — оборвал его Штраус. — Мне надо работать.

— Но в том-то все и дело, Рихард! Как мы поставим оперу без содействия МОСМа? Это ведь не то что писать соло для терменвокса или что-то, не требующее больших расх...

— Мне надо работать, — сказал Штраус и ушел.

И он работал — так самозабвенно, как не работал последние тридцать лет прежней жизни. Стоило ему коснуться пером листа нотной бумаги (найти то и другое оказалось невероятно трудно), как он понял: ничто из его долгого творческого пути не дает ему ключа к пониманию того, какую музыку он должен писать теперь.

Тысячами нахлынули и закружились старые испытанные приемы: внезапная смена тональностей на гребне мелодии; растягивание пауз; разноголосица струнных в верхнем регистре, нагромождаемая на качающуюся и готовую рухнуть кульминацию; сумятица фраз, молниеносно перелетающих от одной оркестровой группы к другой; неожиданные появления меди, короткий смех кларнетов, рычащие тембровые сочетания (чтобы усилить драматизм) — в общем все, какие он только знал.

Но теперь ни один из них его не удовлетворял. Большую часть своей жизни он довольствовался ими и проделал с их помощью поистине титаническую работу. Но вот пришло время начать все заново. Кое-какие из этих приемов сейчас казались просто отвратительными: с чего, например, он взял (и пребывал в этом заблуждении десятки лет!), что скрипки, мяукающие в унисон где-то на границе с ультразвуком, дают достаточно интересный эффект, чтобы повторять этот прием в пределах хотя бы одной композиции (а уж всех — и по-давно)?

И ведь ни перед кем никогда, с торжеством думал он, не открывались такие возможности для того, чтобы начать все сначала. Помимо прошлого, целиком сохраненного памятью и всегда доступного, он располагал несравненным арсеналом технических приемов; это признавали за ним даже враждебно настроенные критики. Теперь, когда он писал свою в известном смысле первую оперу (первую — после пятнадцати когда-то написанных!), у него были все возможности создать шедевр.

И кроме возможностей — желание.

Конечно, мешали всякие мелочи. Например, поиски старинной нотной бумаги, а также ручки и чернил, что-

бы писать на ней. Выяснилось, что очень немногие из современных композиторов записывают музыку на бумаге. Большинство из них пользовались магнитофонной лентой: склеивали кусочки с записями тонов и естественных шумов, вырезанные из других лент, накладывали одну запись на другую и разнообразили результаты, крутя множество разных рукояток. Что же касается композиторов, писавших партитуры для стереовидения, то почти все они чертили прямо на звуковой дорожке зубчатые извилистые линии, которые, когда их пропускали через цепь с фотоэлементом и динамиком, звучали довольно похоже на оркестр, с обертонами и всем прочим.

Закоренелые консерваторы, все еще писавшие музыку на бумаге, делали это с помощью музыкальной пишущей машинки. Машинку (этого Штраус не мог не признать) наконец усовершенствовали; правда, у нее были клавиши и педали, как у органа, но размерами она лишь в два с небольшим раза превосходила обычную пишущую машинку, и отпечатанная на ней страничка имела опрятный и приличный вид. Но Штрауса вполне устраивал его тонкий как паутина, но очень разборчивый почерк, и он вовсе не собирался отказываться от давней привычки писать пером, хотя из-за того пера, которое ему удалось достать, почерк стал крупнее и грубее. Старинный способ записи помогал Штраусу сохранять связь с прошлым.

При вступлении в МОСМ тоже не обошлось без неприятных минут, хотя Синди благополучно провел Штрауса через рогатки политического характера. Секретарь Общества, проверявший его квалификацию, обнаружил при этом не больший интерес, чем проявил бы ветеринар при осмотре четырехтысячного по счету большого теленка. Он спросил:

— Печатали что-нибудь?

— Да. Девять симфонических поэм, около трехсот песен, одну...

— Не при жизни,— в голосе экзаменатора появилось что-то неприятное.— С тех пор, как скульпторы вас сделали.

— С тех пор как скульпторы... О, я понимаю. Да. Струнный квартет, два песенных цикла...

— Хватит. Элфи, запиши: «Песни». На чем-нибудь играете?

— На фортепьяно.

— Хм.— Экзаменатор внимательно оглядел свои ногти.— Ну ладно. Музыку читаете? Или, может, пользуетесь нотописцем, или резаной лентой? Или машинкой?

— Читаю.

— Сядьте.

Экзаменатор усадил Штрауса перед освещенным экраном, поверх которого ползла широкая прозрачная лента. На ленте была во много раз увеличенная звуковая дорожка.

— Просвистите и назовите инструменты, на которые это похоже.

— Musiksticheln* не читаю,— ледяным тоном изрек Штраус.— И не пишу. Я читаю обычные ноты, на нотном стане.

— Элфи, запиши: «Читает только ноты».— Он положил на стекло экрана лист плохо отпечатанных нот.— Просвистите мне это.

«Это» оказалось популярной песенкой «Вэнги, снифтеры и кредитный снуки»; ее в 2159 году написал на шлягер-машинке политикан-гитарист, певший ее на

* Дословно — «нотные черточки» (нем.).

предвыборных собраниях. (В некоторых отношениях, подумал Штраус, Соединенные Штаты и в самом деле почти не изменились.) Песенка эта завоевала такую популярность, что любой насвистал бы ее по одному названию, независимо от того, умел он читать ноты или нет. Штраус просвистел и, чтобы не возникло сомнений в его добросовестности, добавил: «Она в тональности си-бемоль-мажор».

Экзаменатор подошел к зеленому пианино и ударил по замусоленной черной клавише. Инструмент был настроен до невероятности (нота прозвучала куда ближе к обычному «ля» частотой в 440 герц, чем к си-бемоль), но экзаменатор сказал:

— Точно. Элфи, запиши: «Читает также бемоли». Ну что ж, сынок, теперь ты член Общества. Приятно знать, что ты с нами. Не так уж много осталось людей, которые умеют читать старинные ноты. Многие воображают, будто они для этого слишком хороши.

— Благодарю вас, — ответил Штраус.

— Я лично так считаю: что годилось для старых мастеров, то вполне годится и для нас. По-моему, равных старым мастерам среди нас нет — не считая, конечно, доктора Краффта. Да, великие были люди, эти самые Шилкрит, Стайнер, Тёмкин, Пэрл... Уайлдер, Янссен...

— Разумеется, — вежливо сказал Штраус.

Но работа шла своим чередом. Теперь он уже кое-что зарабатывал — небольшими пьесками. По-видимому, публика питала повышенный интерес к композитору, вышедшему из лабораторий психоскульпторов; но и сами по себе (на этот счет Штраус не сомневался) достоинства его сочинений неизбежно должны были создать спрос.

Однако по-настоящему важной была для него только опера. Она росла и росла под его пером, молодая и новая, как его новая жизнь, всеведущая и зрелая, как его долгая цепкая память. Сначала возникли трудности: он никак не мог найти либретто. Не исключено было, что в море литературы для стереовидения (да и то навряд ли) можно найти что-нибудь подходящее; но выяснилось, что он не в состоянии отличить хорошее от плохого из-за бесчисленного множества непонятных для него сценических и постановочных терминов. В конце концов, в третий раз за свою жизнь, он обратился к пьесе, написанной на чужом для него языке, и впервые решил поставить ее на этом языке.

Пьеса эта, «Побеждена Венера» Кристофера Фрая, была, как он постепенно начинал понимать, идеальным либретто для оперы Штрауса. Эта пьеса в стихах, названная комедией, со сложной фарсовой фабулой, обнаруживала неожиданную глубину, а ее персонажи словно зывали о том, чтобы музыка вывела их в три измерения: и ко всему этому, скрытое в подтексте, но совершенно определенное настроение осенней трагедии, опадающих листьев и падающих яблок — противоречивая и полная драматизма смесь, именно такая, какой в свое время снабдил его фон Гофмансталь для «Кавалера роз», для «Ариадны в Наксосе» и для «Арабеллы».

Увы, фон Гофмансталь больше нет; но вот нашелся другой, тоже давно умерший драматург, почти такой же одаренный, и прямо просится на музыку! Например, пожар в конце второго акта: какой материал для композитора, для которого воздух и вода — это оркестровка и контрапункт! Или, например, та сцена, когда Перпетуа стрелой выбивает яблоко из руки герцога; одна беглая аллюзия в тот миг могла вплести в ткань его оперы rossinievского мраморного «Вильгельма Телля»,

который становился всего лишь ироническим примечанием! А большой заключительный монолог герцога, начинающийся словами:

Так будет ли мне жаль себя? — вот что меня тревожит
Из-за того, что смертен я, мне будет жаль себя.
К небу тянутся деревья,
В дымке бурые холмы,
И озер зеркальных гладь...

Монолог, как будто специально написанный для великого трагического комика вроде Фальстафа; слияние смеха и слез прерывается сонными репликами Рийдбека, и под его звучный храп (тромбоны, не меньше четырех; может быть, с сурдинками?) медленно опустится занавес...

Что может быть лучше? А ведь пьесу он нашел по чистой случайности. Сначала Штраус хотел написать комико-эксцентрическую оперу-буфф, только чтобы размяться. Вспомнив, что некогда Цвейг сделал для него либретто по пьесе Бена Джонсона, Штраус стал рыться в английских пьесах того периода и наткнулся на героический водевиль «Победила Венеция» некоего Томаса Аутвэя. Сразу за водевилем в предметном указателе шла пьеса Фрая, и Штраус заглянул в нее из любопытства: почему вдруг драматург двадцатого века каламбурит с названием, взятым из века восемнадцатого?

После десяти страниц фравеской пьесы мелкая загадка каламбура перестала его занимать: он был поглощен оперой.

Организуя постановку, Синди творил чудеса. Дата премьеры была объявлена задолго до того, как была закончена партитура, и это напомнило Штраусу те горячие деньки, когда Фюрстнер хватал с его рабочего стола каждую новую страницу завершаемой «Электры»

прежде, чем на ней просохнут чернила, и мчался с ней к граверу, чтобы успеть к назначенному для публикации сроку. Теперь положение было еще сложнее, потому что часть партитуры предстояло написать прямо на звуковой дорожке, часть — склеить из кусочков ленты, а часть — выгравировать по старинке, соответственно требованиям новой театральной техники, и порой Штраусу начинало казаться, что бедный Синди вот-вот поседет.

Но, как бывало обычно со Штраусом, опера «Побеждена Венера» отняла немало времени. Писать черновик было дьявольски трудно, и на новое рождение это походило гораздо больше, чем то мучительное пробуждение в лаборатории Баркуна Криса, скорее похожее на смерть. Однако Штраус обнаружил, что у него целиком сохранилась прежняя способность почти без усилий писать с черновика партитуру; ему не мешали ни сетования Синди, ни ужасающий грохот сверхзвуковых ракет, с быстротой молнии пронесившихся над городом.

Он кончил за два дня до начала репетиций. Репетиции должны были идти без его участия. Исполнительская техника в эту эпоху настолько тесно сплелась с электронным искусством, что его собственный опыт (его, короля капельмейстеров!) никому не был нужен.

Он не спорил. За него все скажет музыка. А пока приятно отвлечься от многомесячной работы. Он снова вернулся в библиотеку и стал неспеша перебирать старые стихи, бессознательно ища тексты для песни. Новых поэтов он обходил: они ему ничего не скажут, он это знал. Но американцы его эпохи, думал он, возможно, дадут ему ключ к пониманию Америки 2161 года, а если какое-нибудь из их стихотворений породит песню — тем лучше.

Поиски эти действовали на него необычайно благотворно, и он ушел в них с головой. В конце концов одна

магнитофонная запись пришлась ему по душе: надтреснутый старческий голос с гнусавым акцентом, выдающим уроженца штата Айдахо 1910 года — периода юности Штрауса. Поэт читал:

...души людей великих
По временам сквозь нас проходят,
И растворяемся мы в них, и наша суть —
Лишь отражения их душ.
Вот только что был Данте я, и вдруг
Я — некий Франсуа Вийон, король баллад и вор,
Или один из тех, таких святых,
Что их имен не смею написать,
Дабы кощунствующим не прослыть.
Всего на миг — и пламени уж нет...
Вот час, когда мы быть перестаем,
А те, душ повелители, живут.

Он улыбнулся. Сколько твердят об этом со времен Платона! И в то же время стихотворение было как бы о самом Штраусе, оно словно объясняло ситуацию, в которую он оказался вовлечен, и, кроме всего прочего, оно волновало. Пожалуй, стоит сделать из него гимн в честь своего второго рождения и в честь провидческого гения поэта.

Внутренним слухом он услышал торжественный трепет аккордов, от которых перехватывало дыхание. Начальные слова можно дать патетическим шепотом; потом — полный драматизма пассаж, в котором великие имена Данте и Вийона встанут, звеня, как вызов, брошенный Времени... Он начал писать, и только потом, уже кончив, поставил кассету на стеллаж.

«Доброе предзнаменование», — подумал он.

И настал вечер премьеры. В зал потоком хлынула публика, в воздухе без видимой опоры плавали камеры стереовидения, и Синди уж вычислял свою долю от дохода клиента при помощи сложных подсчетов на пальцах; главное правило здесь состояло, по-видимому, в том, что один плюс один в сумме дают десять. Публика, заполнившая зал, была самой разношерстной, как будто собралась посмотреть цирковой аттракцион, а не послушать оперу.

Как ни странно, в зале появилось также около пятидесяти бесстрастных, аристократичных психоскульпторов, одетых в свои облачения — черно-алые робы того же покроя, что и их хирургические одеяния. Они заняли целый ряд кресел впереди, откуда гигантские фигуры стереовидения, которым вскоре предстояло заполнить «сцену» перед ними (настоящие певцы будут находиться на небольшой эстраде в подвале), должны были казаться чудовищно огромными; но Штраус подумал только, что они, наверное, об этом знают, — и мысли его переключились на другое.

Когда в зале появились первые психоскульпторы, шум голосов усилился, и теперь в нем ощущалось возбуждение, природа которого была непонятна Штраусу. Ломать над этим голову он, однако, не стал; он был слишком занят борьбой со своим собственным волнением перед премьерой, от которого за столько лет жизни ему ни разу не удалось избавиться.

Мягкий, неизвестно откуда лившийся свет потускнел, и Штраус поднялся на возвышение. Перед ним лежала партитура, но он подумал, что едва ли она понадобится. Между музыкантами и микрофонами высовывались рыла неизбежных камер стереовидения, готовых понести его образ к певцам в подвале.

Публика умолкла. Наконец-то пришло его время! Ди-

рижерская палочка взметнулась вверх, потом стремительно ринулась вниз, и снизу, из оркестра, навстречу ей мощной волной поднялась первая тема.

На какое-то время его внимание целиком поглотила нелегкая задача следить за тем, чтобы большой оркестр слаженно и послушно следовал всем изгибам музыкальной ткани, возникающей под его рукой. Но по мере того как его власть над оркестром крепла, задача эта стала немного легче, и он мог оценить звучание целого.

А вот со звучанием целого явно было что-то не то. Отдельных сюрпризов, конечно, можно было ожидать: то или другое место звучало при исполнении оркестром иначе, чем он рассчитывал. Такие вещи случались с каждым композитором, даже если у него за плечами был опыт целой жизни. Порой певцы, начиная трудную фразу, становились похожими на канатоходца, который вот-вот свалится с каната (хотя на самом деле ни один из них ни разу еще не сфальшивил; с лучшей группой голосов ему не приходилось работать).

Но это были детали. Беда заключалась в звучании целого. Теперь у композитора угасало радостное волнение премьеры (оно, в конце концов, не могло продержаться весь вечер на одном и том же уровне) — более того, пропадал даже интерес к тому, что доносилось до его слуха со сцены и из оркестра. К тому же им постепенно овладевала усталость. Дирижерская палочка в руке становилась все тяжелее и тяжелее. Когда во втором акте прорвался бурлящий и блещущий страстью поток звуков, Штраусу стало скучно, так скучно, что им овладело острое желание вернуться к письменному столу и поработать над песней.

Второй акт кончился; впереди только один. Аплодисменты прошли мимо его ушей. Двадцатиминутного от-

дыха в дирижерской уборной едва хватило, чтобы восстановить силы. Он был ошеломлен. Казалось, что музыке написал кто-то другой, хотя он ясно помнил, как писал каждую ее ноту.

И вдруг в середине последнего акта он понял.

В музыке нет ничего нового. Все тот же старый Штраус — но только слабее, ниже прежнего, как будто какой-то злой волшебник вдруг превратил его в усталого старого неудачника, в ту карикатуру на него, которую критики выдумали в самые лучшие его годы. По сравнению с продукцией композиторов, подобных Краффту, «Побеждена Венера» в глазах этой публики несомненно была шедевром. Но он-то знал, что тогда критики ошибались; однако теперь вся его твердая решимость порвать со штампами и вычурностью, вся его тяга к новому обернулись ничем, когда на пути их встала сила привычки. Возвращение к жизни его, Штрауса, означало в то же время возвращение к жизни всех этих глубоко укоренившихся рефлексов его стиля. Стоило ему взяться за перо, как они овладевали им совершенно автоматически, не более доступные контролю, чем палец, отдергиваемый от пламени.

К глазам его подступили слезы. Тело у него молодое, но сам он старик... да, старик. Еще тридцать пять лет такой жизни? Никогда, никогда! Все это уже сказано им сотни лет назад. Быть осужденным на то, чтобы еще полвека снова и снова повторять самого себя голосом, который звучит все слабее и слабее, зная, что даже это жалкое столетие рано или поздно поймет, что от величия остался лишь пепел? Нет, никогда, никогда!

Пришибленный, он не сразу понял, что опера кончилась. Стены сотрясал восторженный рев публики. Знакомый шум: точно так же ревели на премьере «Дня мира» в 1938 году. Здесь аплодировали человеку, каким

он был когда-то, а не тому, которым, как с беспощадной ясностью показала «Побеждена Венера», он стал теперь,— о, будь у них уши, чтоб слышать! Аплодисменты невежества — неужели ради них был проделан весь его тяжкий труд? Нет. Он их не примет.

Он медленно повернулся лицом к залу. И с удивлением — с удивительным облегчением — понял, что аплодировали совсем не ему.

Аплодировали доктору Баркуну Крису.

Крис раскланивался, встав со своего места, оттуда, где расположилась секция психоскульпторов. Психоскульпторы, стоявшие неподалеку, отталкивали друг друга, чтобы скорее пожать ему руку. Все новые и новые руки тянулись к нему, пока он пробирался к проходу между рядами и пока шел по проходу к сцене. Когда же он поднялся к дирижерскому пульта и сам стиснул вялую руку композитора, публики, казалось, обезумела.

Крис поднял руку, и в один миг в зале воцарилась напряженная тишина.

— Благодарю вас,— проговорил он громко и отчетливо.— Леди и джентльмены, прежде чем мы расстанемся с доктором Штраусом, давайте снова скажем ему, какое огромное удовольствие все испытали, слушая его новый шедевр. Я думаю, что такое прощание будет наилучшим.

Овация длилась пять минут и продолжалась бы еще пять, если бы Крис не прекратил ее.

— Доктор Штраус,— продолжал он,— в тот миг, когда я произнесу некую формулу, вы осознаете, что вы — Джером Бош, человек, родившийся в нашем столетии и живущий своей жизнью. Искусственно введенные в вашу психику воспоминания, заставившие вас надеть на себя личину великого композитора, исчезнут. Мы очень хотели бы, чтобы Рихард Штраус остался с нами и прожил

среди нас еще одну жизнь, но законодательство, регулирующее психоскульптуру, не позволяет нам навсегда исключить из жизни донора, который имеет право на свою собственную долгую жизнь. Я говорю вам об этом для того, чтобы вы поняли, почему сидящие здесь люди делают свои аплодисменты между вами и мной.

Слова Криса прервал гул одобрения.

— Искусство психоскульптуры (создание искусственных личностей ради эстетического наслаждения), возможно, никогда более не достигнет такой вершины. Вам следует знать, что как Джером Бош вы абсолютно лишены каких бы то ни было музыкальных способностей; мы потратили много времени на поиски донора, который был бы неспособен запомнить даже простейший мотив. И однако в такой малообещающий материал нам удалось вложить не только личность, но и гений великого композитора. Гений этот принадлежит исключительно вам, той личности Джерома Боша, которая считает себя Рихардом Штраусом. Это не заслуга человека, добровольно представившего себя для психоскульптуры. Это ваш триумф, доктор Штраус, и мы чествуем вас.

Теперь овация вышла из берегов. Криво улыбаясь, Штраус смотрел, как кланяется доктор Крис. Эта их психоскульптура — достаточно утонченный, на уровне века, вид жестокости; но само по себе стремление к такого рода вещам существовало всегда. То самое стремление, которое побуждало Рембрандта и Леонардо превращать трупы в произведения искусства.

Что ж, утонченная жестокость заслуживает столь же утонченного воздаяния: око за око, зуб за зуб — и неудача за неудачу.

Нет, не стоит говорить Крису, что в Рихарде Штраусе, которого он создал, гения так же мало, как в сухой тыкве. Он и так подшутил над собой, этот скульпп-

тор: он сумел подделать великого композитора, но никогда не поймет, насколько пуста музыка, которая будет теперь храниться на лентах стереовидения. Домашнее задание по музыкальной критике Крис выполнил хорошо, по музыке — неудовлетворительно; он воссоздал Штрауса, каким его знали критики. Что ж, ради бога, если это его устраивает...

Но на какой-то миг словно мятежное пламя вспыхнуло в его крови. Я — это я, подумал он, я останусь Рихардом Штраусом до самой смерти и никогда не превращусь в Джерома Боша, неспособного запомнить даже самый простой мотив. Его рука, все еще державшая дирижерскую палочку, резко поднялась вверх, но для того ли, чтобы нанести удар, или для того, чтобы его отвести, — этого он сказать не мог.

Он дал ей снова упасть и поклонился — не публике, а доктору Крису.

Он ни о чем не жалел, когда Крис повернулся к нему, чтобы произнести слово, которое должно было снова погрузить его в мир забвения, — только о том, что теперь ему уже не придется положить те стихи на музыку.

СОДЕРЖАНИЕ

Е. Брандис. ИСКУССТВО БУДУЩЕГО И ФАНТАСТИКА	5
Р. Бредбери. О СКИТАНЬЯХ ВЕЧНЫХ И О ЗЕМЛЕ. <i>Перевод с английского Н. Галь</i>	21
Э. Форстер. НЕБЕСНЫЙ ОМНИБУС. <i>Перевод с английского С. Майзельс</i>	45
А. Моруа. ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ЭСТЕТОВ. <i>Перевод с французского А. Полоцкой</i>	68
Р. Бредбери. УДИВИТЕЛЬНАЯ КОНЧИНА ДАДЛИ СТОУНА. <i>Перевод с английского Р. Облонской</i>	113
В. Зегальский. ПИСАТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ. <i>Перевод с польского Е. Вайсброта</i>	130
У. Тэнн. ОТКРЫТИЕ МОРНИЕЛА МЕТАУЭЯ. <i>Перевод с английского С. Гансовского</i>	143
М. Фукусима. ЖИЗНЬ ЦВЕТОВ КОРОТКА. <i>Перевод с японского З. Рахима</i>	166
А. Декле. КАРТИНА. <i>Перевод с английского Ю. Логинова</i>	179
Д. Найт. ТВОРЕНИЕ ПРЕКРАСНОГО. <i>Перевод с английского Б. Клюевой</i>	207
Р. Сабиа. ПРЕМЬЕРА. <i>Перевод с английского С. Майзельс</i>	247
Н. Ибаньес Серрадор. ВЫСОКАЯ МИССИЯ. <i>Перевод с испанского Р. Рыбкина</i>	270
Л. Биггл. МУЗЫКОДЕЛ. <i>Перевод с английского Г. Усовой</i>	279
О. Шурпану. КОЛДУН. <i>Перевод с румынского З. Бобырь</i>	334
Д. Блиш. ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА. <i>Перевод с английского Р. Рыбкина</i>	350

МУЗЫ В ВЕК ЗВЕЗДОЛЕТОВ

Редактор *Е. Ванслова*
Художник *Б. Алимов*
Художественный редактор
Ю. Максимов
Технический редактор *Л. Кондюкова*
Корректор *И. Додолева*

Сдано в производство 14/I 1969 г.
Подписано к печати 9/IV 1969 г.
Бумага тип. № 1. $70 \times 108^{1/32}$. =
= 5,88 бум. л. Усл. печ. л. 16,45.
Уч.-изд. л. 15,65. Изд. № 12/5161.
Цена 83 коп. Зак. 3462.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МИР»
Москва, 1-й Рижский пер., 2

Ордена
Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова
Главполиграфпрома
Комитета по печати
при Совете Министров СССР
Москва, М-54, Валуевая, 28

В 1969 году в серии
«ЗАРУБЕЖНАЯ ФАНТАСТИКА»

издательства «Мир»
выходят:

Е. Жулавский. «НА СЕРЕБРЯНОЙ
ПЛАНЕТЕ». Перевод с польского, 16 л.

Ф. Каринти. «ПУТЕШЕСТВИЕ ФА-РЕ-
МИ-ДО. КАПИЛЛАРИЯ». Перевод с венгерского,
8 л.

Э. Нортон. «САРГАССЫ В КОСМОСЕ».
Перевод с английского, 10 л.



83 коп.